М.А.ГОРДИН ЖИЗНЬ ИВАНА КРЫЛОВА

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

М.А.ГОРДИН

ЖИЗНЬ ИВАНА КРЫЛОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

М.А.ГОРДИН

ЖИЗНЬ ИВАНА КРЫЛОВА

МОСКВА «КНИГА» 1985

Общественная редколлегия серии:

*Д. А. Гранин, А. М. Зверев, Ю. В. Манн,
Э. В. Переслегина, Г. Е. Померанцева,
И. А. Тертерян, А. М. Турков*

Предисловие
Андрея Арьева

Рецензент
В. П. Степанов,
кандидат филологических наук

Разработка серийного оформления
Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера, Н. А. Ящука

Иллюстрации художника
В. Иванюка

Г $\frac{4702010200-080}{002(01)-85}$ 69-85

СМЫСЛ ЛЕГЕНДЫ

Просвещение в России и других европейских странах XVIII века характеризуется не обязательно расцветом, но обязательно увеличением давления культуры на все сферы жизни. Эпиграфом к этому движению может быть поставлено древнее изречение: Nec Caesar supra grammaticos. — И Цезарь не выше грамматиков. Культура размывала абсолютистские системы изнутри: монарх вправе распоряжаться жизнью своих подданных, но он не властен над их сознанием. Человек способен «пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого», утверждала философия. С неотвратимой последовательностью доказывалось, что каждая отдельная личность имеет суверенную и равную с другими возможность «мыслить и страдать». Правда, в соответствии со всеобщими законами логики.

Подспудно речь у просветителей всегда шла о свободе, точнее о преодолении любых форм несвободы — писали ли они обо всем том, что можно было назвать «предрассудками», о «естественном праве» или об открытых новой наукой закономерностях.

В XVIII веке в слове «человечество» увидели единую универсальную категорию, и само понятие это разработано в просветительской философии раньше, чем в какой-нибудь другой. Прославленный Вольтером «изобретательный разум» наталкивал на мысль, что человек — модель всего человечества, его микрокосм. Каждая личность в своей потенции — универсальна. Различия коренятся в условиях существования.

Характернейшим персонажем XVIII века становится Робинзон Крузо. Руководствуясь лишь соображениями здравого смысла, он в состоянии один выжить на необитаемом острове, самостоятельно проделать эволюционный путь от «дикости» к «цивилизованности». В уединении «мы научимся любить человечество», полагал Руссо. И хотя по руссоистской концепции люди в большой степени испорчены современным неудачным социальным укладом, все же по своей природе каждый отдельный человек добр и надежда на улучшение нравов — реальность.

Начало появившегося в 1762 году трактата «Об общественном договоре» звучало громко, на всю Европу: «Человек рожден свободным, а между тем повсюду он в оковах». Естественно было из этой сентенции извлечь самые революционные выводы. И они были сделаны многими последователями Руссо, в том числе и в России.

При более внимательном чтении трактата обнаруживалось, что декларируемая женевским философом свобода интерпретируется им как равная для всех зависимость от власти. Во взятом Руссо за образец мифическом «золотом веке» отдельная личность всегда принуждаема общей волей. Более того. Если для маленьких стран Руссо

предлагает демократическую форму правления, то для больших он совершенно определенно рекомендует монархию.

Нет ничего удивительного в том, что царствование короновавшейся в 1762 году Екатерины II было вскоре едва ли не официально объявлено веком Просвещения.

Императрица, правда, предпочла Руссо Вольтера. Буколические поселяне — поселянами, но раньше всего нужно было заботиться о власти. Из воззрений Вольтера, по существу, ставившего знак тождества между бытием личности и мировым процессом, абсолютистские принципы вывести было легче, чем из утопических проектов Руссо. Тем более, что сам Вольтер возлагал на просвещенных монархов явственные надежды. Самонадеянный афоризм французского короля — «Франция — это я» — получал для честолюбивой правительницы философское обоснование. Лестно было распространить его на свою особу, отождествить себя с огромной империей, а может быть, и осенить своим именем другие страны, другие народы.

Привлекала Екатерину II и несравненная слава Вольтера. Как никто другой в Европе, он умел отстаивать достоинства и блага культуры, не называл, к примеру, в отличие от Руссо, таких любимых обществом форм просвещения, как театр, «школой разврата».

Екатерине II, как и Вольтеру, импонировала противоположная оценка. И если русская аристократия легко переходила от жизни сцены к жизни кулис, то все-таки театр по идее и для нее оставался не «школой разврата», но «страшилищем порока». Для самих же творцов русской просветительской драматургии, таких, например, как А. П. Сумароков или Я. Б. Княжнин, театр всегда пребывал «училищем нравственности», по выражению известного русского теоретика А. Ф. Мерзлякова. Это было общее и безусловное положение тогдашней эстетики. Трагедия есть «школа добродетели», писал Вольтер.

Скептическое свободомыслие начала царствования Екатерины II оказалось модой весьма опасной. Галантная лесть Вольтера вскружила ей голову сверх меры. Куда как приятно было узнать, что она «преобразует климат и взращивает розы среди снегов». Слова фернейского старца, что такие, как она, монархи, «любящие, понимающие и поощряющие искусство», «совершенно необходимы», поднимали ее авторитет в глазах общества.

Но, с другой стороны, перевод одной вольтеровской «Поэмы о гибели Лиссабона» с ее разрушительными и богоборческими мотивами ощутимо влиял на умонастроение русского общества в опасном для императрицы направлении. Как выразился Герцен: «Смех Вольтера разрушил больше плача Руссо».

О «розах среди снегов» Вольтер писал в Россию Сумарокову в феврале 1769 года — как раз в те дни, когда в Москве в семье армейского капитана Андрея Прохоровича Крылова родился первый сын Иван. В девятилетнем возрасте лишившись отца и в шестнадцатилетнем матери, Иван Андреевич оказался выброшенным на берег одного из островов невской дельты. Неизвестно, читал ли он уже в этом возрасте «Робинзона Крузо», но свою дальнейшую жизнь часто уподоблял жизни персонажа Дефо.

В глазах современников жизнь эта была окружена таинственным ореолом. Возможно, что легенды о Крылове так же мало похожи на действительность, как вымысел английского писателя мало похож на жизнь реального моряка Селькирка, прообраза его героя. Однако легенды, продиктованные духом времени, чаще всего оказываются сильнее противостоящих им фактов. Что же говорить о тех случаях, когда вольно или невольно эти легенды не прочь поддержать сами их герои? А ведь именно с таким обстоятельством сталкиваешься, всматриваясь в жизнь великого русского баснописца.

Знаем ли мы на самом деле, чем был освещен путь любимого «дедушки Крылова»? Не очень отчетливо помним: кто-то его окрестил так еще при жизни... Кажется, П. А. Вяземский? И уж, конечно, нам неведомо, какие обертоны слышались в этом словосочетании современникам Ивана Андреевича. Не подчеркивала ли аттестация эта прежде всего литературного положения баснописца, положения «дедушки» молодой русской словесности? И не слишком ли благодушно она говорила о незыблемости его авторитета?..

В романе Михаила Гордина нет сцен, в которых Крылов описан вдохновенным творцом басен, комедий, од и журнальной прозы. Автора интересует не процесс творчества и даже не само творчество писателя, достаточно известное на протяжении почти двух столетий всей русской — и не только русской — читающей публике. Его интерес сосредоточен на личности Крылова. Гордин написал книгу об обстоятельствах, в которых «человек с душой и талантом» прокладывает жизненный путь в противоречивую эпоху русской истории. В соответствии с духом и буквой Просвещения ее движение официально все еще считалось поступательным. Было ли оно таковым — вот вопрос, от которого зависела жизнь Крылова.

Во времена Крылова по всей Европе распространился «роман воспитания». Гордин написал, если можно так выразиться, «роман поведения».

Характерно уже название частей книги: «Уход», «Отсутствие», «Возвращение». Автор останавливает внимание на тех ситуациях, в которых герой осуществляет выбор жизненного пути, делает этот путь судьбой.

Имеет оглавление книги и более конкретный смысл. «Уход», «Отсутствие» и «Возвращение» — это «уход», «отсутствие» и «возвращение» Крылова из мира и в мир русской современной ему культуры. К ней, к культуре, просветительство везде повернуто в первую очередь.

Жизнь каждого человека может быть понята как своего рода диалог — с близкими и дальними ему людьми, с друзьями и недругами. Сама речь может звучать, а может и не быть слышной. Важно иное — то, что человек живет с ощущением близкого ли, далекого ли, но присутствия в этом мире других людей, влияющих на его судьбу и в то же время зависящих от нее. По собственному раз выбранному пути никто, оказывается, не идет в одиночку. Неслучайно в литературе появляются двойники: двойники-друзья и двойники-враги. В диалоге с ними герой обретает, или теряет, свою свободу, которую без этой взаиморечи выявить чрезвычайно трудно. Куль-

тура в таком случае является превосходной резонирующей средой. С положительным или отрицательным зарядом, но все персонажи романа Гордина находятся с главным героем в подобной диалогической связи.

Диалогичен в «Жизни Ивана Крылова» и основной композиционный прием автора. Главы книги начинаются с мемуарно-критических показаний современников баснописца. Их голоса чаще всего противоречат реальному содержанию дальнейшего текста. Поведение Крылова разрушает, корректирует или исправляет ту самую легенду о нем, благодаря которой он не только выжил в трудную эпоху, но и победил ее. Смысл книги открывается и в высвобождении героя из железных пут сурового времени, и в высвобождении его из радужного тумана сочувственных преданий.

Роман Гордина построен как система зеркал, последовательно, «под углом», отражающих друг друга. Он состоит из вереницы небольших глав, и каждая из них — это как бы зрительный импульс, на который отвечает следующее изображение или же изображение, возникающее много позже.

Любой персонаж романа живет относительно независимой от других жизнью, но в какую бы сторону он ни шел, подставленное автором зеркальце показывает его фигуру рядом с фигурой главного героя.

Между Крыловым и остальными персонажами существует хорошо налаженная связь. Это особенно важно учитывать тогда, когда герои на протяжении всего действия не говорят друг с другом и трех фраз. Следует в этом плане обратить, например, внимание на фигуру Н. М. Карамзина, лишь в одной сцене романа обменивающегося с Крыловым несколькими репликами — между Сенатской площадью и Зимним дворцом 14 декабря 1825 года...

Диалог Крылова с Карамзиным — главная нуждающаяся в пояснении историко-культурная проблема романа.

Оба писателя олицетворяют и своей жизнью, и своим творчеством как бы два рукава позднего русского Просвещения. Существенная часть его живительной силы ушла именно в них.

Почти ровесники, Крылов и Карамзин явились на литературной арене во время для культуры знаменательное. Это были годы между пугачевским восстанием и французской революцией. При дворе стало ясно, что Просвещение отнюдь не такая блестящая, служащая к украшению царства вещь, как это некоторое время представлялось Екатерине II и ее кругу. Интересы культуры все более расходились с интересами двора.

В «век разума» в облюбованном императрицей Царском Селе разгорались страсти, ни в какое сознание не укладывающиеся. Просвещение давало весьма экзотические плоды. Носители этого Просвещения — художники, писатели, философы — толпились в сенях у вельмож в ожидании милостивого приема. Впрочем, философов становилось все меньше. Вольтера уже не вспоминали, и само издание его произведений в конце царствования Екатерины II было запрещено. Время требовало сатиры, не заставившей себя долго ждать...

При всем отчетливо выделенном в романе Гордина несходстве

характеров, стремлений, исторической ориентировки Крылова и Карамзина одна тайная черта незримо соединяла их, заставляла всю жизнь присматриваться друг к другу. По сравнению с непринужденными, привыкшими к решительному действию, открытому волеизъявлению людьми, родившимися в начале сороковых годов, — Фонвизиным и Княжниным, Державиным и Новиковым — следующее за ними литературное поколение Крылова — Карамзина поражает своей «закрытостью», сдержанностью и выверенностью поведения. Если Державин до конца дней не отрекается от благородного желания «истину царям с улыбкой говорить», то Крылов (и Карамзин тоже) знает совсем другое: «истина сноснее вполоткрыта». Неслучайно Гордин пишет о Крылове как о «великом актере», подразумевая не столько его сценический талант, сколько умение «играть самого себя». Он «тонок и умен», говорил о баснописце Державин.

Закрытый стиль жизни и мышления Крылову и Карамзину диктовала как сама эпоха, так и их внутреннее развитие. Оба они поразному, но лелеяли в себе силы, взрывающие рационалистическую идеологию Просвещения. История русской культуры давала сюжеты не в пример более интригующие, чем любые о ней прогнозы.

Современный исследователь говорит об эпохе Просвещения: «Культуре XVIII века в целом была присуща идея изоморфизма человека и человечества: все свойства человека заложены в отдельном человеке и всемирная история лишь повторяет судьбу индивида»[1].

Принимая это обобщающее суждение, можно заметить, что в России Крылов и Карамзин, так сказать, несколько сократили наш литературный XVIII век, внутренне покончив с ним еще в девяностые годы. Русским Просвещением фигуры Крылова не заместишь, хотя просветительскую ориентацию баснописец сохранил до конца жизни, до сороковых годов следующего столетия.

Русская культура в целом не повторила ни судьбы Крылова, ни судьбы Карамзина. Ее центральной фигурой оказалась находившаяся между тем и другим фигура Пушкина. В историческом плане его и надо считать итоговым достижением культуры русского Просвещения, его оставившим целебные семена плодом.

Поскольку, на взгляд просветителей, в каждом человеке есть все родовые человеческие свойства, культура XVIII века дает каждой отдельной личности о себе самое высокое понятие. Одной из доминирующих не только сословных, но и просто житейских категорий века Просвещения становится категория чести. В книге Гордина поведение Крылова с самого начала детерминировано ею.

В прологе к роману автор рассказывает о конфликте Крылова с Княжниным — до сих пор загадочном обстоятельстве его жизни. Чем вызвана яростная атака, которой подвергся со стороны Крылова старший и первоначально чтимый им драматург? Выведенный в комедии «Проказники» под именем Рифмокрада, Княжнин был буквально растоптан молодым Иваном Андреевичем.

---

[1] Лотман Ю. М. Поэзия 1790—1810 годов. В кн.: Поэты 1790—1810-х годов, Л., 1971, с. 41.

Автор «Вадима Новгородского», одной из лучших русских трагедий XVIII века, в политическом плане должен бы был скорее импонировать Крылову, чем быть его врагом. Княжнин — один из образованнейших наших писателей XVIII века — для русского театра сделал не меньше, чем Крылов. Безукоризненная независимость в отношениях с Екатериной II и таким ее грозным фаворитом, как Г. А. Потемкин, снискали ему немалую славу. Не в этой ли плоскости нащупывается узел конфликта?

«Береги честь смолоду» — мог бы поставить Гордин эпиграф к роману, не будь он уже использован Пушкиным. Современный автор берет другой — из самого Крылова, из его «Проказников»: «Мщение всегда занимает в нашем сердце место, если нас принудят изгнать из него любовь». Таков крыловский эквивалент представления о чести. Суровая нота вызвана горьким жизненным опытом и его следствием — повышенной щепетильностью. Неспроста первый же эпитет, скользнувший с его пера при характеристике первого же представленного им читающей публике героя (волшебника Маликульмулька из «Почты духов»), был — «пресамолюбивый». Легко представить, как болезненно могла отозваться в душе молодого Крылова, человека не именитого, любая вольность, на которую горазды были люди поколения Княжнина.

Конфликт возник скорее всего (как его интерпретирует и Гордин) на личной почве. Об этом свидетельствует позднейшее время, когда, после смерти Княжнина, Крылов счел возможным играть в одной из его пьес. Об этом же говорит сослуживец Ивана Андреевича переводчик М. Е. Лобанов, утверждавший, что Крылов в сочинении «Проказников» раскаивался. Эстетические разногласия между писателями не были безысходными, но и тон, и содержание их творчества разнятся.

Княжнин дебютировал в год рождения Крылова трагедией «Дидона». Таланты следующего поколения высокие темы находили с трудом. И драматургия, и проза Крылова имеют явно выраженное сатирическое направление. Не утешать, а обличать публику — таким становится его кредо.

Идеология Просвещения отчасти смешалась в России с эстетикой классицизма. Подразумевалось, что авторы бичуют пороки «вообще», пороки общечеловеческие. «Сатира на лица» теоретически не поощрялась. Надо ли говорить, что и в комедиях Крылова, и в его «Почте духов» лица современников проглядывают явственно. «Так, государи мои, — пишет он, — не выставлены наши имена, но дела наши обнаружены».

Обнаруживаются не только лица, не только дела. Прорывается авторская страсть, острое крыловское переживание, скрытое, правда, глубоко. В искусстве ценилось другое — высота нравственной цели. Поэт А. Ф. Лабзин как «величайшее достоинство» крыловских сочинений отмечал в них *«совершенное отсутствие самого автора»*.

Вглядись Княжнин в «Проказников» пристальнее, он заметил бы в той же крыловской жажде мщения горькое признание в утраченной к нему любви. Но честь была превыше всего! Княжнин этого признания заметить не сумел, или не счел нужным заметить, оскорбленный

Крылов извиняться не стал, предпочтя на несколько лет уйти из литературы. Это при том, что, как заметил хорошо его знавший П. А. Плетнев, «к славе своей Крылов не был нечувствителен». Раздраженное самолюбие, отвергая целый мир, мстит лишь самому себе.

Всякое чувство, формализуясь, отрицает свою природу. Гордин показывает в романе, что доведенная до логического конца, абсолютизированная, возведенная в культ нравственная чувствительность вызывает презрение к жизни, отрицание ее. До последней точки по этому пути доходит в книге юный «небожитель из подпоручиков» Петя Васильчиков, совершающий, наподобие Кириллова из «Бесов», «самоубийство по логике». Жизнь для него была «веселой и хмельной забавой». Крылов в романе знает и эту крайность. Но знает он и то, что убийственней пистолета и шпаги бывает слово.

Можно понять раздраженную реплику знакомого Крылова историка М. П. Погодина, подведшего нравственную черту под «веком разума»: «честь — не русское понятие». Понятие это и было, возможно, самым зримым воплощением этических постулатов Просвещения, сказавшихся у нас не в одних только дуэльных эпидемиях. Достаточно вспомнить братьев Буниных, кинувших жребий, «кому сегодня жениться, кому застрелиться». «Застрелиться» выпало младшему, что он и сделал тут же — в соседней комнате... Когда сущность духовного течения выхолащивается, особенное значение начинают придавать его обрядовой сакральной стороне. Так, взошедший на престол Павел I говорит у Гордина о «недостатке чести» в минуту, когда нужно было думать о недостатке в России истинного просвещения.

Экзальтированный Петя Васильчиков, решив, что Иван Андреевич из презрения к действительности «убил в себе гения», сильно недооценил его. Крылов в романе и вправду не очень надеется ни на земную справедливость, ни на небесный суд. Он обращается к потомству, раскрывается ему. Как и Державин, он знает: «Потомство — грозный судия». Испытав на себе все поветрия времени, Крылов запечатлен у Гордина персонажем, которому дано в личностном плане конденсировать в себе русский исторический опыт. Этим он и отличается от своего духовного (по роману) антагониста — Карамзина. Крылову было дано высокое понимание: каждый человек должен в себе самом чтить «минувшее», должен чувствовать свое право на жизнь в истории. В этом и состоит его честь.

Смысл художественного противоположения Крылова и Карамзина раскрывается в ключевой сцене романа, когда обоих их сводит, наконец, судьба на распавшихся площадях столицы в день 14 декабря 1825 года. В историческую минуту прославленный автор «Истории государства Российского» выпадает из действительности, в то время как баснописец органически вписывается в исторический пейзаж.

Есть один важнейший для культуры XVIII века аспект, нашедший отражение в романе «Жизнь Ивана Крылова». Просветительская идеология отличалась четко выраженным межнациональным и наднациональным характером. При всем известном патриотизме Княжнина он мог большую часть своей литературной деятельности заниматься переводами и переложениями западных пьес для русской

сцены. Патриотизм выражался, конечно, в любви к отечеству, но это была скорее любовь к его социально-политическому благоустройству, чем желание растворить себя в национальной стихии. Отмеченная Пушкиным «переимчивость» Княжнина для культуры была фактором конструктивным. Чтобы придать ей вес, не нужно было трактовать ее в духе сугубо национальной «всемирной отзывчивости», которую позднее искал и находил в русском самосознании Достоевский.

Представляется знаменательным, что, разойдясь с Крыловым, Княжнин в те же годы восторженно приветствовал его конкурента по журнальной деятельности Карамзина. Об издававшемся последним «Московском журнале» он писал: «У нас еще не было такой прозы».

В сюжете «Жизни Ивана Крылова» роль крыловского антагониста, заявленная Княжниным, естественным и незаметным образом переходит к Карамзину и за ним закрепляется. И вкусы, и стиль жизни двух выдающихся современников настолько не совпадают, что спор их кажется фатальным и... бессмысленным. Там, где у одного будет стоять «да», у другого всегда — «нет». Это едва ли не закон: люди, выросшие в одном духовном климате — в данном случае климате позднего русского Просвещения, — и любят, и презирают друг друга с особенной страстью. Разъять эти два образа в романе — значит расколоть единое зеркало отраженной в нем эпохи.

Романист не может внутренне не любить своего героя, не сочувствовать ему, каков бы он ни был. В «Жизни Ивана Крылова» симпатии автора, несомненно, отданы Крылову. Это не значит, что Карамзин у Гордина — злодей. Ни в коем случае. В произведении он просто немного «чужой» — и этим все сказано.

Карамзин из всех русских писателей конца XVIII века был наиболее «гражданин мира», наиболее «европеец». Дон Кихот, говорил он, «не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю — человечество».

Достаточно и этого обстоятельства, чтобы кардинально отделить его фигуру от крыловской. Крылов, как заметил Иван Киреевский, «...хотел быть русским в то время, когда слово *иностранное* было однозначно с словом *умное* или *прекрасное*».

Из этого не следует, конечно, что Карамзина нужно считать проповедником подражательной культуры. Пушкин полагал совсем иначе: «Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова».

Обращение происходило все-таки на излете просветительского движения, когда европейская культура начала поиск самой себя в глубоких недрах фольклора и народного искусства минувших времен. На этой волне поднялась деятельность Карамзина. Было бы опрометчиво отказывать ему в любви к России. И наоборот, отказываться от своего европейства — это все равно, что отказываться от первородства.

В сущности, в противостоянии Крылова и Карамзина проглядывает завязь будущих отношений между славянофилами и западниками, споры которых начались в тех же литературных салонах, где встречались баснописец с историком. Нет нужды, что современники

их диалога не почувствовали. Роман Гордина показывает, что он — реальность.

При общем для обоих писателей стремлении к независимости, при общих исходных просветительских принципах, как по-разному они трактовали и эту независимость, и эти принципы! Сколь разного они хотели и от литературы, и от жизни!

Карамзин никогда внешне не обращал внимания на грубую существенность жизни. Его мечтой было не ее преображение, но надежда на то, что люди «уверятся в изящности законов чистого разума». Крылов же всегда «изящность законов чистого разума» опрокидывал в неизящную стихию жизни, пробовал их действие на себе самом. Так, одну из просветительских концепций он воплотил в реальность, уединившись в усадьбе своего приятеля Василия Татищева и погрузившись в ней в «состояние несовершеннолетия», которое Руссо, в отличие от Вольтера или Канта, мнил «золотым веком». Опыт Крылов приобрел не обнадеживающий.

Крылов всякую идею доводил до абсурда. Но действие это и сам его результат писателя, кажется, не обескураживали. Он оставался доволен. Скорее всего потому, что освобождался еще от одного «предрассудка». Этот мотив освобождения крыловского духа от всего, что его ограничивает, мотив обретения им свободы — один из доминирующих в романе «Жизнь Ивана Крылова».

Свобода обретена Крыловым на путях суровых. После потрясений молодости никто и ничто не могло заставить его раскрыть миру свою душу. Какое-то «жадное равнодушие», как пишет Гордин, таилось в нем в зрелые годы. «Лишь минутами, — по свидетельству хорошо его знавшей В. А. Олениной, — когда он задумывался, у него взгляд был гениальный».

Крылов, действительно, «играл самого себя» — таким, каким воображение рисовало ему современного героя.

Этот герой был мизантроп, как убедительно пишут о нем исследователи, анализируя созданную восемнадцатилетним Крыловым трагедию «Филомела»: «Фигура сурового мудреца, мизантропа... останется ключевой идеологической фигурой и в крыловской прозе 1790-х годов, и, трансформировавшись, обретя новый полемический смысл, в крыловских баснях»[1].

Мизантроп. Трудно сейчас в этом слове уловить положительный смысл. Однако в екатерининские времена именно мизантроп больше, чем кто-либо другой, мог стать «другом честных людей», мог глядеть фонвизинским Стародумом. Просвещение должно было указывать на невежество и пороки людей. Мыслилось, что, освещенное солнцем разума, выведенное на сцену, зло окажется искорененным. Конечно, это была иллюзия. Но ничуть не хуже любой другой.

Крылов, писавший слово «счастье» через запятую со словом «невежество», вряд ли желал понимать Карамзина, для которого «счастье» и «познание» нерасторжимы.

Также далеки от крыловских творений герои Карамзина с их культом чувствительности и поэзии.

---

[1] Гордин М., Гордин Я. Театр Ивана Крылова. Л., 1983, с. 35.

Да и сами представления о литературе у обоих авторов расходятся по всему фронту.

«Поэт имеет две жизни, два мира, — писал Карамзин, — если ему скучно и неприятно в существенном, он уходит в страну воображения и живет там по своему вкусу и сердцу...»[1]

Эта раздвоенность у Карамзина была житейской броней, адекватной крыловской иронии, но ей же и чуждой. Она намекала на проблематичное существование идеальной сферы деятельности, на священность и суверенность поэтического мира. С этим «верхним этажом» Крылов часто обращался как лисица из его собственной басни с вороной.

Сентиментальная чувствительная литература карамзинского толка «проворонила» в жизни многое. Но не все. Сам Карамзин, последовательно исповедуя «труд и порядок», не считаясь с «разницей между мелочными и так называемыми важными занятиями», проделал гигантскую работу по созданию «Истории государства Российского». Подобный труд для Крылова был невозможен в принципе. На склоне лет его мизантропичность стала неотличимой от меланхолии и благословенной поэтами лени, в то время как Карамзин от всякой чувствительности и поэтической размягченности излечился вовсе. Противники чуть было не поменялись ролями.

«Расположение души моей, слава Богу! совсем противно сатирическому и бранному духу», — писал Карамзин. И здесь — ничего с Крыловым общего. Все, вышедшее из-под пера Ивана Андреевича, замешано на «бранном духе». В оправдание этого духа (если он нуждается в оправдании) можно сказать: зато никто не отзовется о крыловских творениях так, как Аполлон Григорьев о карамзинской литературе — «выдуманные сочинения».

Сравнительную характеристику двух знаменитых писателей можно было бы продолжить, если бы она не была с лапидарной выразительностью проведена в тексте романа самим Гординым.

Обратимся лучше к его несравненному герою.

«Бывал ли он когда-нибудь молод?» Вопрос, предложенный Вяземским, витает, кажется, до сих пор. С именем великого баснописца совершенно естественно ассоциируется представление о мудрости и величии. Подобно Льву Толстому, Крылов относится к тем творцам, которых психологически почти невозможно представить юношами. Конечно, это только впечатление, аберрация обыденного восприятия. «Детство. Отрочество. Юность» читали все. Но вот Крылов никаких, подобных толстовскому, произведений не оставил. И не мог оставить. Он был бы даже оскорблен — предложи ему сделать достоянием публики хотя бы мельчайший аспект его душевной жизни. Почти с младенчества он был поглощен идеей независимого, суверенного существования. В век Просвещения он стал его закаленным пасынком.

В «Жизни Ивана Крылова» показана изначальная неизменность его нравственной и эстетической позиции.

Непóнятое в юности человек чаще всего не воспринимает и в зре-

[1] Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982, с. 170.

лые годы. «С чем в люльку, с тем и в могилку», — говорит пословица.

С поразительной стойкостью Крылов придерживался всю жизнь единой системы убеждений — как бы сама жизнь, сама окружающая его российская действительность эти убеждения ни разъедала.

На глазах Крылова множество блестяще начинавших личностей его века оказывались синицами, «наделавшими славы», а море не зажегшими. В романе к их числу можно отнести и Екатерину II, и Павла I, и особенно ярко изображенного фаворита императрицы Платона Зубова.

Крылов долгое время пытался найти в этой среде поддержку своим идеалам, но находил в лучшем случае покровительство.

Сблизившись с некоторыми блестящими гвардейскими офицерами, он сошелся с ними как оппозиционер и фрондер, примкнувший к партии сторонников великого князя, наследника Павла Петровича, а не как писатель.

Как автор он мог рассчитывать лишь на чье-то меценатство. Это было то «действительное» в русской жизни, против которого во имя «возможного» бунтовал Крылов, первый в русской литературе достигший независимости в ранге свободного литератора.

Крылов всегда добивался поставленных целей. Но поздно, тогда, когда успех уже не приносил удовлетворения, никого из соратников не окрылял. Так, например, ориентация Ивана Андреевича на пропавловскую оппозицию была выдержана им до конца, открыв ему дорогу во дворец. Но тут сама история в лице императора обернулась неврастеническим фарсом. Просветительские иллюзии рушились на глазах.

Но и под их обломками Крылов выстоял.

В павловское царствование шуто-трагедией «Подщипа, или Трумф» Крылов простился с политическими надеждами. Это была горькая минута.

Крылов внутренне, личностно остался верен идеалу юности. Убеждение в том, что «отделение дарования от нравственного достоинства в одном и том же лице несовместимо с гражданской жизнью», он сохранил до конца дней. Идеалы Просвещения неосуществимы? Что ж. Все-таки они справедливы.

В такой ситуации возможное и действительное, существенность и мечту удается повенчать лишь иронически. Как литератору Крылову остается одно — завуалировать свое искусство еще сильнее, по сравнению с теми временами, когда он был журналистом и драматургом. Он обращается к басне.

Стоит за этим крыловским жанром, принесшим ему мировую славу, нечто большее, чем обычно принято видеть. Басня Крылова — это не просто иносказательный нравоучительного характера короткий рассказ, как определяют этот литературный вид учебные пособия. К так понятой басне его сочинения имеют лишь формальное касательство. Во времена, когда износилась сама мораль, было бы смешно заниматься морализаторством. Нравоучениями Крылов пренебрег. При известном русском, по словам Пушкина, «веселом лукавстве ума, насмешливости и живописном способе выражаться» он и в творчестве — на его глубине — оказывается все тем же «суровым мудрецом, мизантропом», которого прославлял в

юношеской трагедии. Дело для него заключалось не столько в поисках литературной формы, сколько в выборе жизненной позиции, в утверждении ее. Как доказывал известный психолог Л. С. Выготский, Крылов «питал искреннее отвращение к самой природе басни,.. его жизнь представляла собой все то, что можно выдумать противоположного житейской мудрости и добродетели среднего человека»[1].

Эстетическая природа крыловского творчества едина. Все его басни суть те же драмы и даже трагедии, о чем писал и Выготский. Столь же един жизненный путь Крылова — и в его безвестные миру часы, и в годы его легендарной славы. Его художественный диалог с эпохой вызывает в памяти образ Сократа, его иронию: мудрый говорит на языке невежд, направляя свою речь так, что невежды сами удостоверяются в собственной глупости. И тем самым — просвещаются...

Параллель с греческим философом имеет внутреннее обоснование. Гордин настаивает в романе на типично сократовской черте героя, его «спокойной безжалостности к самому себе».

Поразительным образом жизнь зрелого Крылова прошла на виду у всего русского общества и осталась для него за семью печатями. Чуть ли не любой житель столицы знал, где и в какой час можно найти Ивана Андреевича — в салоне ли А. Н. Оленина, в Английском ли клубе, или на диване в Публичной библиотеке. И любой из них довольствовался первым же, действительно красочным, но весьма и весьма поверхностным впечатлением. Прямо-таки изумляют в устах людей, видевших его, порой, ежедневно, бесконечные вариации на тему о крыловской лени, пристрастии к яствам и безразличии ко всему остальному на свете.

Исчерпывающее филологическое знание предмета дает автору книги «Жизнь Ивана Крылова» известное преимущество перед современниками его героя. Только сопоставив все сведения о баснописце, возможно понять, что он внушал людям о себе, и каков он был на самом деле. Наиболее ходячие представления о нем оказываются наиболее сомнительными, то есть самыми бессодержательными.

Однако секрет книги Гордина не в филологических открытиях. Литературный пласт в ней не основной. Просто в этой книге рассказано о том, как один не вовсе обычный человек преодолевает свое не вовсе обычное время. Он еще только начинает отделяться от фона эпохи, но вокруг него уже поляризуются могущественные силы. Ощущая это нарастающее давление, он формируется как личность. Выдержит ли он, выдержал ли? Изменилось ли его сознание и, если изменилось, в какую сторону — стало яснее или замутилось? Был ли он волен в поступках или нет? Был ли он, наконец, свободен? Все эти и масса других вопросов резонируют с особенной силой, когда героем произведения становится человек, самой историей из обычного ряда выдвинутый.

О персонажах романа Гордин пишет как о равноправных Крылову. Такими они и были для него в те времена — от любимого младшего брата Левушки до императора Павла I.

---

[1] Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968, с. 177.

Исторический роман «Жизнь Ивана Крылова» предлагает читателю «нырнуть» в прошлое, описанное в точной достоверной манере, и достать из его глубины отчетливый слепок чужого, но истинного, бытия.

Слегка ироничная, со взглядом как бы из-за плеча героя, манера Гордина нашему сближению с персонажами помогает. Так же, как и его речь, непринужденно подкрашенная старинными оборотами: автор «знает грамоте».

Не вызывает сомнений и общекультурный фон вещи: если в книге Карамзин беседует с Лафатером, то значит он и на самом деле беседовал с ним о том же самом, в то же время и на том же месте, или, если Гордин описывает какое-то театральное представление, то можно быть уверенным — подобная пьеса, в подобном театре шла тогда на петербургской или московской сцене.

В искусстве прозы, как и в искусстве живописи, только автор, умеющий хорошо срисовывать, копировать натуру, бывает художественно убедителен и в вымышленных сценах. Документально обоснованные эпизоды у Гордина естественным образом переходят в рассказ о событиях, которые никакими архивными материалами и воспоминаниями современников не подтвердишь. В романе эти страницы (смерть Княжнина, поездка Крылова в буран из татищевского имения и многие другие) производят самое достоверное впечатление.

В необходимой для всякого романа психологической правдивости выражения и его изобразительной яркости убеждает текст книги. Стоит, однако, заранее привести два-три примера. О молодом, увлеченном женой Княжнина Иване Андреевиче Гордин пишет: «По обыкновению всех издали влюбленных Крылов из своих робких желаний выводил дерзкое заключение, будто он пользуется глубоким и отчасти секретным расположением Катерины Александровны». Можно отметить и легкую метафорическую изобразительность прозы Гордина, его специфическое видение мира. Вот несколько подробностей: «маленькая, с выпуклым затылочком скрипка», «узкая песья мордочка пистолета», луна днем — как след стакана на скатерти...

Даже по этим маленьким примерам ясно, в какую сторону отклоняется книга Гордина от других жизнеописаний великого баснописца. Например, от книги Н. Л. Степанова, вышедшей в серии ЖЗЛ и носящей историко-монографический характер, или от книги И. В. Сергеева «Иван Андреевич Крылов», предназначенной для юного читателя...

Нас всегда интересуют не только канонические тексты классических произведений, не только энциклопедического характера данные о биографиях их творцов, но сама атмосфера, в которой создавались эти произведения, реалии и краски эпохи, которыми насыщены известные всем нам с юных лет книги.

В человеке живет и потребность благоговейного приобщения к мыслям и чувствам гения, запечатленным в его творениях, и более интимное желание примерить себя к его личности, желание побыть с ним наедине, увидеть его лицо, еще не ставшее бронзовым изваянием.

Нам важно понять его поведение таким, как если бы он был нашим, никакой славой не овеянным современником.

Голос гения — это отнюдь не монолог одиночки, каким он порой доносится до потомков. Слышимые нами громовые раскаты — это в первую очередь отзвук его диалога с эпохой.

Этот диалог запечатлен в «Жизни Ивана Крылова» — с художественной выразительностью и интеллектуальной смелостью.

Андрей Арьев

ПРОЛОГ

...Мщение всегда занимает в нашем сердце место, если нас принудят изгнать из него любовь.

И. А. Крылов Проказники 1787

«Втверское наместническое правление Тверского Губернского Магистрата из 2-го Департамента

Репорт

Сего апреля 7-го числа здешнему департаменту репортом пристав Никифор Иванов представил что послан он был от департамента вквартиру к подканцеляристу Ивану Крылову который числился больным для проведывания естли ему от болезни облегчение но и вквартире его не получил отбабки его Крылова Матрены Ивановой ему приставу объявлено что он подканцелярист Крылов отлучился отсюда всанктпетербург внынешнем году зимним временем а которого месяца и числа о том она не упомнит. Того ради Тверского Губернского Магистрата во втором департаменте определено оботлучке означенного подканцеляриста Крылова наместническому правлению отрепортовать о чем сим и репортует Апреля 11-го дня 1783 году».

А дело было так.

Тринадцатилетний чиновник Тверского магистрата Иван Крылов случайно попался на глаза известному в столице человеку коллежскому советнику Николаю Александровичу Львову и до того ему понравился, что Львов забрал подканцеляриста с собой в Петербург. Поначалу Крылов поселился у него в доме. Был представлен его многочисленным друзьям. Удостоился внимания таких персон, до которых без Львова не скоро бы добрался. И в Тверь больше не вернулся.

Счастливые случаи и благоприятные обстоятельства часто бывают необходимы, когда жизнь лепит образцовую судьбу. Но порой не менее успешно той же цели служат затруднительные положения и внезапные, сбивающие с ног удары. Так и нашему герою, помимо редкостных удач, с самого детства неизменно доставались жестокие жизненные оплеухи, которые помогли развиться его природному честолюбию и постепенно внушили спокойную безжалостность к самому себе.

Мальчику только что минуло девять лет, когда умер его отец Андрей Прохорович Крылов. До того дня жизнь Ивана Крылова шла связно и плавно, один день перетекал в другой и их невозможно было разъять. А тут впервые пришлось задуматься о будущем, время впервые переломилось, *сегодня* отделилось от *вчера*, и он, нынешний, со стороны увидал и себя вчерашнего, и себя давнишнего. В жизни его вдруг появилось прошлое. Там виделась ему очень большая комната, где на одной стене под потолком висели на гвоздях пузатые мешки с мукой и крупами, которые так хранили от мышей, и один мешок был ярко-красный, кумачовый, и думалось, что это главный из всех мешков, командир над мешками, так же, как его отец был командиром над солдатами; и когда он просыпался, он видел прежде всего эти мешки, выстроившиеся рядами, а потом видел, как в щели под печной дверцей ярко мигает огонь, слышал треск поленьев и ждал,

кто войдет — мать или кто другой (потому что поутру само собой придумывалось, что мать у него другая, и он сам другой, и все будет другое), но входила мать и говорила: «Щекотиха, будиха — вот тебе лучок!»— и лохматила ему волосы, и трепала за уши, чтобы скорей вставал; он вскакивал и видел в окошко, как отец по плацу гоняет своих гренадеров.

А еще вспоминался ему степной Яицкий городок, казацкая станица, где отец служил во время пугачевского возмущения (Крылова-младшего мать увезла тогда в Оренбург), и после отец любил рассказывать, как казаки ходили на приступ Яицкой крепости, как выстрелы трещали, точно дробь, битая десятью барабанщиками, как от голода пришлось есть глину и как, сидя в осаде, гарнизон следил всякое движение в неприятельском стане — собака ли залает, увидят ли приезжающего или отъезжающего, тотчас относились к присяжным гадателям, из коих главным был каптенармус Антон Федорович Таликов, а по нем войсковой атаман Михайло Михайлов, и они должны были объяснить, какое происшествие что означает; были еще и старухи, которые пророчили на бобах, сказывали явления и толковали сны, но им верить почиталось за грех; в подвыпитье отец бил кулаком по столу и говорил, что оборона Яицкой крепости была столь из редких, что едва ли по истории сыщется другая, ей подобная (а отец знал историю — и древнюю, и российскую). И еще была игра в пугачевщину, которая завелась между детьми, когда взрослые окончили воевать. Дети разделились на две стороны — городовую и бунтарскую; Крылов, капитанский сын, стал предводителем одной стороны; дрались самозабвенно, и дело едва не дошло до смертоубийства: вздумали повесить одного из «пленных» — выбрали сук покрепче и вздернули на кушаке; по счастью, проходивший мимо солдат его отцепил.

Самым же ярким почему-то осталось воспоминание о том, как уральские казаки выходят ватагами на лед и бьют в прорубях рыбу баграми. Этот веселый промысел — крики в синем воздухе и желтые, серые, черные тулупы на белом снегу — остался для него образом тех неподвижно длившихся дней.

Потом был переезд в Тверь. И смерть отца, с которой пришли мысли о будущем и началась взрослая жизнь. Девятилетнего Крылова определили в службу — писцом в городской магистрат. Он оказался на побегушках у вечно пьяных приказных. Тут он пристрастился к чтению, а вскоре и сам попробовал сочинять. И стихи его до того удивили Николая Александровича Львова, что тот повез юного поэта на показ в Петербург. Довольно долго Крылов жил на попечении Львова, а затем уже поселился вместе с матерью и братом, которых выписал в столицу из Твери.

На семнадцатом году в обиходе его внутренней жизни опять произошла внезапная перемена: умерла его мать Марья Алексеевна. Еще с вечера она была здорова, то есть ставила заплаты на белье и замесила тесто для пирогов (дело было под воскресенье), а утром кухарка Марья вбежала в его комнату, давясь испугом:

— Ванюша, проспал маменьку...

Он вскочил и бросился к матери и увидал белое, костистое лицо,

едва светившееся в полумраке зимнего петербургского рассвета: прежнего, настоящего ее лица уже не было.

Пришли соседские старухи и надолго остались в доме, чтобы все устроить. Потом пришел мальчик от гробовщика — снять мерку. Потом явился чей-то лакей с запиской: мать ходила по богатым домам, читала ночами псалтырь над покойниками (так зарабатывала на хлеб) и за нею часто присылали из ближних улиц, а иногда и издалека. Восьмилетний Левушка встретил лакея в сенях и сказал, как всегда говорил, когда мать бывала больна:

— Она просит извинения. Она нынче прийти не может.

А потом добавил:

— Она померла.

Крылов отвел брата к соседям.

Он и сам чувствовал эту невозможность думать о матери иначе, чем думал прежде, когда она была жива. И глядя на то, как она теперь лежала на столе, он боялся, что ей и неудобно, и грустно, что ее так положили.

Запершись у себя в комнате, Крылов ощущал одиночество иного рода, чем ему случалось ощущать прежде. Он точно бы заблудился в лесу как малое дитя, но эта потерянность происходила не оттого, что за стеной не слышалось привычного голоса и привычных шагов, а оттого, что кроме этих шагов и голоса все в его жизни оставалось по-прежнему.

Усердные старухи выли над покойницей, кухарка Марья валялась по полу и вопила, но не только эти причитания и слезы, но даже и боль в собственной его душе была удивительна своим несоответствием смыслу происшедшего. Никто почему-то не сомневался, что смерть существует в действительности, с нею даже поступали по-дружески, приглашая курносую гостью занять якобы имевшееся для нее в этой жизни место. Однако смерть точно так же ничего не желала знать о живых, как живые ничего не могли знать о ней. Люди исчезали, но жизнь от этого не менялась, жизнь шла как ни в чем не бывало, потому что на самом-то деле в ней не было предусмотрено места для смерти. Его мать лежала посреди комнаты на столе, лежала с запрокинутым лицом, и он уже не знал, чье это лицо. И никто не мог этого объяснить, поскольку в жизни такого не бывало...

И вечером того же дня, когда умерла Марья Алексеевна, ее старший сын не остался дома наедине с ее смертью, а отправился в театр — как почти всякий вечер отправлялся в театр. И там, стоя за кулисами, он слушал актеров на сцене, а потом говорил с актерами, потому что в их компании он был принят запросто, как свой. Он слушал и отвечал, словно бы ничего не произошло, и никому из приятелей не сказал о том, что случилось...

Каменный театр (называвшийся также Большим театром), хотя и находился далеко от их дома, почти на другом конце города, но Крылову это не мешало почти всякий вечер приходить сюда и в мороз, и в дождь.

Стоя во второй правой кулисе на подмостках Каменного театра, в десяти шагах от картонной террасы Карфагенского дворца, Крылов с одинаковой ясностью видел подтеки краски на огромном холсте,

изображавшем сияющую морскую даль, и разводы грима под глазами и на щеках карфагенской царицы, которая в белом хитоне и золотом венце вышла на террасу, сопровождаемая роем мавров и рабынь. Вот в оркестре ударили литавры, запели трубы, и два десятка гарнизонных солдат, спрятанных в чреве махины, вкатили на сцену огромный игрушечный корабль, грубо сколоченный из крашеных досок и оклеенный спереди золотой бумагой. Корабль причалил подле дворца, и на берег сошел прекрасный Эней в сверкающем шлеме и алом плаще, и за ним воины — в шлемах и в картонных латах, разрисованных под бронзу. Сквозняк, всегда гуляющий здесь, за кулисами, шевелил на мачте пестрый флаг и спущенный белый парус.

И корабль, и мавры, и тоненькие серебряные деревца с погнутыми жестяными листьями, стоящие в кадках на террасе дворца, — все это напоминало Крылову кукольную лавку на базаре в Твери, где он простаивал часами, глядя на пестрые чудеса через окошко, точно на сцену из театральной ложи. Лет до десяти его любимыми мыслями перед сном были мысли о том, какая небывалая кукольная жизнь идет ночью там, в запертой лавке. Потом начались книги из древней истории, и он полюбил еще и эту игру — воображать себя на месте греческих и римских героев. И вот в театре те древние герои со всеми их ужасными и поучительными происшествиями являлись перед ним как бы в виде оживших кукол. Все их одежды, черты и повадки здесь можно было рассмотреть и узнать, почти что повертеть в руках и ощупать. Это были игрушечные Ахилл или Эней, но зато ожившие — и потому все, творившееся с ними, казалось столь же занимательным, удивительным и волшебным, как ночные события в кукольной лавке. И в том и другом случае все совершалось одною силою воображения — ведь это прежде всего фантазия поэта заставила актеров так странно вырядиться и, выйдя на сцену, говорить тоже неестественными, игрушечными фразами — стихами, а тысячу зрителей, разинув рот, глядеть на все это, точно на чудо.

Семнадцати лет Крылов сочинил кровавую трагедию из римской истории и принес на суд первому трагическому актеру, который в комнате показался ему на голову ниже, чем на сцене. Являвший в своих ролях необыкновенные доблести или злодейства, первый трагический актер тогдашней сцены — Иван Афанасьевич Дмитревский — в жизни был преувеличенно вежлив, добродушен и шутлив, внешностью и манерами напоминал он не то отставного моряка, не то учителя из семинаристов и любил рассказывать, как, будучи в Париже, отправился к великой Дюмениль, которая сама отворила ему дверь — растрепанная, в спальном чепце набекрень, в кофте нараспашку и с засученными рукавами (так что он принял ее сперва за прачку) и сказала:

— Pardon, monsieur, je suis dans mon jour de ménage*.

Увы, в комнате актеры нисколько не походили на тех, кого представляли на сцене. Иные и на подмостках, произнося вслух какую-нибудь горячую тираду, вполголоса мололи вздор. Стоя во второй правой кулисе, Крылов не однажды мог слышать эдакий диалог.

---

* Простите, сударь, я сегодня занимаюсь хозяйством *(фр.)*.

— Все нахожу в тебе, тобой единой таю, и прелести в тебе все новы обретаю! — ведет Эней.

А Дидона ему тихомолком:

— Чего-то от тебя, батюшка, сегодня так луком пахнет.

А Эней:

— Это я, матушка, прежде закусил пирогом с сиговиной.

Дидона ему:

— Эней! Коль узришь ты во мне когда премену, пусть боги истребят меня и Карфагену!

А в сторону:

— Чего-то и мне пирожка захотелось.

Тут Эней как бы в восторге протягивает к ней руки. А сам:

— И, матушка, какие тебе пироги! Гляди, ты и так уж не в обхват!..

И во все время спектакля троянский герой и карфагенская царица тихомолком переговаривались черт знает о чем, но публика при этом видела лишь взаимную их нежность, а Крылов уже умел не замечать болтовни актеров на сцене, слушая только их заученные речи и следя за тем, как написанные когда-то стихи теперь пронизывали воздух, чертя в нем свой быстрый рисунок.

Повертевшись года два около актеров (у первого трагического актера он был принят запросто, как свой), Крылов научился отличать от внешнего смысла этого рисунка само движение его линий. Протяжный и на первый взгляд однообразный, александрийский стих мог идти то ровной, строгой линией, подробно очерчивая лица и события, то переходил в прерывистые, грубые штрихи, обозначавшие резкие жесты и движения, простую жизнь плоти, рассказ о которой невольно сбивается на прозу и немного режет слух — как обнаженные тела в их вольных поворотах режут глаз, привыкший к всяческим покровам. Наконец, долгий александрийский стих мог создавать тот текучий, мерцающий, несколько неопределенный и таинственный ореол действия, сотканный из желаний и взаимных выпадов, молений и проклятий,— то, что актеры называли «периодом», — где каждое слово не просто звучит, но звенит, где речь хочет стать пением, и это выглядит уместным, даже (по выражению Расина) в высшей степени необходимым в момент трагического смятения, в минуту отчаяния, когда уже ничем нельзя помочь, когда душа замирает в бессилии и мертвой неподвижности, и вдруг все окутывается легким словесным маревом, и в этом мареве персонажи словно приподнимаются над собою, над превратностями, бедами, смертями, словно взмывают вверх, и стих создает очертания другого мира — области грез и мечтаний. И зрительный зал — весь разом — вытягивает шеи и задерживает дыхание, поддаваясь магнетизму этих нелюдских, нарочитых, театральных слов. Но ведь происходит это не столько произволом актера, напялившего чужое имя вместе с чужим расшитым плащом, сколько соизволением поэта, размерившего ударные и безударные слоги таким образом, чтоб их ритм соответствовал то медленным, то бурным движениям души...

Десяти лет от роду Крылов влюбился в глазастую цыганку (похожую на икону Николая-угодника, только с золотыми серьгами в ушах), которая вместе со стариком-цыганом водила по базару медведя, била в бубен и плясала.

В четырнадцать лет, с того дня, когда он был представлен первому драматургу эпохи Якову Борисовичу Княжнину — немолодому поджарому господину с бледным лицом, — Крылов ощутил примерно такое же постоянное, неотступное удивление, какое до сих пор испытывал только при воспоминании о цыганке. Слыша голос первого драматурга эпохи, глядя на его улыбку, он не просто слышал и видел, но точно бы гордился тем, что умеет слышать и видеть. Как ни мало походил Яков Борисович Княжнин на бренчащую, цветастую плясунью, он, подобно ей, умел легко скользить мимо окружающей сутолоки и озабоченности.

Яков Борисович никогда не бывал весел, но всегда оставался легок. Всякое его движение, всякое слово, а еще более ровная улыбка, всегда проступавшая на его лице — даже и тогда, когда он не улыбался, — как будто очерчивали возле него круг, внутри которого не могло происходить ничего томительного, ничего скучного. Зрители, стоявшие за чертою этого круга, порою готовы были остаться равнодушны к чужой легкости, но Яков Борисович не терпел подле себя угрюмых лиц и, встречая на улице мрачную физиономию, тут же совал оторопелому мужику гривенник, говоря: «На, братец, возьми! Будь веселее!» А когда Яков Борисович выходил со двора, жена неизменно клала ему в боковой карман мелочь на извозчика — содержимое своего кошелька он имел обыкновение раздавать нищим и раздавал так беспечно, что потом в стужу или под дождем принужден бывал добираться до места пешим. Свой чиновничий мундир (Яков Борисович состоял в службе и имел чин надворного советника) и свой потертый шлафрок носил он одинаково непринужденно. И непринужденность эта не была домашней и добродушной: с такою решительной небрежностью пристало носить не портновское изделие, а рыцарский доспех. И внутренняя полуулыбка Якова Борисовича отсвечивала твердым, металлическим блеском...

В первой молодости он служил в гвардии, был хорош собой и необыкновенно ловок. Его числили среди лучших столичных танцоров. Однажды на балу его заметила императрица. Тогда ей было тридцать шесть, а на вид еще меньше, она была свежа, стройна и во всей своей фигуре самодержавна: под французскими шелками проступали смелые формы государственного величия и благоустройства. Вся гвардия тогда откровенно по ней вздыхала. И Яков Борисович тоже. Но тут, когда императрица несколько раз на него взглянула и хозяин дома потянул его за рукав, говоря: «Идем, братец, представлю государыне», — тут Яков Борисович побледнел и его воображению представилось черт знает что. Ему уже рисовалась душная близость, случайное возвышение — награждения без заслуг и слава без подвигов. Яков Борисович был щепетилен и горд, как рапира — оттого-то, выдернув рукав, он стремительно скользнул к выходу, так что швейцар едва успел распахнуть перед ним дверь. Его хотели вернуть, но императрица не велела.

— Вижу, что я старюсь, — сказала она с улыбкою. — Прежде молодые люди от меня не бегали.

Месяца два спустя Яков Борисович сочинил трагедию о Дидоне и Энее — историю нежных чувств, пожертвованных подвигу чести. Тут именно говорилось о рыцарственной страсти, которую невозможно было примирить с иным служением — у Энея то были профессиональные обязанности героя. Но герой, понятно, не герой, если в нем не побеждает гордость. Не заносчивость, не спесь, но то роковое стремление души следовать однажды избранным правилам, которое совсем не зависит от того, где вырабатывались правила — под аттическим портиком или в гостиной. Ведь, в конце концов, смысл всякой игры не в том, чтобы разбирать, хороши ли правила, но в том, чтобы не отступать, следуя раз признанным законам. И во все времена эта абсолютная последовательность гордеца и называлась честью. И отсюда — шлем, панцирь и меч (либо: непременная бодрость, легкая походка и шпага на левом боку).

А между тем останься Эней с любезной своей Дидоной, они, пожалуй, весело прожили бы свой век.

«Дидона» имела успех. Княжнин читал ее в лучших домах и со всех сторон слышал себе похвалы. Жизнь его по-прежнему текла в рассеянии. Женщины его баловали. Жена одного драгунского капитана непременно хотела бежать с ним, бросивши мужа и пятерых детей. Утомленный бурями тайных страстей, Яков Борисович попытался смирить их брачными узами. Но кровь еще бурлила. Он и прежде любил карты, а тут предался сильной игре. Будучи адъютантом при фельдмаршале графе Разумовском, он имел доступ к казенным суммам. Однажды, просадив вдруг пять тысяч, он заплатил из полковой казны: донос, ревизия, арест. Его отдали под суд. Друзья вызывались внести недостачу, но дело было не в деньгах. Следовало обратиться на высочайшее имя с раскаянием и слезами, просить помилования. Яков Борисович не пожелал. Ему милей было принять заслуженное наказание. И не в пример другим гвардейским шалунам, которым и не такие проделки сходили с рук, и в полном соответствии с буквою военного уложения, Яков Борисович обречен был смертной казни через повешение.

Сидя в грязном и холодном предбаннике, именовавшемся гауптвахтой, и мучительно претерпевая пустые часы и дни посреди беленых стен и потолка с бесчисленным множеством мелких подробностей в виде разнообразных трещин и пятен (особенно досаждал ему один ржавый подтек, попеременно оборачивавшийся то курицей с головою императора Петра I, то репой с ботвою), Яков Борисович страх близкой смерти отражал той же самой своей гордостью. Он парировал его уважением к самому себе, тем, что не оробел и не унизился, не припал к стопам и не просил пощады, а в ответ на смертный приговор лишь улыбнулся и поклонился, как и подобает благородному человеку. То есть выдержал роль, самому себе назначенную.

От виселицы его спасло заступничество сиятельного фельдмаршала Разумовского. Но автор «Дидоны» был разжалован в солдаты и лишен имения. Пять лет Яков Борисович числился писарем и зарабатывал на хлеб грошовыми переводами. Друзья и покровители никак

не могли выхлопотать ему прощение. Наконец, он получил назад чин и поместье, дела его пошли в гору. Но Яков Борисович, раз приподнявшись над жизнью, уже не мог вновь погрузиться в былое рассеянье, он и теперь продолжал парить поверх и над (будь то в гостиной, на заднем дворе или в стихах) — жизнь стала для него полем чести: подобно странствующему рыцарю, он сделал благородные поступки своим ремеслом.

Ремесло это не приносило ему ни доходов, ни почестей, но обратило на него внимание людей сильных. И между прочим, первого среди тогдашних министров — светлейшего князя Потемкина.

Однажды в доме полковника Гарновского, управлявшего в Петербурге делами князя, Яков Борисович оказался за одним столом со светлейшим. Потемкин много пил, и к концу вечера его зрячий глаз вместо того, чтобы говорить за двоих, напротив, перенял угрюмую немоту ослепшего. Светлейший, казалось, ни на кого не обращал внимания, но вдруг по-лошадиному мотнул головой и выплюнул в толпившиеся над столом физиономии:

— Пошли прочь, пилипоны!

Гости примолкли, переглянулись и тихонько вышли. И только Яков Борисович решительно направился через залу, вспрыгнул на подоконник и отворил окошко.

— Велите, полковник, вывести его сиятельство, — сказал он Гарновскому.

— Смело шутишь, — сказал Потемкин и протрезвел.

— Нет, извольте, — сказал Яков Борисович и шагнул на край подоконника. — Не то прыгну.

— Прыгай, — сказал Гарновский.

— Постой, — сказал Потемкин и оборотился к своему управителю. — Вели, Гаврюша, вывести Потемкина.

— Н-н-н, — промычал Гарновский и поцеловал князю руку.

— Подлец, — сказал Потемкин и отпихнул полковника. — Ступай вон!

Почтительно усадив Якова Борисовича подле себя, князь велел позвать хор цыган, дожидавшихся внизу. И тут пошло цыганское нытье и переливы разудалых визгов, и первый министр и первый поэт, прикрыв глаза, одинаково вздохнули о разгульной молодости...

С того дня светлейший стал иногда запросто заезжать к Якову Борисовичу для беседы. Входя, он наклонял голову на бок и тянул: «Ты, Княжнин, — райский крин! Ты лилеи нам милее! Многих умников умнее и весенних дней яснее». И потом за чашкой кофея они говорили о различии метрического и тонического стихосложения, о духовной поэзии и еще о всегдашней, равнодушной солдатской готовности к смерти, и при этом светлейший по своему обыкновению толковал Священное писание таким образом, что выходило, будто Христос учил не печалиться о жизни и даже забавляться ею, а всерьез заботиться лишь о смерти.

Княжнин держался с князем запросто, без всякой угодливости, но и без панибратства и никогда ни о чем не просил. Потемкин сам звал его к себе в службу, но Яков Борисович отказывался — потому что занимал не слишком завидное место секретаря старого и слепого

генерала Бецкого (заведовавшего Академией художеств и Воспитательным домом) и место это устраивало его. Тут не пахло карьерой, но, напротив, приходилось ежечасно жертвовать собой ради слепого старца и отданных на его попечение юных сирот.

И мало было ему хлопот по Воспитательному дому и Академии — он взялся читать российскую словесность кадетам Шляхетского корпуса, так что ему нередко случалось декламировать перед ними большие куски из Сумарокова и Княжнина, а после классов, если кто-нибудь из воспитанников показывал ему собственные поэтические опыты, Яков Борисович совсем позабывал, что дома его ждет обед. И звавшему его в службу князю Потемкину отвечал:

— Это по справедливости. У вашей светлости один глаз, и у меня с Иваном Ивановичем господином Бецким два на двоих.

И князь ясно видел, что первый драматург эпохи как стоял, так и стоит на высоте, на самом краю распахнутого окна, и если попробовать стащить его оттуда силою — сиганет вниз и поминай как звали.

В своей гостиной, где по вечерам собирались сослуживцы (по большей части завзятые театралы), друзья-литераторы (по преимуществу молодые), а также друзья дома, ученики и почитатели (все больше офицеры-гвардейцы — отчасти и литераторы, и театралы), первый драматург эпохи учредил род литературной Академии, члены которой в бумажных париках и шутовских пестрядинных камзолах, сверху донизу исписанных русскими и французскими стихами, порою читали друг другу что-нибудь готовое, но чаще невинно развлекались, тут же на месте упражняясь в стихотворстве. Сочиненное не записывали, помнили наизусть, хотя сочиняли длинно, — между прочим, придумывали поэму наподобие гомеровской «Одиссеи», в которой говорилось о злоключениях Терентьича (верного камердинера хозяина дома), тщетно отыскивающего дорогу домой на возвратном пути из ближайшего питейного заведения: как и хитроумный сын Лаэрта, подвергнувшись гневу богов, хромоглазый Терентьич обречен был «претерпеть странствия многи» по всем столичным кабакам от заведения под названием «Звезда» в последней Семеновской роте и до известного дома на Тычке (на Петербургской стороне), откуда за учиненную драку с чумаками и ярыгами попадал на съезжую и в работный дом и лишь затем возвращался к своей Пенелопе — Сысоевне, успевшей уже отслужить по нем панихиду и посвататься разом к кучеру Сидору и истопнику Сидорке... В заседаниях домашней Академии сочиняли также сатиры на завистников первого драматурга эпохи — в частности, на второго драматурга эпохи, жившего в Москве и утверждавшего, что он-то и есть первый драматург эпохи. Яков Борисович в сочинении сатирических колкостей участия не принимал, этим занимались его молодые друзья, которых поддерживала в том его жена — Катерина Александровна — женщина веселая и насмешливая и вдобавок сама умевшая и любившая рифмовать.

Пятнадцатилетний Крылов вступил в дом Княжниных исполненный резкого презрения к светской уклончивости, ко всяким пустым вежливостям и лживым улыбкам. И тут к своей радости нашел в

Катерине Александровне сочувствие и даже тайную приверженность простосердечному неприличию.

Однажды в разговоре Крылов признался Катерине Александровне, что если бы не думал стать писателем, то непременно отправился бы куда-нибудь в Вест-Индию жить среди дикарей. И на эту откровенность Катерина Александровна ответила откровенностью, сказав, что сама всегда завидовала участи нежных пастушек и тоже предпочла бы скинуть модные уборы и украшаться лишь чистотой души. Говоря это, она состроила очень забавную гримасу — сморщив носик и опустив уголки рта — и тем самым изобразила капризное желание уподобиться невинной пастушке. «Где мои овечки?» — вдруг ни с того ни с сего спрашивала Катерина Александровна докучавшего ей собеседника и тот в недоумении умолкал, а Катерина Александровна оборачивалась к Крылову и говорила: «Иван Андреевич, отыщите моих овечек!».— на что Крылов обыкновенно отвечал: «Слушаюсь!»

Так постепенно между ними возник род заговора.

Крылов был взят Катериной Александровной в помощники по части всевозможных затей и шалостей (иногда не совсем безобидного свойства). Зная, к примеру, об особом пристрастии некоторых молодых гвардейцев к некоторым молоденьким актрисам, Катерина Александровна иной раз подговаривала Крылова, и он начинал как будто очень наивно и простодушно превозносить которую-нибудь из юных чаровниц и при том весьма пренебрежительно отзывался о достоинствах и прелестях всех ее соперниц. Катерина Александровна заранее знала, кто из ее молодых гостей возьмет сторону Крылова, а кто непременно даст отпор очевидной несправедливости: Крылов выходил только застрельщиком, а там уж сражение разгоралось само собой. По видимости сохраняя беспристрастие, Катерина Александровна тем лишь поощряла и подзадоривала петухов, и схватки действительно выходили жаркие — с бледностью или красными пятнами на ланитах, с напряженными до хрипоты голосами, а порою даже с дуэльными вызовами (которые, впрочем, Катерина Александровна всегда умела потушить и развеять, заставляя ссорившихся помириться под страхом своей немилости), что очень ее развлекало и занимало (да и Крылова, правду сказать, тоже).

Но если в подобных затеях и домашних проказах Крылов был всего лишь старательным подмастерьем искуснейшей Катерины Александровны, то, как только доходило до развлечений умственных, литературных — тут он при случае прибирал рифмы и сыпал стихами ловчее самого первого драматурга эпохи.

Но не только в домашней Академии у Княжниных, а также и в канцелярии, куда Крылов на четвертом году своей петербургской жизни (до того он служил в другом месте) поступил писарем, он пренебрегал своим прямым делом, то есть разными выписками и выправками из текущих дел, также занимался сочинительством. Но тут он сочинял не стихи, а любовные письма для своих сослуживцев — канцеляристов, секретарей, экзекуторов, «помощников стола» (то есть помощников столоначальника) и прочих. Нередко бумаги за него перебеливали другие чиновники, тогда как он сочинял послания, имевшие неотразимое, почти что магическое действие на женские

сердца. К нему даже приходили из других отделений и департаментов. Дело в том, что любовные письма, сочиняемые им, были совсем особого свойства — в них не было никаких признаний, клятв и приманок, никакого тривиального пустозвонства. Напротив, письма все были укоризненные, ругательные, некоторые наполнены были прямо-таки базарной бранью, поскольку исходили якобы не от самих вздыхателей, а от их небывалых, якобы обманутых или покинутых и якобы одержимых ревностью любовниц либо невест. Кое-кто из ухажеров для вручения такого письма даже нарочно переодевался в женское платье. И если безусый канцелярист или красноносый асессор сами по себе никогда бы не получили никакой цены в глазах своих избранниц, то, сделавшись предметом любовного соперничества, они вдруг подскакивали в стоимости, точно русский товар под французской оберткой...

Товарищи по канцелярии к Крылову подлаживались и сильно ему завидовали, тогда как начальствовавший над ними старый толстый повытчик смотрел на крыловское безделье сквозь пальцы, поскольку Крылову покровительствовал сам генерал (который, заведуя канцелярией, был в то же время и членом Дирекции императорских театров и зрелищ и две крыловские комедии распорядился принять на театр, и для одной из них придворный камер-музыкант Деви уже и музыку сочинил).

В департаменте Крылов обретался до обеда, дома спал, вечера проводил за кулисами Большого театра, а ночами обыкновенно сочинял комедии либо писал любовные стихи Катерине Александровне Княжниной.

Стихи эти сочинял он во множестве.

В отличие от других молодых людей, писавших ей мадригалы, Крылов никогда никому не показывал свои стихи, но некоторые, лучшие по его мнению, отдавал в журнал, где они появлялись под заглавием «Госпоже К.», а подписаны бывали просто буквой «К». Катерина Александровна читала его послания и то, что она никогда не показывала вида, догадывается ли, кто и кому их адресует, а только по временам говорила Крылову: «Что это, Иван Андреевич, вы никогда ничего ко мне не напишете, хоть бы письмо прислали» — тоже было частью установившегося между ними скрытого согласия. Иной раз Катерина Александровна принималась на память читать из Корнеля либо Расина, и тут они касались таких тонкостей, подталкивали друг друга к таким смелым домыслам, что обыкновенное чтение превращалось в некую веселую и изысканную игру. Так, дойдя в «Федре» до стиха: Le peuple pour le voir court et se précipite, Катерина Александровна говорила:

— Чувствуете ли, Иван Андреевич, как здесь все волнуется и толпится?

— Не все, — отвечал Крылов, — voir и court стоят смирно.

— Оттого, что это долгие слоги — краткие их притиснули в толпе и так и мельтешат, так и вертятся вокруг них...

И Крылову казалось, что это знание о двух долгих слогах, стоящих смирно в окружении нетерпеливых кратких, соединяет его с

Катериной Александровной точно какой-то тайный знак, соединяющий посвященных.

Однажды вечером в доме Княжниных служивший при театре лекарем молодой француз вздумал позабавить присутствующих физиономическим сеансом.

Незадолго перед тем вся Европа была взволнована сочинением швейцарского пастора Лафатера «Физиономические фрагменты», где почтенный проповедник обнаруживал удивительно простые и всеобщие связи между чертами лица и чертами характера. Все кинулись к зеркалу, все стали с новой пристальностью вглядываться друг в друга, надеясь по лицам, как по книге, прочитать душевные тайны, но скоро выяснилось, что все эти как будто очевидные соответствия между цветом глаз и темпераментом, между длиной носа и умственными качествами были доступны лишь тонкой интуиции изобретателя физиономистики, тогда как для добросовестных его последователей те же самые соотношения оказывались неизменно ускользающими и зыбкими, и явная беспомощность учеников только роняла в мнении публики науку учителя. Дошло до того, что шутейные физиономические сеансы вскоре сделались модным развлечением в светских гостиных от Мадрида до Петербурга...

И в то самое время, как француз-лекарь под общий смех глубокомысленно заключал о склонности камердинера Терентьича к Бахусу ввиду сизого цвета его носа, Крылов, прыгая через лужи, торопился к Княжниным. Стоял ясный апрельский вечер, но вдруг набежала тучка, пошел редкий снег, из подворотен и проулков потянуло зимой, и Крылов, прозябнув, подумал было забежать в трактир, обогреться, но желание поскорее увидеть Катерину Александровну и Якова Борисовича толкало его под бок, и он только плотнее запахнул полы сюртука и побежал дальше.

Когда Крылов вошел в гостиную, Катерина Александровна поглядела на него и обернулась к французу:

— А что, мосье Виен, можете ли вы читать в таком сердце, где все записано вкривь и вкось да еще стихами?

— Это нельзя проще, — с комической важностью отвечал француз, — ко всякому замку бывает ключ и ко всякой стене — лестница. Взглянем: у господина Крылова губы толсты, а брови густы — из этого я заключаю насчет его тайной симпатии к quelque madame, для которой он сочиняет стихи, а также крутит папильотки вроде куафера.

Все засмеялись. Однако Катерина Александровна увидела, что Крылов побледнел. В самом деле, француз сболтнул лишнего. Однажды второпях, когда Катерина Александровна опаздывала на вечер в такой дом, куда нельзя было опаздывать, Крылов прислуживал ей за парикмахера, потому что лакей Ванька, обыкновенно завивавший ей волосы, был пьян, и после Катерина Александровна передавала доктору Виену, с какою робостью и даже страхом Иван Андреевич касался ее волос. И вот теперь Крылов, конечно, увидел, что над ним насмехались за его спиной. Катерина Александровна, чтобы поправить неловкость, очень ласково и серьезно попросила Крылова прочесть ту сцену из его новой трагедии, которую он читал ей третьего

дня. Крылов, однако, несколько невпопад и довольно грубо отвечал ей:

— Благодарю вас, это в другой раз.

И тогда Катерина Александровна решила, что преподанный урок для юного сумасброда, пожалуй, даже и полезен. Она самонадеянно полагала, будто знает, с кем имеет дело. Между тем за время долгого знакомства она вовсе не постигла главного в крыловской натуре — горячности юного воображения. Она и понятия не имела, каким блеском, какими радужными переливами озаряли его тайные стремления всякую мелочь, какую-нибудь невзначай обращенную к нему улыбку или малейший знак предпочтения, соединяя их последовательностью и связью, которых они отнюдь не имели. По обыкновению всех издали влюбленных Крылов из своих робких желаний выводил дерзкое заключение, будто он пользуется глубоким и отчасти секретным расположением Катерины Александровны. Угадывая это, она отнюдь не могла себе представить, как упоен и счастлив он был вполне невинными грезами — до того, что кроме этого ее скрытого благоволения ему ничего и не нужно было.

Теперь он, наконец, узнал свою ошибку. Потаенная симпатия глянула на него снисходительным участием. И радужные переливы, что отбрасывала на его жизнь влюбленность в Катерину Александровну (а равно и в ее мужа), — эти голубовато- и розовато-белые блики и отсветы огненных столбов и фонтанов, летящих по небу комет, плывущих по реке огненных шаров, закрученных спиралями и разбрасывающих по сторонам снопы искр, — разом погасли, как гаснет всякий фейерверк, обнаруживший, что ему не зажечь ни небо, ни воду. Подобно этим потешным пожарам, он сам был гордецом и фантазером, умеющим осветить привычную окрестность невиданным и невероятным светом, но не способным простить этому новому, облитому разноцветным сиянием пейзажу его готовности вновь погрузиться в сырой сумрак...

Возможно, задержись Крылов в тот вечер на четверть часа или даже на десять минут, и его дружба с Княжниным не пресеклась бы так вдруг и навсегда. Если б он вошел в княжнинскую гостиную чуть позже, уже по окончании физиономических забав болтливого француза, он, пожалуй, так никогда и не узнал бы о маленьком предательстве Катерины Александровны. Но ведь всякая случайность всегда вплетена в густую сеть столь же случайных обстоятельств. И одна такая нить, взятая отдельно, остается случайностью, но все они вместе составляют попросту привычную ткань существования. Что касается Крылова и Княжнина, то, хотя жизненные обстоятельства и литературные занятия сблизили их тесно и надолго, однако судьбы их при этом шли к очень несхожим между собою финалам — потому что совсем различны были их характеры, то есть внутренние устремления. И от этого направленного в разные стороны движения судеб связывающие их нити натягивались все сильнее, и чуть раньше или чуть позже их дружеские отношения непременно должны были порваться.

Об этом их близком разрыве, о котором Крылов еще накануне не догадывался, заранее подозревал один старый актер, проница-

тельно разглядевший в Крылове эту его особенную способность появляться там, где ему не следовало быть, и не приходить туда, где его ждали...

И вот теперь, стоя в углу княжнинской гостиной, Крылов смотрел и слушал. И все то, что он наблюдал теперь вокруг себя, в двух шагах от себя, он наблюдал как бы со стороны, как бы из зрительного зала.

Лекарь-француз рассказывал, как чудак Лафатер, явившись однажды со своим сыном к знаменитому Боннету, вдруг сдернул парик с головы своего друга и сказал сыну: «Смотри, Генрих! там, где ты увидишь такую голову, учись мудрости». Яков Борисович в ответ заметил, что кроткий Геснер терпеть не мог Лафатера за его бесцеремонность, и друзья так и не смогли примирить их до самой смерти швейцарского Феокрита. Катерина Александровна на это сказала, что тем более чести делают Лафатеру сочиненные им на смерть Геснера трогательные стихи.

Катерина Александровна была весела и приветлива как всегда. Она улыбалась и французу, и своему мужу, и Крылову, и двум молодым гвардейцам, и господину Олсуфьеву, который был полезен ее мужу в его тяжбе с соседями по имению. Ее кресло нарочно было поставлено немного в стороне от диванов, на которых устраивались гости, — так, что ей были видны все и она была видна всем. И вот при виде легких всплесков ее улыбки, от которых по лицам разбегались блики, при виде ее чуть нарочитых, чуть насмешливых движений, задававших тон всему происходившему в гостиной, Крылов окончательно пришел к мысли, что его нежная доверчивость, его пустая самоуверенность достались на потеху этому чернявому французу: подумать только, перед этой носатой вороной, перед этим стрючком в манжетах, перед этой пудреной головешкой он выказал себя таким несмышленышем, таким дитятей, таким наивным идиотом.

Крылову захотелось подойти к французу вплотную, как это делали мальчишки в Яицком городке, прежде чем начинали драться.

— Что это вы, сударь, вас узнать нельзя, — скажет он.

— Мое лицо? — удивится француз.

— Это не лицо. Это у вас печная вьюшка. А голова набекрень.

Француз поднимет бровь:

— Бекрень?

— Да. Голова у вас немного скособочилась.

Француз наморщит лоб.

— Вам, сударь, лучше бы лечь в постель: к ногам грелку, к животу пузырь, припустить пьявиц да поставить клистир. «Легонький клистирчик, подготовительный и мягчительный, чтоб размягчить, увлажнить и освежить утробу вашей милости...»

Тут француз побелеет. Потом пойдет пятнами и губы у него затрясутся:

— Это шутки для лакейской. Вы лакей, сударь.

(Ничто так не задевает докторов, как невежественные насмешки над медициной.)

— Извольте, я вам услужу по-лакейски. Камзол у вас замаран. Я его почищу.

Крылов возьмет со стола чернильницу и выплеснет чернила в физиономию французу. Поднимется шум. Француз станет махать руками и кричать:

— Ah, mon Dieu, il est fou!*

Камзол француза сделается похож на географическую карту. Из большой кляксы вытекут несколько ручейков; два из них, образовав остров, впадут в карман...

Но для этого надо было подойти к французу вплотную.

Крылов огляделся. Яков Борисович о чем-то переговаривался с мосье. Катерина Александровна чуть принужденным смехом вознаграждала остроумие господина Олсуфьева. Если б даже взять и с маху опустить на голову француза тяжелый подсвечник, то и этим ничего уже нельзя было поправить. В задумчивости, позабыв даже проститься, Крылов тихонько пошел к дверям. Но по нечаянности не к тем дверям, через которые надо было выйти, а к другим, которые были заперты. Он надавил ручку — дверь не отворилась. Он нажал сильнее — дверь не поддалась. Он навалился всем телом — дверь всплеснула створками и он с треском вывалился в соседнюю комнату.

— Экой медведь, — усмехнулась Катерина Александровна.

— Воля ваша, — сказал француз, — он немного toqué, esprit fêlé**.

Крылов между тем, вернувшись домой (с намерением не бывать отныне у Княжниных), в глубине души все же ожидал, что Яков Борисович сам приедет к нему и рассеет обиду. Ему представлялось, как издалека начнется перепалка колес с деревянной мостовой и вдруг оборвется у него под окнами.

— Узнаете ли вы меня, друг мой? — весело спросит, входя в комнату, первый драматург эпохи. — А мосье Виен утверждает, что вы по всем приметам спятили: он находит у вас беспричинное бешенство и нечаянное буйство.

Первый драматург эпохи подойдет к Крылову и положит руку ему на плечо.

— Я, впрочем, думаю, что вы здоровы. И догадываюсь, отчего вы так внезапно оставили наш дом.

Крылов прищурится и заморгает как ребенок, который ждет, что его ударят.

— Вы желали бы, чтоб Катерина Александровна прогнала прочь француза? Друг мой, она и не то готова для вас сделать. Но неужто вы могли вообразить, что этот ученый попугай хоть на минуту вытеснил вас из наших сердец? Вы слишком дурно судите о нашей разборчивости и о собственных достоинствах...

Затем первый драматург эпохи должен был улыбнуться.

— Это был выговор, а теперь..., — он протянет Крылову руку, — теперь я благодарю вас за вашу недоверчивость; она есть залог дружбы, которую я надеюсь заслужить и впредь.

---

* Ах, боже мой! Он сумасшедший *(фр.)*.

** Не в себе *(фр.)*.

И тут Яков Борисович должен будет обнять его...

Но прошел день, прошел другой, Яков Борисович не являлся.

На третий день, переписывая в присутствии бумагу на имя начальника уральских заводов, которому вменялось в обязанность «обмежевать рудные места порядочно по горной привилегии», Крылов, дойдя до слова «места», внезапно задумался и написал «места» восемь раз кряду. Переписывая бумагу наново, он опять споткнулся на «местах», повторив их четырнадцать раз.

— Вы, сударь, сидя спите, — сказал ему строже обычного старый повытчик, — вас, верно, ночью клоп донимал. Припорошите за кроватью персидским порошком либо серным цветом.

Дальше, однако, пошло хуже. Вместо того, чтобы свежепереписанный лист посыпать песком из песочницы (песок тогда заменял промокательную бумагу), Крылов в рассеянности перевернул над ним чернильницу. Стол его превратился в географическую карту, а большое пятно на левой штанине имело значительное сходство с Эгейским морем. Но и этим не кончилось. На возвратном пути домой Крылов не заметил, как сбился с дороги и вместо Песков зашел на Васильевский остров.

— Ну ты, тетеря! — услыхал он вдруг над ухом, и здоровенная тачка, груженая двухпудовыми мешками, проехала у него под самым носом. Очнувшись, он увидал себя среди бочек, тюков, ящиков — на пристани в торговом порту. С английского корабля «Nimble» доносились вопли обезьян, похожие на скрип и взвизгивание колодезного ворота. На английском корабле можно было завтра же отплыть в Вест-Индию и, поселившись среди дикарей, позабыть форменный сюртук с гербовыми пуговицами и, главное, необходимость постоянно прижимать к бокам локти, которые отчего-то все норовили въехать в чужие животы. Крылова, однако, оттолкнули от сходней, по которым сновали взад-вперед босые мужики (оттуда налегке вприпрыжку, а туда каждый с кулем на спине, вперевалочку, похожие на бесхвостых голенастых птиц), и он побрел домой.

Придя к себе, Крылов заперся на засов и постепенно целиком сосредоточился на мысли о том, как бы ему возможно было явиться в обществе совсем в другом виде — без этой внезапной задумчивости (от которой он ни с того, ни с сего вдруг впадал в оцепенение) и без этой плебейской неповоротливости (которую он научился выставлять напоказ, чтоб не подумали, что он надеется ее скрыть).

Неловкость его движений была заметна даже и тогда, когда он не шевелился. А когда, к примеру, где-нибудь в гостиной ему удавалось благополучно проскочить между столом и диваном, сдвинутыми подобно Сцилле и Харибде на полсажени друг от друга, то такой его маневр казался даже грациозным, — но это только потому, что за секунду перед тем было вполне очевидно, что он либо расшибет стол, либо своротит диван. Крылов поначалу не подозревал в себе этой врожденной неповоротливости, пока не попал в науку к танцмейстеру, — было это в Твери, ему минуло десять лет, и мать послала его в дом местных аристократов Львовых учиться вместе с господскими детьми арифметике, французскому и танцам. Арифметика и французский шли как нельзя лучше, но обучение искусству Терпсихоры за-

стопорилось на том, что немец-танцмейстер прибежал к хозяину дома весь красный и закричал, что готов «тысячу раз учить танцевать медвежонка, чем этого тюфяка» (немец выговаривал «тюфьяка»). И с этого дня господские дети стали дразнить его Тюфяком (или звали Иван-Тюфяк, или еще Иванушка-Тюфячок), так что матери немалых трудов стоило заставлять его ходить к Львовым. Впрочем, донимали его не только дети, но и немец-гувернер, который не на шутку обижался, если видел, что Крылов за обедом ест жаркое ложкой или режет рыбу ножом.

По прошествии десяти лет Крылов не сумел усвоить не только надлежащие манеры, но даже и надлежащее выражение лица.

Взгляд его часто бывал не вовремя угрюм или безразличен, а сильно выпяченная нижняя губа всегда казалась выпяченной нарочно, по какому-то упрямству или своеволию. Если бы он даже и старался, то все равно никогда не смог бы усвоить себе ту приличную мину, какая без труда давалась всем окружавшим его людям. И эти люди, как он видел, вовсе не брали его всерьез. Для одних он не превышал размеров малой букашки, бесшумной козявки, ползучей дырочки на отвороте фрака («Мосье Крылов? А помнится, вы померли гнилою горячкой?»). В глазах других, напротив, он, даже и спрятавшись подальше, даже забившись в угол, невольно заполнял все принадлежавшее им пространство («Мосье Крылов! Мосье Крылов! Вы сели на мою шляпу!»). И размышляя теперь о том, нельзя ли ему сменить вид розовощекого увальня, забавного облома на обличье лощеного франта, Крылов с последней отчетливостью понял, что Иванушка-Тюфячок потащится за ним, куда бы он ни пошел, и будет все так же голышом высовываться на людную улицу, увидав из окна идущего мимо приятеля, или неведомо чему улыбаться на чинных похоронах. И не спрятаться от него, не убежать, не отговориться. Он был связан по рукам и ногам собственной неловкостью. Это было унизительно и нелепо. (Слово «нелепо» стало заполнять его мозг, вытесняя оттуда все прочие слова, и плясало в голове, оборачиваясь то словом «по-ле-но», то словом «пе-ле-на»: его обличье очень-забавного-увальня и в самом деле было пеленой, отгораживавшей его от самого себя, превращавшей его в собственных глазах в полено, бревно, урода, детину, дубину, орясину — его, почти что Расина! — просто в орясину...)

И стало ясно, что ему уже не выйти из дому. Кухарку Марью он прогнал и ничего не ел и день, и другой, но есть не хотелось.

Он чувствовал только жар и жажду.

И в забытьи ему часто представлялось, что он стоит во второй правой кулисе на подмостках Каменного театра.

А однажды он очень ясно увидел, что стоит уже на сцене, а подле него — Катерина Александровна в белой тунике и золотом венце, и он подходит к ней, и грудь его разрывают адские мученья.

— Несчастливо любя, рассудок я гублю, — говорит он, — не знаю сам себя, не помню, что люблю. Игралище страстей и жертва злобна рока, свиреп, ожесточен иду во след порока...

Он знает, что теперь по роли ему надлежит выхватить меч и заколоться, чтоб прекратить эту липкую сухость во рту и эту жуткую

головную боль. Двумя руками (как это делает Иван Афанасьевич Дмитревский и другие заправские актеры) он приставляет клинок к груди.

— Простите, Ванюша, — говорит Катерина Александровна. —

— Как можно! рыбу — ножом!

Поворачивается и хочет уйти.

Но Крылов вонзает острие себе в грудь, падает и слышит вой кухарки Марьи, который постепенно переходит в вой ветра и плеск волн у пристани Карфагенского дворца, но тут на него налетает огромная тачка, груженая пуховыми перинами, и перины валятся, накрывают его и душат...

Неделю Крылов провалялся в бреду и беспамятстве. Затем наступил кризис, упрямая крыловская натура пересилила болезнь. Слабый и отрешенный лежал он на постели, и ему порой представлялось, что низ и верх комнаты поменялись местами и что если он не ухватится за край кровати, то упадет на потолок, а стоит ему пройти по потолку и шагнуть в окно, он провалится в пустоту и полетит вниз головой к небу, голубое дно которого виднелось внизу...

Нежданно приехал Иван Афанасьевич Дмитревский, одетый точно к придворному спектаклю: суконный коричневый кафтан французского покроя со стальными пуговицами, шитый шелковый жилет, брыжи и кружевные манжеты. Он сел прямо на постель, достал из-за пазухи полштофа пуншевки, налил себе и больному и стал припоминать, как жил в Англии, куда направился из Кале в ужасный шторм, как великий Гаррик, играя Гамлета, в сцене с привидением внезапно становился белее стены, а еще как однажды в Лондоне, на набережной неподалеку от аббатства, его схватили двое оборванцев, зажали ему рот, вытащили кошелек и поволокли к воде; позабыв с испугу, что и как, позабыв где находится, он заорал: «Караул!» — и тут вдруг убийцы разжали железные лапы, ошалело глянули друг на друга и разом бухнулись ему в ноги, приговаривая:

— Барин, не погуби!

Оказалось, то были дворовые люди какого-то помещика, привезенные в Лондон и тут же сбежавшие от своего владельца; не зная ни слова по-английски и не могши найти себе пропитания, они в крайности занялись грабежом. Дмитревский отвел их к себе, а после приискал им место.

— Иной и не бродяга и весь век сидит сиднем, а все равно живет бездомно, — сказал Иван Афанасьевич, и его темные с поволокой глаза взглянули грустно. — Нашему брату артисту на роду написано сиротство. Ты, душа, не сетуй.

Разочарование производит обиду.

Обида, в свою очередь, производит ненависть.

Еще меланхолический Катулл имел случай заметить, что ненависть есть то же чувство, что и любовь — только принявшая иной вид. (Не следует, однако, путать ненависть со злостью, которая всегда холодна и эгоистична, тогда как ненависти можно посвятить себя столь же бескорыстно и пылко, а нередко так же и во вред себе, как и любви.) Если прежде расположение Катерины Александровны и

Якова Борисовича необходимо было Крылову, чтоб оставаться при мысли, что он чего-то стоит, то теперь лишь добившись их вражды он мог бы кое-как восстановить это рухнувшее уважение к самому себе. Пожалуй, это было не менее почетно и заманчиво: не снискавши любви первого драматурга эпохи, удостоиться его смертельной вражды...

Рассорившись с Княжниными мысленно, Крылов теперь искал явной ссоры с ними. Обиженный их благоволением, он ничего другого не желал, как увидеть их неудовольствие, раздражение и, наконец, их гнев. Стороною он уже узнал, что Катерина Александровна и Яков Борисович, слыша, что он бывает у Дмитревского, у Львова, у господина Вельяминова и в других домах, недоумевают и оскорбляются, отчего он к ним не кажет рожи. Катерина Александровна уже при всех бранила его пустым и неблагодарным. Всякий раз, отправляясь к Львову или к Вельяминову (оттого он к ним и зачастил), Крылов надеялся невзначай сойтись там с Катериной Александровной и многократно воображал свой с нею разговор.

— Ах, Ванюша, — скажет как ни в чем не бывало Катерина Александровна, — что-то вас совсем не видать, куда вы запропали?

Он с возможной скромностью ответит:

— Мне очень жаль, сударыня, но неотложные труды лишили меня удовольствия вас видеть.

— Что же это так вас обременяет, мой друг? Должно быть, государственные заботы?

— Нет, сударыня. Несносное самолюбие. Его превосходительство поручил мне перевести французскую оперу, которую я намереваюсь выдать за собственное сочиненье.

(Это выпад против Княжнина, многое заимствующего у французов.)

— О, вы и вправду тщеславны, — скажет, чуть покраснев, Катерина Александровна. — А много ли вы получили за ваш перевод?

— Мне дали свободный вход в партер. В рублевые места.

— А сколько раз вы пользовались этим правом?

— Да раз пять.

И тут — шутейный взрыв, маленькая петарда, фейерверк:

— Дешево же! Нашелся писатель за пять рублей!

Ушат воды на голову. Град палок на спину. Потешный салют. И Катерина Александровна уже отвернулась, уже занята каким-нибудь французом...

Встретились они у Львовых. Крылов вошел и увидал Катерину Александровну, прощавшуюся с хозяевами в дверях гостиной. Она улыбнулась ему как ни в чем не бывало.

— Мне очень жаль, сударыня, — сказал Крылов. — Неотложные труды. Я был лишен удовольствия.

— Пустяки, — сказала Катерина Александровна. — Дружба дружбой, а служба службой. Одно странно: с таким усердием вы еще не генерал!

Она хотела выйти, но Крылов загораживал дорогу.

— По совету его превосходительства я перевел французскую оперу. За это мне дали свободный вход в партер.

В глазах Катерины Александровны заплясала насмешка.

— За это мне дали свободный вход в партер. В рублевые места.

— Я за вас рада. Но каково-то будет другим, если вы не бросите несносной привычки останавливаться в дверях?

Катерина Александровна легким движением отстранила Крылова и исчезла...

Стихи производили свое обычное странное действие: они раскачивали комнату. Перо, торчавшее из чернильницы, напоминало мачту с узким парусом. Треугольный греческий парус уходил в сторону неба, а на берегу стояла царица Дидона и звала покинувшего ее Энея. Комната вела себя как палуба корабля, она следовала всплескам и спадам длинных строф, она раскачивалась. Стулья, столы, лавки, точно испуганные котята, прижимались к полу, а стихи поднимали их и опускали. Вверх-вниз. Стихи были как та люлька-зыбка, в которой укачивают плачущего ребенка, чтобы спал: у детского беспокойства свой настойчивый ход, у люльки — свой, а монотонная зыбь — вверх-вниз — пересиливает ноющую боль, детские страхи и подозрения, отнимает у них душу и уносит ее прочь, как по волнам. Вверх-вниз. И уже не надо иной воли. Душа отдается стихам, как дреме, как истоме, как грезе, но порой и как грозе, как буре, что рвет паруса. Мерцающие, морочащие, млеющие слова — подобье страстей, их след, их тень, их эхо. И оттого рифмоплетство — удел влюбленных.

Ворохи, кипы, копны стихов в углу.

В огонь. И довольно стихокропательства. Да здравствует проза.

Стихи — жар. Проза — мороз.

Стихи — влага. Проза — твердь: влага, окаменевшая ледяным стеклом.

Стихи укачивают. Проза скользит.

Стихи — люлька. Проза — салазки.

Стихи — мерность, неуклонность, горделивость качаемого морем корабля. Проза — и самая залихватская, самая ловкая, всего лишь поездка по укатанной санной дороге в возке, запряженном тяглым конем.

Стихи — простой лад прибоя, где тихого, где гулкого. Проза — причудливая мелодия посвистывающих и на повороте взвизгивающих полозьев, и то глухо, то остро ударяющих о дорогу железных подков, конского ржания, поминутных окриков и вдруг все перекрывающей надрывной невнятицы ямщицкого пения, этого лишенного возвышенной плавности, этого бесконечно протяжного, воистину сухопутного мотива.

И все же — да здравствует проза!

Оставим стихи господам надворным советникам и госпожам надворным советницам. Пусть их пробавляются речью богов, пусть их безмятежно владеют этим картонным раззолоченным корабликом, на котором, в свободные от должности и светских забот часы, могут они резво и беспечно носиться вдали от житейской почвы над бездонными глубями и плоскими отмелями чужого и собственного

воображения. Пусть отныне только господа надворные советники и госпожи надворные советницы поэтически вздымаются на гребни восторгов и так же поэтически низвергаются в пучины отчаяния...

О нет, он не без сожаления сходил на берег с веселого корабля и мысленно прощался с этим слишком зыбким и слишком бескрайним простором — он уже знал, что нет ничего другого в целом свете, в чем можно было бы так вконец обомлеть и истаять, как в этих забирающих за душу и словно затягивающих душу горячих, горячечных, бредовых, бедовых далях. «Несчастливо любя, рассудок я гублю, не знаю сам себя, не помню, что люблю...»

И все же. Тому, кто числился всего лишь губернским секретарем, кто был всего лишь писарем, не приходилось возноситься, то есть лезть не в свои сани. Пусть статские, надворные, коллежские и даже титулярные мчат на лихачах. Чем пронзительнее визжат их полозья с подрезами, тем очевиднее, что надсадный бег никогда не уподобится свободному полету и что ледяная гладь для того так и гладка, чтобы, отражаясь в ней, даже самый прыткий скакун никуда не мог ускакать от самого себя. А если канцеляристу из канцеляристов вдруг придет охота непременно прокатиться от Сенной до Синего моста, он возьмет за двугривенный самого смирного ваньку, хотя бы лошаденка его была совершенная кляча, и, накрывшись медвежьей полостью, станет из своих розвальней исподволь поглядывать по сторонам. И вот это и будет проза: не мерное покачивание на пенных валах, а немилосердные толчки под бок на каждом ухабе, а такие крутые повороты из улицы в улицу, что того и гляди вывернешься на мостовую, и внезапные остановки («осади назад!») — то есть все то, чему положено быть во всяком прозаическом сюжете. И тут чем более встретится рытвин и кочек, чем более промелькнет известных в городе лиц и домов, тем забавнее и злее выйдет сочинение.

И уже вдали показался бледный лик Пьеро, слегка напоминающий почтенную физиономию Якова Борисовича Княжнина. А чуть далее — розовое личико Коломбины, которому при желании можно придать некоторое сходство с чертами Катерины Александровны Княжниной. А вот и Доктор. Не то комедийный Доктор, не то театральный врач господин Виен. И при встрече с Доктором кто-нибудь из персонажей будет говорить ему: «Viens mon ami».

А он сам, Иван Крылов, из круга избранных снова возвращается в толпу зрителей, безвестных губернских секретарей. Пусть все выглядит так, словно бы перед ним никогда не отворялись двери княжнинского дома, куда без стихов ему ведь и в самом деле не могло быть доступа — ни по летам, ни по чину, ни по званию. Пусть сделается очевидным, что он из другого теста, чем господа Княжнины, что он другой породы. Пусть все видят и знают...

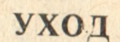
Хотя, конечно же, вовсе не в том дело. Совсем не в том. И он не был виноват в своем исконном плебействе. И точно так же смешно было бы и ему винить их в благоприобретенном аристократизме. Нет, речь шла о другом. О том, что они делали вид (притворяясь, впрочем, из самых благородных и деликатных побуждений), будто его плебейство не играет для них никакой роли, будто бы важны только стихи, одни стихи и ничего больше. И он-то уж было раз-

летелся, он-то совсем уж было поверил им. И всякой чувствительной душе легко понять, что вдруг обнаружившийся их добродушный, их невинный, их благородный, в сущности, обман сильнее задел и оскорбил его своею безобидной снисходительностью, нежели могла бы оскорбить самая презрительная грубость...

Ах, какую неприязнь он теперь испытывал к этим прежде любимым стихам, которые, однако, и теперь невольно, против желания подчиняли его своей власти и напором своего мерного течения, своего однообразного напева раскачивали усталое, равнодушное сознание и уводили его за собою — вверх-вниз, вверх-вниз — и все дальше.

Стремительное движение периода замедляется восклицанием либо шепотом, но одна строка подгоняет другую; приглушенные ноты напоминают удары воды о камень, резкие — звон ветра. Концы и начала строк то сливаются друг с другом, то отталкиваются друг от друга одинаковыми гласными, и тогда гласные «зияют» — как провалы между волнами. И уже ничего нет, кроме восклицаний и всплесков. И чтец, и слушатель, оба чувствуют, что в этом воздухе, в этом ветре они — вместе. Оба втянуты в странную игру вроде полета под изогнутым парусом. И царица Дидона стоит на берегу, и волны идут к ее ногам — снова падает и подымается зеленый вал, накатывается и разбивается о стену, и летят брызги...

Ощутив на щеках влажность этих брызг, соль на губах, Крылов вдруг понял, что плачет.



УХОД

Пускай представляют человека, который любопытным взором смотрит на все и делает свои примечания...

И. А. Крылов Введение к журналу «Зритель»

1

Гаврила Романович Державин вдруг спросил нас: «А о чем толкуете?» Я отвечал, что говорим о дяде Иване Герасимовиче Рахманинове и что я хотел узнать от Ивана Андреевича о литературных трудах его. «Да,—сказал Гаврила Романович,—он переводил много, между прочим философические сочинения Вольтера, политическое его завещание и другие его сочинения в 3-х частях... Человек был умный и трудолюбивый, но большой вольтерианец. Иван Андреевич и Клушин были с ним коротко знакомы. Да, кстати, о Клушине: скажите, Иван Андреевич, точно ли Клушин был так остер и умен, как многие утверждают, судя по вашей дружеской с ним связи?»

С. П. Жихарев Записки современника

Год был високосный. Не успев выдать первый номер журнала в январе, выдали в феврале и объявили, что это будто бы в честь того, что февраль именинник. Пренумерантов, то есть подписчиков, с самого начала набралось более семидесяти, и с каждым месяцем число их умножалось, и к весне стало ясно, что журнал замечен в публике, что теперь надо только подогреть ее внимание забавными и острыми сочинениями, — и тут-то Крылов забросил свое перо под лавку и стал писать лишь мелом на зеленом столе: стал запоем играть в карты...

Издание журнала было давней и любимой мечтой Александра Ивановича Клушина.

Жить в кругу людей умных и даровитых, выводить таланты на сцену света, то есть служить антрепренером и вместе актером эдакого мечтательного, воображаемого театра, — вот какой виделась Клушину роль издателя и автора журнала. И когда они с Крыловым крестили свой ежемесячник, то сколько ни думали, не могли придумать ему лучшего имени, чем «Зритель».

Печатая журнал, выгодно было иметь собственный станок, но так как денег на обзаведение не было, то придумали учредить типографскую компанию на паях под вывеской «Крылов с товарищи». В товарищи позвали Ивана Афанасьевича Дмитревского и еще другого известного актера и литератора — Петра Плавильщикова. Актеры дали пятьсот рублей, у Крылова нашлось полсотни да у Клушина четвертной билет. Зато Крылов и Клушин, поселившись при типографии, должны были взять на себя главные издательские труды. В торжественном условии, подписанном компаньонами, означили: «Каждый должен стараться, по возможности, исполнять все то, что может относиться к должности фактора, корректора и

тому подобных, и все таковые труды разделить между собою, и если бы случилось кому что сделать и за другого, в том никакого расчета не делать, ибо сие общество основывается на законах истинного дружества». Наняли наборщика, а в книжную лавку, которую завели при типографии, — сидельца.

И вот, когда чистый доход от предприятия составлял уже почти по сту рублей на брата, Крылову внезапно опротивели и станок, и журнал, и вообще все, что относилось до литературы. В ответ на недоумение Клушина «отчего?» Крылов закрывал глаза и употреблял крепкие выражения в смысле «провались оно пропадом». Но ведь в марте он отнюдь не желал, чтобы их журнал проваливался, и в апреле он мечтал для него об иной участи, а вот в июне уже приготовился спокойно смотреть, как их детище ухнет вниз головой в бездну бесславья.

Правду сказать, недоумение Клушина было наигранным. Он прекрасно знал, что все это случилось из-за обыска, который полиция учинила у них в типографии 12 мая. Чуть свет их разбудил стук в дверь и явились частный пристав с двумя унтер-офицерами. Переворошили бумаги, заглянули в нужник. Один из полицейских поставил табурет на табурет и полез посмотреть, нет ли чего на печи, но сорвался и с грохотом сверзился на пол. Частный пристав был мал ростом и плечист. Судя по выправке и небрежному равнодушию, с которым он съездил по физиономии оплошавшего унтера, в полицию поступил из армейских офицеров. Письменное читал с трудом и едва разобрал по записке названия поэмы Клушина «Горлицы» и повести Крылова «Мои горячки». Вместо «горячки» он прочитал сперва «ягодки», потом «горшки». Клушин сказал, что поэму «Горлицы», действительно, сочинил, но что она ему разонравилась и он ее разодрал. Крылов ответил, что рукопись «Мои горячки» (а не «горшки») дал для прочтения капитан-поручику Скобельцыну. Поехали к капитан-поручику, от него — уже с рукописью — к обер-полицмейстеру. Собственно, из-за рукописи все и произошло. Ничего противозаконного в ней не отыскали, журнал не остановили, даже никакого замечания издателям сделано не было, — напротив, в мае журнал был выписан «для библиотеки Ермитажа Ее Величества», но рукопись Крылову не вернули. Крылов написал прошение обер-полицмейстеру. Вместо ответа пришел тот же самый частный пристав и сказал:

— Ваши «Горшки», сударь, затребованы в Кабинет.

Крылов обождал неделю-другую, потом попробовал хлопотать через Дмитревского, через Львова, через Державина (который в то время был во дворце статс-секретарем), но все без толку. Судя по всему, рукопись его валялась где-нибудь у императрицы либо у фаворита Зубова, и не было никакой возможности заполучить ее назад. И вот тут-то Крылов взбесился. То есть внешне он сделался еще спокойнее, чем был всегда, но стал чрезвычайно мрачен. И Клушин, конечно же, сразу понял, что от этой мрачности ничего хорошего ждать не приходится.

Когда они познакомились четыре года назад — Клушин тогда бросил военную службу, приехал в Петербург, определился к штат-

ской и занялся литературой, — Крылов как раз пребывал в подобном же бешенстве. Только тогда его взбесил директор театров генерал Соймонов. Клушин сам был не робкого десятка, судил обо всем весьма вольно, особенно любил сквернословить и ругать всех духовных и святых, вообще не боялся выставлять себя безбожником и противником христианского закона. Но узнав подробности отношений генерала к Крылову и поступков Крылова касательно сановного генерала, Клушин навсегда проникся к Крылову сердечным уважением — к которому, правда, примешивалось серьезное сомнение на счет того, остается ли мелкий чиновник вполне независим от генерала, если даже не боится потерять генеральские милости, а, напротив, сам готов в любую минуту на них плюнуть, потому что ведь плюнувшему чиновнику все равно приходится платить за свою дерзость и порою платить довольно дорого: а какая же тогда независимость? Короче, Клушин восхищался решимостью Крылова, хотя, на его взгляд, Крылов во всей этой истории вел себя крайне нерасчетливо и почти что безумно.

Главное тут заключалось в том, что Петр Александрович Соймонов был к Крылову чрезвычайно расположен и даже, можно утверждать, любил его.

Петр Александрович был хорошо образован, деятелен и несколько цинически насмешлив. Поглядывая свысока на человечество, он не старался различать между добродетелью и пороком. Если он не теснил и не давил подчиненных, то лишь потому, что это его не развлекало. И если он приятельски сводничал знатным поклонникам молоденьких актрис и учениц театральной школы, то не из видов, а только ради забавы.

Приятельствовал генерал со многими и особенно хорош был с графом Безбородко, но друзей не имел. Был вдов. Со своей замужней дочерью рассорился, когда отказался платить ее долги (дочь любила наряды и меняла их без счета). Сына, гвардейца, застал однажды ночью у своей любовницы, балерины-француженки.

— Вот как, Петруша, — сказал генерал, — а я было собирался отписать ее тебе по завещанию.

И с той поры не пускал сына на глаза.

Генерал любил язвительных французких писателей, особенно Вольтера и Дидро, а также правильные французские насаждения. Более всего времени проводил в саду, окружавшем большую виллу в древнеримском вкусе, которую выстроил для себя на Средней Невке. Сад вокруг дома был разбит так, что аллеи шли вкось, и гуляющие не были видны из окон дома и могли чувствовать себя в саду на свободе. По сторонам аллей располагались цветники, лужайки и «зеленые кабинеты», то есть живые беседки, где стояли кованые железные диваны, называвшиеся «сиделки». Кабинеты предназначались для уединения и развлечения. Театральные декораторы предлагали генералу — по обыкновению тогдашних голландских садов — поставить в конце каждой аллеи «обманные виды», то есть живописные перспективы, нарисованные на огромных холстинах столь искусно, что казались издали продолжением сада, но генерал предпочел любоваться естественными красотами окрестных болот.

Приближенными генерала были обезьянка (мартышка по имени Луиза, которую дворня в доме называла Облиза), старая карлица немка Шарлотта и курчавый арапчонок, при крещении названный Пафнутием. В эту компанию попал и Крылов. Не любя людей, генерал собирал уродов. Луиза проказила, Шарлотта строила рожи и бранилась, Пафнутий был черен. Все они были простодушны. Но они были глупы, а Крылов — хоть прост, но умен. Генерала сердечно изумляло, что сочинения канцелярского медвежонка, косолапого писаря казались совсем правильными творениями — только грубее и злее обыкновенных людских. Генерал заказал шестнадцатилетнему литератору перевод французской оперы — и опера пошла на сцене; потом Крылов принес собственную комическую оперу — и генерал велел капельмейстеру Деви сочинить на нее музыку; потом была одобрена крыловская комедия под заглавием «Сочинитель в прихожей» — насчет жалкого щелкопера, домогающегося благоволения вельможи; во уважение его драматических талантов Крылову выдали билет для свободного входа в партер в рублевые места, а затем Петр Александрович предложил Крылову перейти из Казенной палаты в Горную экспедицию, над которой начальствовал. Генерал привязался к Крылову и сделал его как бы домашним ученым медведем. Иной раз, едучи из департамента, генерал прихватывал с собою Крылова и, гуляя с ним по дорожкам своего сада, рассказывал, как дрался у Цорндорфа и Кунерсдорфа в Семилетнюю войну, как главнокомандующий Бутурлин не мог найти на карте реку Одер, как случилось повстречаться с Фридриком Великим или как однажды в разгар жаркого дела подъехал к нему знакомый секунд-майор и, держась за щеку, спросил:

— Не знаешь ли, братец, средства от зубной боли?

И в ту же минуту прусское ядро оторвало секунд-майору голову.

Забавлявшие генерала беседы с Вольтером из канцеляристов, с острословом из бессловесных тварей продолжались до тех пор, пока между канцеляристом и генералом не вышло несогласия из-за новой крыловской комедии. То была длинная и вовсе не смешная пьеса, в начале которой парикмахер Ванька чесал волосы госпоже Тараторе, а она тем временем сочиняла стихи своему любовнику-лекарю и называла его в стихах лекарем чувств и духа, а Ванька ворчал, что проклятому лекарю следовало бы отрезать оба уха.

Полистав комедию и убедившись, что она скромна и нравоучительна, Петр Александрович разрешил Крылову ее напечатать. Но неделю спустя к Соймонову приехал Яков Борисович Княжнин и объяснил, что крыловская комедия — это, по общему суждению, пасквиль на него, Княжнина, и генерал, покачав головой, ехидно заметил, что хотя сам он не нашел никакого сходства между лицами глупой фарсы и семейством почтенного Якова Борисовича, но что если Якову Борисовичу крыловская пьеса кажется обидной, то он, Соймонов, конечно же, не велит ее пропускать.

И после визита Княжнина генерал увез Крылова к себе в сад и объяснил ему, что не может позволить губернскому секретарю публично шельмовать надворного советника, что словесность только

сень для развлечения и уединения, тогда как жизнь — поденная служба.

— Ваше превосходительство, — возразил канцелярист, — месяц назад вы прочли мою комедию и дозволили ее печатать. Неужто вы дозволили печатать пасквиль?

— Но ты мне не сказал тогда, на кого метил.

— На учтивого бездельника и рогоносца, отыскивающего в чужих стихах чувства, которых не имеет. Ваше превосходительство сами это видели и прежде не находили в моей комедии личности, а если ее не было прежде, то не может быть и теперь.

— Яков Борисович ее нашел. И в публике так же судят. Этого довольно.

У Крылова густо покраснели щеки и выпятилась нижняя губа.

— Я покуда не состою под началом у господина Княжнина.

— Зато ты у меня под началом.

Генерал искоса поглядывал на канцеляриста. Его тешила крыловская злость. Когда же день спустя Крылов принес ему прошение об отставке, генерал и вовсе развеселился.

— С твоим чином, братец, не грех бы еще послужить.

— Я, ваше превосходительство, за чинами не гонюсь.

— Уж не за славой ли?

— Я автор.

— А знаешь ли, где слава живет? Это в Париже она, театральная девка, ютится, где попало, где-нибудь в подвале либо на чердаке. А у нас она большая барыня. Тебя, братец, к ней на порог не пустят. Она и на коллежских-то едва смотрит. У ней все надворные, да статские, да тайные.

Крылов молчал.

— Возьми, братец, назад свою бумагу и ступай.

Крылов покачал головой.

— Я, ваше превосходительство, прошу отставки.

Тут генерал помолчал. Генерал смотрел на своего чиновника. Чиновник смотрел на генерала. Оба они знали, что без сильного покровителя губернскому секретарю никогда не выбиться в люди. Оба они знали, что любой губернский секретарь был бы счастлив сыскать себе такого покровителя, как генерал Соймонов. И вот генерал смиренно просил губернского секретаря принять его покровительство, а губернский секретарь надменно отказывал генералу в его просьбе. Петр Александрович Соймонов расхохотался и сказал:

— У тебя, братец, затмение в мозгах. Лечись.

И написал на крыловском прошении: «Уволить за болезнью».

Генералу понравилась дерзость, с которой Крылов напал на Княжнина. Это был ловкий способ обратить на себя общее внимание. Но ссориться с директором театров, просить отставки... Тут не было никакого резона, и этого генерал понять не мог.

Прошло месяца два, и Крылов вновь появился в генеральском кабинете. Разумеется, здравый смысл требовал, чтобы теперь последовало крыловское покаяние. Но покаяния не было, и генерал с любопытством ждал разрешения загадки.

Крылов держал под мышкой рукопись, на заглавном листе которой было выведено: «Американцы, комическая опера».

— Господин Дмитревский читал ее и одобрил, — Крылов мотнул головой, что означало поклон, и протянул рукопись. — А господином Фоминым уже сочинена на нее музыка.

— Вот как! Может, ее уже и на театре играют?

— Нет. Без вашего позволения не смеют.

— И на том спасибо.

Генерал полистал рукопись и велел прийти за ответом через неделю.

Крылов пришел.

— Сожалею, братец, но в опере твоей ни содержания, ни связи. И к тому же у тебя дикари хотят принести на жертву двух европейцев. По нынешним временам такой пассаж, пожалуй, сочтут неделикатным. Это может револьтировать* публику.

Через два дня Крылов снова был у Соймонова.

— Я переправил то, что заметили ваше превосходительство.

— Мольер, говорят, сочинял не так скоро.

— Да, ваше превосходительство. Но Аристофан еще скорее.

Генерал решил поставить Аристофана на место. Когда еще через неделю великий комедиограф в потертом сюртуке вновь появился под сводами древнеримской виллы, встретивший его там швейцар, дородством похожий на Цицерона и восседавший в сенях, как в сенате, на вопрос, дома ли барин, с риторским цинизмом отвечал: «Никак нет!» И тот же лаконический ответ повторялся изо дня в день.

Месяца через три Крылов, наконец, был допущен.

Он вошел как ни в чем не бывало. Мотнул головой.

— Ваше превосходительство обещали рассмотреть мою оперу «Американцы».

— Да, я ее прочел. Она не годится.

— А моя опера «Бешеная семья»?.. Та, которую по вашему приказанию господин Деви положил на музыку.

— Видишь ли, братец, сейчас на театре много легких опер, а ведь нужны и трагедии, и комедии, и балеты. Твоя опера отложена.

— Тогда не угодно ли вашему превосходительству взять мою комедию «Проказники»? Эта та комедия на рогоносца, против которой вооружился господин Княжнин.

— Я же тебе говорил, что не приемлю личностей.

Крылов поклонился.

— Ваше превосходительство, дирекция остается мне должна двести пятьдесят рублей за перевод оперы «Инфанта», который исполнил я по вашему поручению. Нельзя ли выдать мне эти деньги?

— Ты их еще не получил? Что же ты молчал? Теперь казначей, чего доброго, списал их в общие казенные суммы... Впрочем, я постараюсь их выдать.

Загадочная крыловская самоуверенность, наконец, пересилила генеральское добродушие. Петр Александрович почувствовал раз-

---

* От французского révolter — возмущать.

КОФЕЙНЯ
ВИ НОТОРГОВЛЯ

дражение. Призвав капельдинера Казаччи, стоявшего при входе в Большой театр, он велел отныне не пускать Крылова в рублевые места по даровому билету — разве что в полтинные, на галерку. А когда вечером генерал возвратился домой, и мартышка Луиза подсела к нему, чтобы почесать у него за ухом, Петр Александрович не очень вежливо отодвинул ее от себя, так что Луиза, обидевшись, отправилась в генеральскую спальню, залезла под кровать и там долго кусала и мучила ночную туфлю генерала.

А через два дня Крылов показал Клушину сочиненное им длинное письмо на манер вольтеровских памфлетов, адресованное директору императорских театров. Если бы Петр Александрович прочел его, то поведение Крылова уже не казалось бы ему загадкой. Он понял бы, что наглый мальчишка досаждал ему своими комедиями вовсе не ради комедий, а единственно для того, чтобы заслуженное наказание за собственную дерзость изобразить как притеснения и обиды, которые якобы снес он от театра, представив при этом своего покровителя невеждою, болваном и гонителем талантов. Генерал увидел бы, что отставной губернский секретарь надеется не на земную справедливость и не на небесный суд, а обращается к какому-то несуществующему и неведомому потомству, то есть ни к кому не обращается, а просто прет на рожон.

Впрочем, генерал, может быть, и узнал что-нибудь о крыловском письме, потому что Крылов давал его читать и списывать всем, кто ни просил.

Так или иначе, возвращаясь как-то домой около полуночи, Крылов увидал неподалеку от своей квартиры двух мужиков, которые, стоя под фонарем, явно кого-то ожидали. Когда Крылов прошел мимо, один из мужиков схватил его за воротник, говоря «стой!», но тут же оказался на земле, сжимая в кулаке половину крыловского ворота. Другой мужик, размахнувшись, угодил Крылову по уху. Фонарь качнулся перед Крыловым, но устоял. Пятифунтовый кулак вновь пошел по кривой, чтобы приложиться к крыловскому уху, — и промахнулся. Еще со времен отчаянных потасовок в Яицком городке Крылов был опытен и искусен в кулачной драке. Быстро присев, он с силою подался вперед и въехал головою мужику в надутое брюхо. Мужик перегнулся пополам и завертелся на месте. Товарищ его, вскочив и не подбирая шапки, побежал прочь. Но Крылов кинулся наперерез и снова сшиб его с ног. Мужик пополз, крича «убивают!».

Крылов уверял Клушина, что мужиков подослал генерал Соймонов — с тем, чтобы они изловили его и посекли на конюшне. Клушин возражал, что то могли быть самые обыкновенные грабители, которых полно в городе не только что ночью, но и днем, даже на людных улицах. Но Крылов не соглашался и при этом изображал в лицах, как на другое утро мужик с подвязанной щекой и подбитым глазом стоит перед генералом, а Петр Александрович нюхает табак и говорит очень спокойно:

— Славную, однако, эпиграмму он опубликовал на твоей роже!

— Ничего, ваше превосходительство, — шмыгает носом мужик, — в другой раз не уйдет.

— Дурак! — чихнув, отвечает Петр Александрович. — В другой раз он остережется. И как бы заместо эпиграммы не сочинил тебе эпитафии. Впрочем, будь доволен. Из него, по всему, выйдет знатный автор. Когда лет через двести станут описывать его историю, пожалуй, вклеют туда и твою разбитую харю. А пока ступай вон!

Тут Крылов очень натурально представлял мужика, который, переминаясь, пятится к двери, но не хочет уйти, не получив награждения за труды и увечия, так что, в конце концов, срывает с головы повязку и говорит:

— Ваше превосходительство, вона синяк какой!

— Да, хороший синяк, здоровый, — соглашается генерал. — Однако же я тебя не за синяками посылал. Пошел вон!

И мужик так и уходит ни с чем...

Тогда, четыре года назад, озлившись на Соймонова, Крылов в один день перечеркнул все свои театральные мечты, которыми жил пять лет, и решился писать журнальные сатиры.

Теперь, вознегодовав на императрицу, Крылов увидел, что отступать уже некуда, и потому надумал вовсе бросить словесность.

Клушин не отговаривал. Клушин знал, о чем идет речь. Только в глубине души его теплилась слабая надежда, что вдруг явится тот самый коренастый, длиннорукий полицейский пристав, положит на стол крыловскую рукопись и скажет:

— Вот, сударь, ваши «Горшки». А при них записка ее величества.

И, если в записке Крылов найдет объяснения либо извинения на счет того, почему была задержана рукопись, то, быть может, бешенство его поутихнет...

Но полицейский пристав все не появлялся.

2

В городе Брянске жил на покое тамошний небогатый помещик и домовладелец города, отставной коллежский советник Михайло Васильевич Константинов, служивший до выхода в отставку в коллегии иностранных дел... Упоминаем об этой почтенной личности здесь потому только, что в его доме мы познакомились с жившею у него в семействе родной его племянницею — Анною Алексеевною Константиновою. Это-то прелестное существо всем пламенем первой страсти полюбил И. А. Крылов во время своего пребывания в Брянском уезде, где он познакомился с семейством Анны Алексеевны; в этом-то существе, кротком и чистом, нашел он самую глубокую взаимность. Молодые люди решились навсегда соединить свою судьбу. Крылов формально просил руки Анны Алексеевны, но... несчастное но... он был беден, безвестен, не имел приличного служебного положения; ее родители были тщеславны, гордились своим родством с Ломоносовым, считали в своей родне генералов; Анна Алексеевна была еще очень молода — красавица, — для ней искали партии более блестящей и отказали Крылову. Он уехал в Петербург. Анна Алексеевна плакала, тосковала, по ее собственным словам, таяла как воск — родные стали бояться за ее жизнь, сжалились и изъявили

согласие на брак ее с Крыловым. Она сама и родители ее поспешили написать об этом счастливом изменении обстоятельств Крылову и звали его в Брянск играть свадьбу. Но... опять это несчастное но... от Петербурга до Брянска не так было близко тогда, как теперь. Крылов ответил, что у него нет средств приехать в Брянск, а потому он просил осчастливить его — привезти невесту в Петербург, где может быть немедленно устроена свадьба. Такой ответ оскорбил и рассердил родителей Анны Алексеевны, и они решительно отказали Ивану Андреевичу, прекратив затем всякие с ним сношения.

Тем это дело и кончилось для света, но не для любящих сердец. Они остались верны друг другу — всю жизнь. Крылов страдания свои изливал в поэтических стонах и на всю жизнь остался холостяком; Анна Алексеевна плакала, молилась, всю жизнь сохранив святую любовь к своему избраннику, отказалась от представлявшихся ей прекрасных партий и осталась девицею.

П. В. Алабин К биографии И. А. Крылова

— Правда, у Софьи Алексеевны Раевской была незамужняя сестра?

— Да, Екатерина.

— За которую три раза безуспешно сватался баснописец Крылов?

— C'est ça. У меня в библиотеке несколько книжек, ей принадлежавших, с ее именем на переплете: «Catherine Constantinoff». Прелестные издания XVIII столетия — «Julie, la nouvelle Eloise». Она последние годы жила в Италии.

С. Волконский Разговоры

Крылов нередко захаживал к Сандунову. Сандунов порою заглядывал к Крылову. Случалось, они вместе прогуливались по городу. И как-то раз — было это у большого фонтана в Летнем саду (Крылов тогда жил возле самого сада) — навстречу им попались две барышни: у обеих огромные черные глаза, темные локоны, обе смуглые и большеротые, что предвещало сверкающую улыбку, — в сопровождении старушки-гувернантки и горничной девушки. Завидев их, Сандунов фатовски заломил шляпу и сразу глянул мольеровским Сганарелем. Идучи стороной, в некотором отдалении от барышень, он заговорил будто бы для Крылова, но так громко, чтоб слышно было и барышням:

— Нет, брат, когда взаправду любят, так это всякому видно и чего-чего не вытворяют, если это от всего сердца. Моя Марион как меня завидит, так непременно как-нибудь пошутит: или ущипнет, или подзатыльник мне даст, а намедни выдернула из-под меня скамейку: я так и грохнулся во весь рост. Уж это любовь, так любовь. А твоя Николь? Никогда слова тебе не скажет — ровно пень. Ты хоть двадцать раз перед нею пройди, она с места не сдвинется, чтоб тебя шлепнуть, ей-богу! Нет, брат, не верю я такой любви!

Забавно подбрасывая слова, Сандунов мастерски изображал хвастуна. Извергая свой веселый монолог, он с каждым словом как будто немножко вырастал от гордости и самодовольства и к концу речи

глядел на Крылова уже сверху вниз, хотя тот был на голову выше. Комедиант передразнивал серебристый фонтан в его намерении взлететь до облаков. Барышни заулыбались, одна из них взглянула на Сандунова, и Крылов понял, что не ошибся: ее улыбка была точь-в-точь маленькой иллюминацией.

Стараясь, чтобы вышло вскользь, Крылов спросил у Сандунова, не знает ли он, чьи это барышни. Подмигнув значительно, Сандунов отвечал, что это натуральные греческие грации, родившиеся, правда, не от Зевса, а от толстого грека Константинова, у которого три дома в городе да под городом стекольный завод.

Несколько дней кряду Крылов не вспоминал о смуглых барышнях, как вдруг увидал их из окна — с тем же эскортом, то есть гувернанткой и горничной, они шли вдоль Лебяжьей канавки. Крылов оделся, выбежал в сад и тут успел разглядеть барышень подробнее: у одной, которая казалась постарше, лицо было правильнее и строже, у другой, которую тогда рассмешил Сандунов, черты не так изящны, но, пожалуй (как решил Крылов), еще милее.

От того же Сандунова Крылов узнал, что у девиц есть брат, поручик в Измайловском полку. Среди молодых гвардейцев у Крылова нашлись общие приятели с Константиновым-младшим. Отчаянный театрал, он был еще и знаменитый в городе спорщик: всегда предполагал противное тому, что говорил собеседник, и непременно хотел биться об заклад. По осени он всегда заключал пари насчет того, которого числа Нева встанет, а весною — которого числа вскроется, и вечно ошибался, почему не мог пройти мимо реки, чтобы не сказать: «Эта капризница стоила мне почти столько шампанского, сколько в ней воды!»

Крылов сошелся с Константиновым-младшим за кулисами и пленил его постоянной готовностью принять самый рискованный вызов: например, ставил в заклад десять рублей на рубль, что скаковая лошадь откупщика Судиенки обгонит рысака графа Завадовского (когда на масляной устраивали бега), либо что сосулька, которая нарастала всегда в одном месте под кровлей Каменного театра, упадет не прежде 6 марта. Вскоре же Крылов стал бывать у Константинова-младшего и тот представил его отцу — тучному, лысому, с бровями, сросшимися на манер коромысла, и такому же большеротому, как и дочери, — и сестрам. Девицы в тот вечер почти не занимались Крыловым, а Константинов-старший, узнав, что Крылов служит по Горной экспедиции, с некоторой насмешливостью в голосе спросил:

— Так вы, должно быть, знаете, почем идет пуд сырого железа? Говорили, будто цены возвысились.

Крылову не захотелось уронить себя перед стариком и, наморщив лоб, он стал припоминать:

— Помнится, будто в пятидесяти копейках.

Константинов-старший изобразил испуг и волнение: еще на прошлой неделе пуд сырого железа шел в пяти рублях, а если цены так упали, то это значит, что вывоза не будет, то есть фрахта не будет, что не иначе может случиться как только от Англии, если она вздумала уничтожить нашу торговлю, и тогда, чего доброго, англий-

ский Георг заодно со шведским Густавом станет воевать Петербург.

— Британец зол, — пресерьезно заключил старик. — Приплывет да застрелит. — И повернулся к дочерям. — Делать нечего, пташки, собирайтесь в деревню.

— Я, впрочем, не помню твердо, — стал пятиться Крылов. — Я занимаюсь более соляными делами.

— Ах, соляными, — грек состроил такую гримасу, что его круглые щеки совсем легли на воротник, — тогда можно повременить отъездом. А почем же нынче пуд соли?

— Я думаю, вы лучше моего знаете, — улыбнулся Крылов.

— Пожалуй, — рассмеялся грек. Он вполне был уверен, что и сын его шалопай, и все приятели сына — тоже.

Прошло недели две. Как-то, возвращаясь из театра, поручик опять завез к себе Крылова. В гостиной горела большая люстра, молодежь танцевала. Младшая из девиц Константиновых — та, что улыбнулась им в Летнем саду, — сидела за клавикордами. Крылов из своего угла часто взглядывал на нее, и она иногда отвечала ему веселыми взглядами — то ли ее забавляло, что вопреки общему кружению он стоит столбом, переминаясь с ноги на ногу, то ли радовал этот кружевной шелест контраданса, это ангельское дребезжанье, вылетавшее у нее из-под пальцев.

Всего лишь день спустя он снова увидел ее.

Она шла по берегу Лебяжьей канавки — но без сестры и без гувернантки — с одною горничной. Он выбежал в сад и узнал, что гувернантка мадемуазель Лассиер больна и лежит в постели, а сестра Софи осталась дома, чтобы ходить за больной. И тут молодые люди разговорились и так живо, даже торопливо, даже взахлеб, что лишь багодаря горничной Дуняше, которая, в конце концов, вмешалась в их разговор, заметив: «Барышня, уж верно Василия послали искать нас», mademoiselle Constantinoff (или, по-домашнему, Катрин) опоздала в тот день к обеду всего на один час. Но и в последующие дни, несмотря на все Дуняшины старания, они все равно никак не поспевали к обеду вовремя — и так продолжалось целую неделю, пока не поправилась мадемуазель Лассиер...

Юной мадемуазель Константинофф (юные девицы очень чутки по части странного и особенного) гениальные замашки деревенского ротозея сперва показались довольно забавными (тогда как сестра Софи нашла Крылова просто неприличным), потом удивительными, а потом она вдруг обрадовалась им, как подарку. Она вдруг увидела, что с этим всепонимающим, нелепым, неприличным, несуразным и бесподобным уродом (или губернским секретарем) — хотя она еще не сказала с ним ни слова — ей уже веселее, чем с любым из знакомых ей молодых людей. Во всяком случае, ни у кого из них не было такой легкой, такой решительной, такой разнообразной и даже ловкой неповоротливости, как у него. И мадемуазель Константинофф отправилась в Летний сад без сестры и без гувернантки в надежде получше разглядеть эту отчаянную крыловскую непринужденность...

Хотя был полдень, но на небе — точно грязный след стакана на скатерти — белел оттиск луны. С этой луны у них и пошел разговор (хотя мог начаться с чего угодно). Сперва они поговорили о лун-

ных жителях, которых, по дошедшим из Парижа сведениям, увидал Гершель в свой новый преогромный телескоп и которые оказались похожи на людей — только с хвостами. Крылов и мадемуазель Константинофф согласно предположили, что если бы какой-нибудь хвостатый Гершель сидел теперь на луне и глядел в свое увеличительное стекло на эту толстенькую моську и до смешного с ней схожую толстенькую барыню, что семенили мимо них к бело-розовым клумбам, усаженным левкоями, резедой, шпажником и розами, то лунный Гершель непременно вообразил бы, что хвостатая моська и есть барынька, а барынька — напротив, ее моська, и что, пожалуй, такое заключение было бы отчасти справедливо. И затем разговор пошел о приверженности к Луне и лунатиков, и турок. Мадемуазель Константинофф говорила, что туркам, должно быть, трудно отличить лунатиков от нелунатиков, потому что по вечерам, когда прячется солнце, они все выходят на свои крыши, которые у них нарочно так устроены, чтобы по ним можно было ходить, и они прогуливаются там, сидят, играют на своих турецких волынках и даже пляшут. А Крылов рассказал про тверского помещика князя Путятина, который был известным в городе снобродом и если в полнолуние его не привязывали к кровати, то он вставал среди ночи и прямо в чем был, в колпаке и ночной рубахе, отправлялся на Заволжье, к знакомой купчихе. А мадемуазель Константинофф, продолжая о турках, объяснила, что ее прадед был греком-фанариотом, то есть был родом из Стамбула (где в квартале, называвшемся Фанар, обитали по большей части богатые греки, служившие султану) и носил красную феску и предлинные черные усы, но потом чем-то провинился перед Портой и должен был бежать сперва в Валахию, а затем в Россию. Она еще рассказала, что очень рано лишилась матери, они с сестрицею воспитывались мамушкой-гречанкой, которая — как расшалятся — пугала их Поганым Туркой. И эти слышанные с самого детства упоминания о турках, Стамбуле и Фанаре странным образом соединились в их понятиях с тем масляным фонарем, что дворник Василий всякий вечер зажигал перед домом: в их детскую комнату от этого фонаря шел желтоватый мигающий свет и на белую изразцовую печь падала всегда одна и та же густая, узорчатая тень, имевшая очертания горбуна с тремя руками. Этим горбуном они сами себя пугали, называли его Туркой и, чтоб он ночью не унес их на своем горбе, всякий раз перед сном швыряли в него подушкой — стоило подушке шлепнуться о печку, как обнаруживалось, что Турка неживой, что он только смирная, пришибленная тень, и после этого можно было спокойно спать до утра. В ответ Крылов рассказал про старую медвежью шкуру, лежавшую у них в прихожей: медвежья пасть была оскалена и полна длинных желтых зубов, так что до трех лет он боялся и сторонился медведя, но потом осмелел и стал гладить его по голове и наконец отважился сунуть ему в зубы палец. Расхрабрившись, он затем то же самое проделал с большой щукой, купленной матерью на базаре: но этот подвиг обошелся ему дорого — палец после не заживал месяца два. И еще Крылов рассказал, как яицкие казаки били рыбу баграми, выходя ватагами на лед, и как россыпи серебристых рыбин с красны-

ми перьями (то есть плавниками) трепыхались и бились на льду, точно бы лед горел голубоватым огнем...

Как уже упомянуто, выздоровление мадемуазель Лассиер прекратило их конфиденции. Крылов, как бы ненароком попадаясь в саду навстречу девицам, мог теперь, не будучи назойливым, разве что слегка побранить новый французский спектакль да передать поклон папеньке Алексею Алексеевичу. И в константиновской гостиной — когда Крылов попадал туда с младшим Константиновым — они опять же все время были на людях, так что в конце концов Крылов, улучив минуту, пожаловался мадемуазель Константинофф:

— Я, однако, в мыслях все разговариваю с вами, да боюсь, что вам не слышно.

Она слегка улыбнулась (большая ее улыбка при посторонних людях была бы, конечно, неуместна) и сказала:

— Я с вами тоже частенько говорю.

— Хотел бы я послушать, — сказал он.

Она хитро взглянула на него и, приоткрыв рот, провела самым кончиком языка между губами.

— Хорошо, — сказала она.

И на другое утро испуганный чумазый казачок принес ему записку. Несколько минут он видел перед собой только округлые четкие буквы, но затем понял, что держит записку вверх ногами, перевернул ее и прочел: «Возьмите экипаж и будьте в семь часов у церкви, за углом».

Без четверти семь он подъехал к Пантелеймону и остановился на Моховой. В ясном воздухе (это был уже октябрь) быстро оседали сумерки. В ближнем Преображенском полку пробили зорю, потом издали, с башни крепостного собора, долетел отзвук курантов.

По дворам залаяли собаки.

Вдоль соседней Гагаринской, поднимая пыль, прошло стадо коров.

Из дома напротив появился дворник и встал у ворот. Следом показалась молодая баба. Они принялись разглядывать экипаж и о чем-то совещаться. Должно быть, спорили, из какой губернии родом извозчик и его кобыла (в то время все извозчики в Петербурге были пришлые оброчные мужики, да и господские дворовые люди тоже все отправлялись в столицу из имений и при встрече узнавать «своего», то есть земляка, было неодолимой, душевной мужицкой потребностью; по говору это было совсем просто, но нередко можно было угадать и по виду).

Крылов стал уже думать, что он худо понял записку и остановился не на том углу, но тут дверца кареты отворилась и почти мгновенно захлопнулась, и мадемуазель Константинофф очутилась на сидении подле него.

— А признайтесь, — сказала она, — вы, небось, струсили, когда увидели, что я хочу вас похитить?

— Еще бы, — сказал он, — но я решился. Я ваш. Увозите.

— О, — тут она улыбнулась во весь рот, — будь моя воля, я бы, пожалуй, далеко вас завезла.

— За чем же дело стало?

— За тем, что мне через полчаса надо быть к ужину.

И тут она очень просто взяла его за руку, притянула к себе и наугад чмокнула куда-то в глаз...

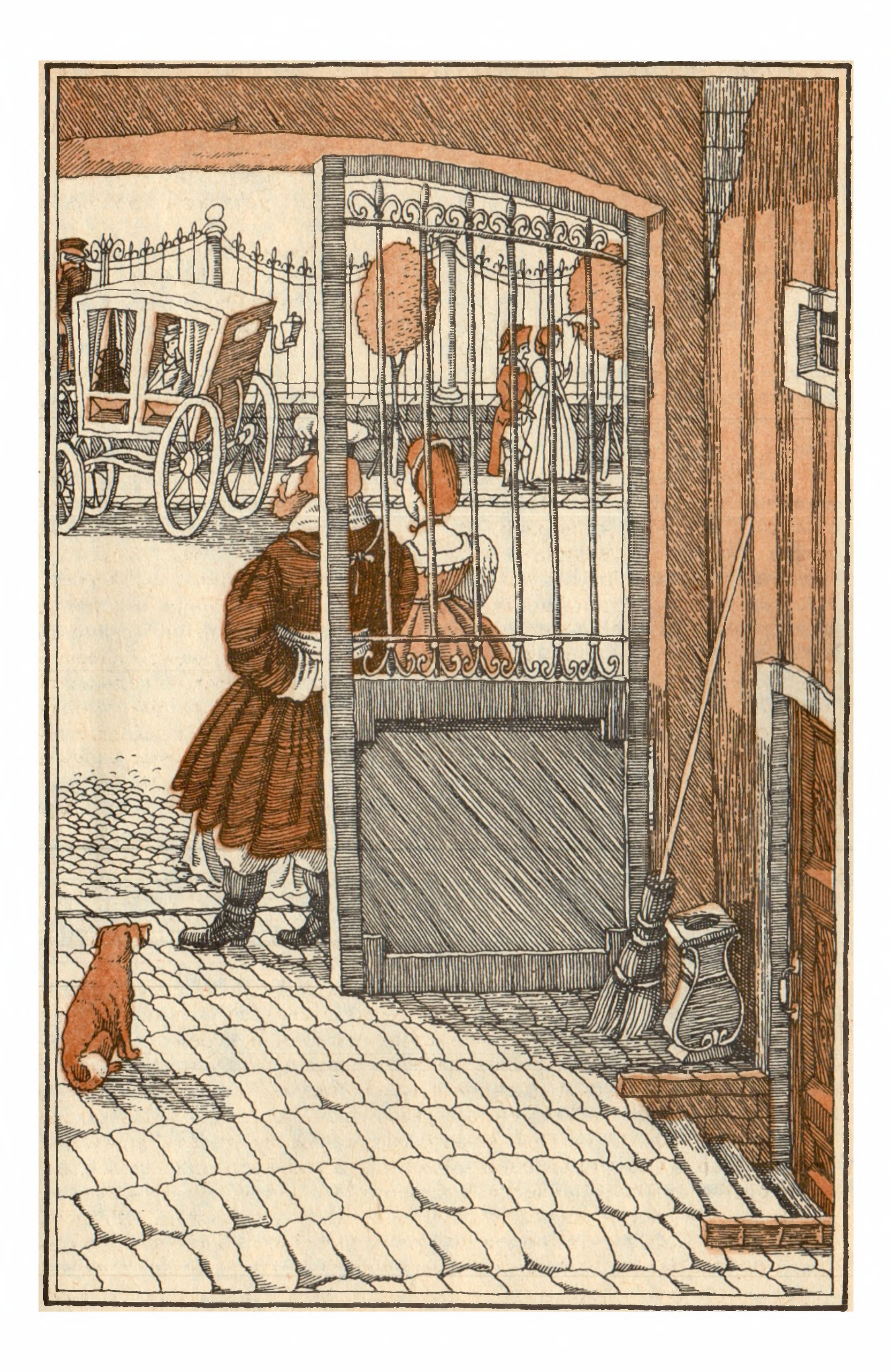
...Петухи горланили по всему Петербургу и на утренней заре, и на вечерней.

Дворники то и дело мели мостовые перед своими домами и свои дворы, но по улицам и по дворам все же оставалось довольно сора и навоза и для куриного усердия.

Попадавшаяся там и сям деревенская живность наводила на мысль, что Петербург не более как собрание дворянских усадеб и мужицких дворов. Но эту мысль тут же перебивало впечатление нарочитого величия и намеренно выставленной на показ мощи, исходившее от окованных гранитом берегов рек и поднимавшихся над ними все новых и новых дворцов и башен, гордившихся своей огромностью и стройностью, а главное, будто бы итальянским покроем своей архитектуры.

Короткие свидания с мосье Крылофф были для мадемуазель Константинофф подернуты полумраком и совсем чужим, убогим запахом наемной колымаги. До сих пор мадемуазель Константинофф никогда не ездила в извозчичьей карете — у отца был собственный выезд. Этот кусочек их дома, поставленный на колеса, хранил привычный домашний дух: то была смесь кофе и корицы (от просыпанного турецкого табака, который Константинов-старший не курил, но постоянно нюхал), а из левого заднего угла, что навечно заняла мадемуазель Лассиер, веяло нежнейшей музыкой кельнской (или колонской) водицы, называвшейся еще eau de Cologne. Между тем потертая внутренность наемного рыдвана, весь свой век скитавшегося по улицам и служившего кому попало, не заключала в своем пространстве ничего, кроме дорожной сырости, настоенной на расчетах и хитростях, на густой житейской прозе. Привкус прели и чужой торопливости (все эти «пошел», «живей», превратившиеся в грязные брызги на стекле) сопровождали их медлительные поездки по Литейной и Фурштадтской до Таврического сада и обратно.

Мадемуазель Константинофф убегала из дома тотчас после урока пения, который от пяти до шести давал ей седовласый маэстро Гартман, и уморительно передразнивала старика, показывая, как он вытягивает шею и прикрывает глаза, когда разучивает с нею французские дуо, то есть дуэты, и как извивается всею длинной своей фигурой, когда мысленно пробегает по изгибам и переливам итальянской фиоритуры. А Крылов на это говорил, что у него желание петь является только от быстрой и тряской езды — как у ямщика, — и уж тогда он поет непременно во весь голос. И уверял мадемуазель Константинофф, будто бы как-то раз, едучи из театра, нечаянно завел он арию из моцартовой «Флейты» и только наддал crescendo, как лошадь с испугу понесла и вывернула его вместе с извозчиком в канаву. И далее воспоминания вели их к прелестной пестроте забавных либо опасных дорожных происшествий. Мадемуазель Константинофф рассказывала, как однажды по дороге из имения их застала в поле сильная метель и как мадемуазель Лассиер громко молилась и завещала Софи свою бутыль одеколона, а ей — коробку



любимых парижских леденцов. И еще вспоминала, как в лесу в сумерках их Василий издали заметил на дороге двух мужиков с топорами и отец, достав пистолет, приказал кучеру гнать во всю прыть, а когда доскакали, то увидели, что за разбойников приняли сухое дерево да куст. А мосье Крылофф посмешил ее историей о том, как во время пугачевского бунта, отправляясь с ним, пятилетним, из Яицкого городка в Оренбург, мать для пущей безопасности спрятала его в корчаге, то есть большом глиняном горшке, так что на каждой рытвине он либо лбом, либо затылком пробовал прочность гончарной работы и к ужасу матери вылез из горшка, точно гуляка из кабацкой свалки.

А однажды мадемуазель Константинофф сказала своему спутнику, чтобы он велел извозчику тотчас ехать в Париж — она желала посмотреть выставленное там новейшее механическое чудо: преогромные часы, изображающие деревню с трактиром, на крышу которого вылезает трубочист, а в окно выглядывает трактирщик, тогда как к крыльцу подъезжает почтальон и дует в рожок, и служанка несет ему бутыль и стакан, а за служанкою бежит собачонка и лает на почтальона, а в стороне под деревом сидит пастух и играет на флейте. На что мосье Крылофф отвечал, что предпочитает дальним странствиям теплый халат и мягкий диван, потому как во сне можно увидать такие диковины, каких не найдешь и в Париже. И мадемуазель Константинофф за это назвала мосье Крылофф лентяем, лежебокой и marmotte*.

Экипаж мелко потряхивало на булыжных горбиках и подкидывало на ухабах. Занятые друг другом, пассажиры по временам теряли представление о направлении движения: начинало казаться, что лошади не тянут карету, а толкают ее назад, а в иные минуты карета просто приплясывала, подскакивала и раскачивалась на месте...

Тайные их прогулки в наемном экипаже прекратились внезапно.

Кучер Василий, возвращаясь вечером из гостей (он был в тот день зван на именины жены повара господ Ознобишиных, живших неподалеку, в Караванной), увидал, как меньшая барышня села в наемный экипаж и уехала. Кучера это поразило. Не то, что барышня уехала одна, а то, что она села в извозчичью карету. Василий долго глядел вслед удаляющемуся экипажу и думал о том, как хорошо, как заботливо и чисто содержит он своих лошадей и проходившему мужику сказал: «Как малых робят. Вот так, как робят. Вот как робятишек». «У самого на деревне семеро», — отвечал, вздохнув, мужик. А Василий в недоумении и обиде явился в людскую и в пух разругал бывших там Игнашку, Гаврюшку и Митюху, зачем допустили барышню ехать на извозчике.

Через пять минут весь дом знал, что меньшую барышню увезли. Ключница Дарья побежала к барину.

Обыкновенные дворовые — в отличие от театральных, комедийных слуг, так ловко хозяйничавших на сцене, — не были, конечно, господами в доме, но при том, однако, и они ощутимо направляли жизнь своих владельцев (что было для господ расплатой за их власть над

---

* Сурок *(фр.)*.

распорядком жизни дворовых). Господа добровольно держали при себе соглядатаев своих тайных пороков и проказ. И, находясь под этим вечным надзором, под вечным опасением лакейской болтливости (через слуг узнавалось все, что ни делалось в доме), господа порою не смели поступить так, как желали, и часто не могли даже сказать то, что хотели, иначе как по-французски. И для барышень Константиновых необходимость сообразовываться с требованиями света диктовалась не столько уважением к приличиям и нравственности, сколько неладами между ключницей Дарьей и горничной Дуняшей. Ревнуя горничную к кучеру Василию, ключница вечно кричала в людской, что горничная за барышнями не ходит, а все ошивается по углам, и при всяком случае наговаривала на нее барину.

Когда ключница прибежала к Константинову-старшему с известием, что меньшую барышню увезли, старый грек велел позвать Дуняшу. Та явилась, старательно хмуря брови, которые все подпрыгивали, а она с усилием надвигала их на глаза. На вопрос, где барышня, Дуняша отвечала:

— У вечерни.

— Ступай, приведи, — сказал Константинов-старший.

Дуняша побежала и довольно скоро вернулась с барышней, ругая на ходу Дарью и Васильевы пьяные глаза. Мадемуазель Константинофф шла очень спокойно. Увидя ее, старик перевел дух.

— Где была?

— У Пантелеймона.

Старик кивнул, но как будто не поверил.

— А ты чтоб не смела барышню одну пускать, — погрозил он Дуняше. — Подите.

И через минуту из людской уже слышались Дуняшины взвизги и Дарьино глухое рокотанье.

Мадемуазель Константинофф за ужином против обыкновения ела много и невнимательно. А перед сном сестра Софи обняла ее и плакала.

— Если ты о себе не думаешь, подумай обо мне, — сказала Софи. — Напиши ему письмо.

И мадемуазель Константинофф села писать письмо. Ей было ясно, что встречаться по-прежнему им уже нельзя (из-за ключницы Дарьи, из-за прачки Алены, из-за горничной Дуняши, которые станут теперь примечать всякий ее шаг). Она писала:

«Расстанемся навеки. И обещайте мне не искать со мной свидания. Этим вы докажете, что любили меня. И, быть может, в разлуке любовь наша станет еще сильнее, и мы сделаемся счастливее, потому что ежечасные опасения не будут смущать нас. Мы станем говорить себе: «Я умею любить» — с отрадным чувством, более долговечным и сладостным, чем то, которое заключено в словах: «Я обладаю тем, кого люблю», — ибо такое чувство испаряется, а то, первое, — нетленно и даже переживет нашу любовь...»

Мадемуазель Константинофф сказала себе, что если бы их короткие встречи и не были никем замечены, то все равно очень скоро этих тряских прогулок и ей, и ему уже показалось бы мало и чем далее, тем нестерпимее была бы для них невидимая привязь, не

позволявшая им хотя бы час-другой оставаться друг подле друга и оттого, должно быть, постепенно сделалось бы тяжко и досадно и само связывавшее их чувство. И она добавила:

«Не будем скорбеть об утрате того блага, которое все равно ускользнуло бы от нас рано или поздно, да вдобавок еще унесло бы с собой и другое благо — то, чего у нас теперь не отнять. Ведь счастье и любовь могли исчезнуть вместе; а у нас, по крайней мере, сохранится чувство — а ведь любить так отрадно. Образ угасшей любви страшнее для бедного сердца, чем образ любви несчастливой. Чувство отвращения к тому, чем обладаешь, во сто крат хуже сожалений о том, что утратил».

И тут она вспомнила, что всегда пустая комната рядом с залой — для гостей, которые никогда ниоткуда не приезжали, — открывается тем же ключом, что и их с Софи комната. И выходило, что ночью, когда все в доме спят и все в городе спят, им возможно встречаться будто на необитаемом острове, никого не опасаясь и ни о ком не заботясь. Выходило, что, отдавая должное дневным условностям и причудам, можно при этом тихонько пользоваться незаметной ночной свободой...

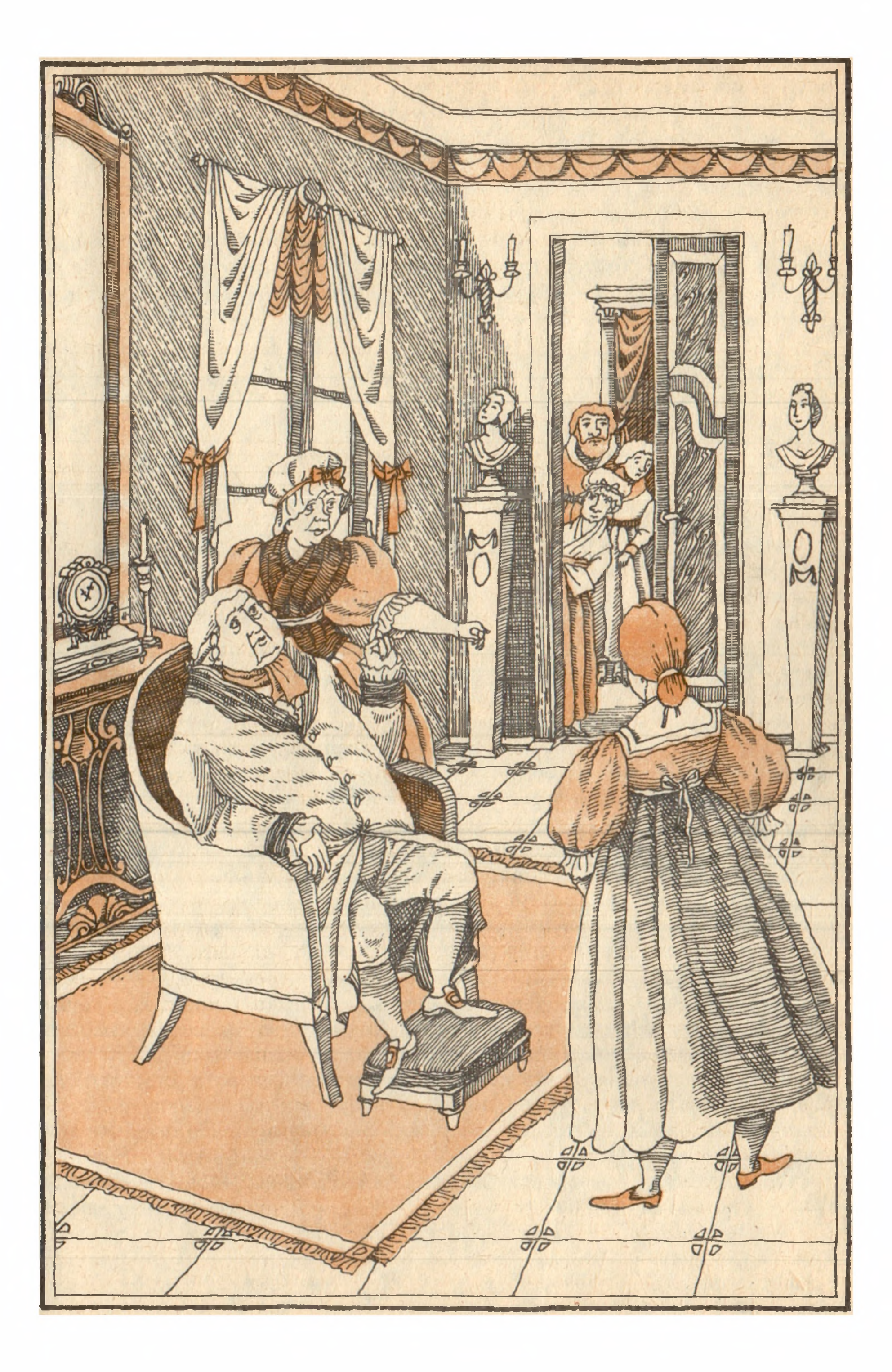
И поутру все тот же чумазый казачок в замызганном зипуне уже без испуга и даже несколько свысока сунул Крылову записку. В ней стояло: «Будьте завтра в час по полуночи возле крыльца».

Посылая мосье Крылофф приглашение прийти к ней посреди ночи — поскольку у них не было теперь иного времени и иной возможности видеться наедине, — мадемуазель Константинофф ничего другого не делала, как только невольно отступала в ту область, куда их с мосье Крылофф вытесняла болтливость пьяного кучера Василия, междуусобица горничной Дуняши и кухарки Дарьи и каменная добропорядочность сестрицы Софи. Если бы им не мешали видеться днем, то мадемуазель Константинофф, верно, никогда бы не додумалась до ночных свиданий. И когда мосье Крылофф вдруг начинал шепотом уговаривать ее бежать из дому, она только улыбалась и качала головой.

— Нет, нет, — говорила она, — если мы будем вместе, то скоро я стану вам в тягость. Ведь я-то устроена так, как все. Мне нужны маленькие обманы и утешения в печалях и превратностях жизни, а иногда теплые, спокойные сны. Вон какой вы встрепанный. Точно сейчас проснулись. Вы всегда такой. Потому что вы не умеете утешаться пустыми надеждами, не умеете обманываться. Нет, нет, с вами очень трудно иметь дело. Я не уеду с вами. Я хочу жить как все, а вы этого не умеете. Мы станем ссориться и это будет ужасней разлуки, ужасней смерти, потому что образ угасшей любви страшнее для нежного сердца, чем образ любви несчастливой...

Правда, иной раз мадемуазель Константинофф сама предлагала мосье Крылофф, чтобы он увез ее из дому. Но тогда он отвечал:

— Вам надобно порхать в свете, а из меня выйдет не очень-то ловкая птичка. Сперва вы станете вздыхать о том, как я странен, потом печалиться о том, как я неприличен, и, наконец, придете в отчаяние от того, как я несносен. Нет, я не хочу, чтобы вы узнали,



что отвращение к тому, чем обладаешь, во сто крат хуже сожаления о том, что утратил...

Случайно услыхав, что мосье Крылофф давно уже ничего не пишет, а все играет в карты, мадемуазель Константинофф как-то спросила, отчего это он вдруг сделался игроком. Он отвечал:

— Оттого, что не хочу, чтобы меня засадили в крепость.

— Как это?

— А так. Если бы я и дальше писал, как писал, то непременно угодил бы в крепость. Прежде мне это было все равно, а теперь как подумаю, что тогда, пожалуй, долго вас не увижу, то и не хочу.

3

Самая первоначальная обстановка жизни Крылова может несколько объяснить нам его самого. Он родился, вырос и возмужал в нужде и бедности; следовательно, в зависимости от других. Такая школа не всем удается. На многих оставляет она, по крайней мере надолго, оттиск если не робости, то большой сдержанности.

П. А. Вяземский Приписка к статье «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева»

Братья, отпрыски одной семьи, производные одной наследственности, как бы мало ни сходствовали между собой, какими бы разными ни вырастали, очень часто оказываются как бы зеркалом, отпечатком друг друга. Тут не портрет, не повторение, но отражение — перевернутое подобие, где правая сторона становится левой, или, говоря иначе, где выпуклостям соответствуют впадины.

Так было и у братьев Крыловых. Унаследованная и старшим, и младшим независимость характера у первого оборачивалась драчливостью и весьма щекотливой гордостью, тогда как у второго, совсем наоборот, выражалась ни с чем не сообразной покладистостью и мягкостью. Если старший брат был в своих чувствах азартен и требователен, то младший не только совершенно бескорыстен, но до невозможности склонен к самопожертвованию...

Будучи уже в последнем классе юнкерской школы при Измайловском полку (куда после смерти матери определил его старший брат), Левушка одним из товарищей своих, лифляндцем Фродингом, был введен в добродушное немецкое семейство, состоявшее из толстенького, уютного, как ночной колпак, немца-шляпника, его похожей на бисквитное пирожное фрау и, главное, дочери четырнадцати лет (Левушке и самому только-только минуло шестнадцать) по имени Лорхен, голубизна глаз которой, белизна и румянец щек и даже белое, накрахмаленное платьице с зеленым тафтяным передничком нежностью оттенков первым делом наводили на мысль о фарфоровой куколке.

Едва Лорхен весьма проворно сделала два книксена, едва Левушка был представлен хозяйке и хозяину, все уселись за стол. Левушка оказался рядом с Лорхен. Она почти не знала по-русски, а он едва мог связать два слова по-немецки, однако беседа у них пошла довольно живо. Она объясняла ему, что была с отцом в балагане, где собачки, наряженные в курточки, плясали на канате. А он рас-

сказывал, как вместе с братом на Каменном театре смотрел Мольерова «Амфитриона», где сверху на веревках, сидя на золотом месяце, спускалась богиня ночи. Хотя они друг друга почти вовсе не поняли, но разговор вышел очень занимателен: ему было весело слушать, как мило она коверкала русские слова, а ее смешило его немецкое произношение.

Когда и в следующее воскресенье Левушка снова явился в семействе шляпника, Лорхен встретила его с радостью. Хозяина дома не было, хозяйка была занята на кухне приготовлением обеда, и Лорхен тем временем взялась учить гостя по-немецки, тогда как он ее — по-русски. Их взаимный урок продолжался до вечера и повторялся с тех пор почти всякое воскресенье. Нередко, правда, в дело вмешивался юнкер Фродинг, который всячески старался сбить Лорхен на немецкую речь, но она с некоторых пор предпочитала русскую.

Но вот однажды, возвращаясь вместе с Левушкой из гостей, лифляндец признался ему, что уже скоро год, как влюблен в Лорхен, но не решался ей это высказать и просить ее руки. Фродинг предложил Левушке быть его сватом и, хотя Левушка поначалу стал отказываться, говоря, что, дескать, не так еще хорошо выучился немецкому, чтобы изъяснить такое тонкое дело, но лифляндец резонно возразил, что дело тут как раз самое простое, которое никакая девица не затруднится понять, объясняй ей хоть по-турецки. Поразмыслив еще минуты две-три, Левушка согласился. Он рассудил про себя, что Фродинг, имея порядочное состояние, может жениться хоть завтра, тогда как ему самому думать о женитьбе еще совершенно невозможно и что, исполнивши со всею честностью просьбу приятеля, он, может быть, составит счастье Лорхен. С тем и начал Левушка в следующие свои посещения шляпникова дома упоминать о Фродинге. Но отзывы Лорхен были как будто не совсем благоприятны. Однажды, оставшись с Лорхен с глазу на глаз (муттер в соседней комнате принимала гостью, вдову придворного кондитера, старушку Леман, а фатер с утра ушел в Рижский трактир пить пиво и играть по маленькой в пикет), Левушка решился, наконец, открыть Лорхен желание Фродинга и принялся — с некоторой даже горячностью, чтобы не казаться себе лицемером, — выхвалять достоинства товарища и расписывать выгоды для нее такого замужества.

Он говорил довольно долго. Она молчала, стоя перед ним. Глаза ее были опущены. Вдруг она прыгнула к нему, обхватила его шею своими тонкими ручками, припала к груди и зарыдала. Левушка был так занят своим красноречием, так углубился в собственные переживания по поводу того, что он жертвует своей любовью к Лорхен ради ее счастья, что этот прыжок и эти слезы были для него совершенным сюрпризом.

— Что вы, Лорхен? — спросил он. — Вас воллен зи дох?*

— Ах, — едва выговорила она сквозь слезы, — я думала, вы меня себе берете!

Тут в груди Левушки совершился мгновенный переворот. Ему

* Что же вам угодно? *(нем.)*.

представилось, что ради счастья Лорхен вовсе не требуется жертвовать любовью. Напротив, он решился ради любви к ней пожертвовать собою — правда, не зная еще, на что сгодится такая жертва.

— Мне некуда тебя взять, Лорхен, — сказал он, — но будь покойна: я обещаю быть вечно твоим.

Два дня Левушка ходил сам не свой, а на третий сказал юнкеру Скворцову, что фройлен Шмидт не идет за Фродинга, а взамен выбрала его, Левушку, что он женится на ней и возьмет ее с собою в полк, что братец, верно, подарит им рублей двести к свадьбе, да и герр Шмидт, конечно, даст за дочерью какое ни на есть приданое.

Однако вечером, когда пришли от ужина, в казарму с криком ворвался Фродинг и стал ругать Левушку по-русски и по-немецки, объясняя сгрудившимся вокруг юнкерам, что Левушка обещался посватать его на либер фройлен, а вместо того сам ее подцепил. Левушка оправдывался, рассказывая, как Лорхен кинулась ему на шею, и даже хотел показать Фродингу, каким образом она это сделала, чтобы Фродинг увидел, что ему никак невозможно было уклониться, но тот отпихнул его.

Тут вмешался юнкер Сидоров 2-й.

— Ежели Крылов вел дело честно, а уж после она сама на нем повисла, — сказал Сидоров 2-й, — то он в своем праве. Но как неизвестно, все ли он употребил, чтобы склонить ее к Фродингу, то Фродинг, конечно, может претендовать. И, стало быть, им надлежит драться. Либо разыграть в кости: как счастье определит.

Одни стали кричать, чтобы драться, другие — чтобы в кости. Но так как драться сразу нельзя было — на дуэли выходили по воскресеньям, поскольку юнкеров в другие дни не выпускали из казармы, — а всем хотелось поскорее узнать, чем кончится дело, то вскоре все сошлись в том, чтобы разыгрывать.

Когда Левушка взял в руку пару костяных кубиков, рука его была холодна и заметно дрожала. Они с Фродингом стали по очереди выкидывать, а юнкера хором называли выпавшие очки:

— Голь!

— Петух!

— С пудом!

— Своя такая!

В пятом решающем коне Левушка выкинул всего три очка и юнкера завопили:

— Трэк!

Фродинг выкинул дюжину. С криком:

— Полняк! Немца окрутим на Рыжей Гретхен! — юнкера принялись качать Фродинга...

Шляпникова дочка так и не узнала, отчего покинул ее розовощекий молодой русише официр, который клялся ей в вечной верности.

А Левушка, выпущенный из школы в армию подпоручиком, отправился к месту службы в Орловский мушкетерский полк, стоявший тогда в Новороссийском крае под городом Херсоном.

Карамзин был красив собою и весьма любезен; по возвращении из чужих краев он напускал на себя немецкий педантизм, много курил, говорил обо всем, любил засиживаться далеко за полночь, беседовать, слушать рассказы, хорошо поесть и всласть попить чаю...

Д. П. Рунич Из воспоминаний

В самих этих куриных фамилиях — Клушин, Крылов — для издателя «Московского журнала» звучало нечто кудахтающее, квохтающее, хлопающее, хлопочущее, нечто слишком практическое, то есть постороннее истинной поэзии. Все эти Клюшкины занимались литературою не ради самой литературы, а ради какой-нибудь внешней выгоды — если не денежной, так политической, экономической, философической, — будто занятие поэзией само по себе не может быть достойною и достаточною целью. Разумеется, издавая свой «Московский журнал», Карамзин надеялся быть полезным и своему карману, а если бы даже не надеялся, то все равно не променял бы занятий поэзией ни на какие другие. Потому что поэзия была теперь отнюдь не забавой, а сущей необходимостью — то есть пришло такое время, что поэзию надлежало поставить на то место, которое прежде занимала в людских душах святая вера. Карамзин начал догадываться об этом, слушая благие наставления друзей-масонов, и утвердился в справедливости своей догадки, вступив в переписку с знаменитым швейцарским пастором, мистиком и физиономистом, Иоганном Каспаром Лафатером. Не было вне поэзии пути к спасению, но на этом пути стоял перед Карамзиным сатирик Клюшкин-Кулушкин (то есть издатели «Зрителя»), который поругивал Карамзина и норовил непременно сделать из поэзии что-нибудь такое, что не есть поэзия. И потому для общего блага необходимо было «часто упоминаемого Коклюшкина» сразить и в литературном смысле уничтожить...

Когда в начале 1789 года Карамзин прочитал только что присланные из Петербурга первые выпуски сатирического и философического сочинения Крылова под названием «Почта духов», то уже не стал ни минуты медлить, а тотчас начал готовиться к отъезду и в апреле месяце отправился в Европу, чтобы, приступая к великому делу преобразования русской литературы, напитаться европейским духом, заглянуть, так сказать, в собственное будущее — наподобие того как некогда, замышляя преобразование русской жизни, отправился в заграничное странствие Петр Великий.

Ранним светлым утром, взглянув из окна своей комнаты на башню Меншикова дома, которую видел перед собой всякий день три года подряд, погладив нежно полированную крышку тонконогого бюро, за которым измарал кипы бумаги и нашел несколько счастливых мыслей, улыбнувшись наведенным на обоях гирляндам и плодам, среди которых в часы бессонницы столько раз при лунном свете отыскивал усатые рожи, скачущих коней и дамские ножки, простившись с дворней и обнявшись с друзьями, отставной поручик Николай Карамзин сел в кибитку и выехал из Москвы.

Леса, луга, пажити, деревеньки, города, обыватели и, в особенности, великие люди, встречавшиеся ему на пути, были для него все старыми знакомцами — а именно живым воспоминанием о картинах и мыслях, когда-то найденных в книгах. Они были собственными снимками, собственными портретами, которые он прилежно сличал с давно знакомыми оригиналами, населявшими его воображение...

В Кенигсберге он явился к Канту. Сокрушительный метафизик оказался точно таким маленьким, хрупким и белолицым старичком, каким ему и надлежало быть, и одно это его сходство с самим собой казалось умилительно.

— Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить свое почтение Канту, — сказал Карамзин.

И философ битых три часа очень тихо и невнятно говорил ему о врожденном нравственном законе, по-другому называемом совестью, и о пятом Доказательстве бытия божия, опровергавшем четыре прежних и состоявшем в том, что вера в Предвечный Творящий Разум присуща человеку по самому устройству его головы и основательна уже потому, что без нее в здешнем свете жилось бы слишком неуютно.

В Страсбурге на верхнем ярусе высокой колокольни знаменитого собора, куда надлежало забираться по круглой лестнице в семьсот ступеней, среди множества разноязычных надписей, нацарапанных на стенах, Карамзин прочел и русские: «Здесь был, проезжая по казенной надобности, Второго департамента Сената столоначальник коллежский асессор и кавалер» и подпись неразборчиво, и еще «Здравствуй, брат земляк» и «Уф! как высоко!». Карамзин только погладил могущественно-холодную стену и, нагнувшись, поднял с пола и положил в карман отколовшийся кусочек кирпича пятисотлетней давности. Он присоединил его к бумажке, тишком подобранной в кабинете Канта, к веточке тополя, росшего подле дома Виланда в Веймаре, к двум ромашкам, сорванным возле кельи Лютера в Эрфурте, к оплаченным трактирным счетам и купленным в дороге книгам и газетам...

9 августа увидели Швейцарию. Поросший лесом горный кряж уходил высоко в небо. Огромная равнина была поставлена стоймя для того, чтобы ею можно было любоваться и разглядывать, словно картину. Сизые пятна еловых дебрей, салатные просторы лугов с игрушечными, но живыми овечками, белые домики под красными крышами — все это заставило русского путешественника вздохнуть с улыбкой и сказать: «Вот оно, Жан-Жаково отечество!», — и размечтаться о безмятежной, привольной жизни среди счастливой природы, в простоте нравов, под сенью благодетельных законов древней республики, умилиться возвышенному совершенству своих мечтаний и, глядя на быстрый Рейн, упорно перемалывавший в своих водах небесный свет, подумать, что именно сейчас, в эту самую минуту готов был бы со слезою любви упасть во всеобъемлющее лоно Природы и исчезнуть среди этой блистающей красоты, возвышаясь к новому, лучшему существованию.

— Ах, если бы мы могли возвратиться духом нашим в первоначальную простоту природы человеческой, открыть свое сердце

впечатлениям вечных красот натуры! Тогда бы и самая необходимость смерти сделалась для нас любезна и усладительна, — сказал Карамзин сидевшему рядом с ним в экипаже молодому датчанину. — Ведь ужас смерти есть не что иное, как уклонение от путей Природы.

— Позвольте, — сказал датчанин. — Однажды мне надо было принять гостей и я велел зарезать свинью. Стали выгонять ее из загородки, но она вдруг заупрямилась, словно почуяла, куда ее ведут. Она визжала и брыкалась. Три дюжих мужика едва выволокли ее из хлева. А разве можно сказать, что свинья уклоняется от путей Природы?

— Я говорю не об убийстве, а об естественной, легкой смерти, — пожал плечами Карамзин и замолчал.

10 августа прибыли в Цюрих.

Русский путешественник остановился в трактире под вывеской «Ворона». В окнах его комнаты синели небо и огромное озеро, а вдали виднелся длинный зазубренный хребет дракона — Альпийские горы...

В тот же день после обеда Карамзин отправился к заветному дому. Дрожащей рукою дернул у дверей колокольчик.

— Могу ли я...

Слуга отвечал, не слушая:

— У себя.

Карамзин думал об одном: становиться на колени или не становиться? Через минуту в прихожую вышел высокий старик в пестром шлафроке и черной камелавке. Рядом с ним семенил седовласый низенький человек во фраке, который быстро говорил на ходу:

— Он раскается. Уверяю вас, он раскается. Сперва его призывают, потом гонят, потом опять призывают. Надобно, наконец, иметь самолюбие!

Лафатер заметил Карамзина:

— Вы ко мне?

Карамзин поклонился. Стань он на колени, низенький говорун мог это принять на свой счет.

Лафатер провел гостя в кабинет. Карамзин отрекомендовался тем самым москвитянином, который выманил у господина Лафатера несколько писем.

— Мосье Магазин?..

— Карамзин, с вашего позволения.

— Да, да!.. Карамзин!.. Русские имена трудны.

Лафатер улыбнулся, поцеловал его и поздравил с благополучным прибытием. Затем извинился, сказав, что еще не окончил своих обычных занятий, предложил Карамзину читать и разглядывать у него в кабинете, что вздумается, попросил быть как дома и ушел, оставив Карамзина вспоминать, какими красками рисовалась ему эта встреча два года назад в Москве.

Около шести вечера Лафатер вернулся, взял Карамзина под руку и повел ужинать в компанию цюрихских профессоров, которые на своем цюрихском наречии говорили так много, быстро и невнятно, что Карамзин ничего не понял. Провожая его до трактира, Лафатер пригласил бывать у него запросто.

На другое утро Карамзин застал в лафатеровом кабинете владетельную графиню Штолберг. Она в уголке читала какую-то рукопись. Сам Лафатер, сидя в халате у стола, писал письма. Через полчаса Лафатер отослал слугу с письмами на почту и указал Карамзину кресло подле себя. Разговор зашел о московских и петербургских знакомцах Лафатера (в Петербурге, между прочим, жил его крестный отец доктор Френкель, а в Москве давние друзья пастер Бруннер и поэт Ленц). Потом заговорили о политических обстоятельствах в России и о русской словесности. Оказалось, что цюрихский житель не хуже Карамзина осведомлен о настроениях петербургской публики, гвардии и двора — так как состоит в постоянной переписке с женою русского наследника великой княгиней Марией Федоровной, а главное, пользуется полной доверенностью ее матери, великой герцогини Вюртембергской.

Лафатер знал, что приверженцы Павла Петровича упрекают императрицу в узурпации власти и распутстве, в разорении казны для фаворитов и ради непрестанно затеваемых ею войн. Лафатеру было известно, что в Петербурге говорят о необходимости перемен и возлагают надежды на наследника; что даже поговаривают о заговоре в пользу великого князя и что будто бы тут замешаны такие известные генералы, как граф Румянцев и князь Репнин; что молодые гвардейские офицеры составили род оппозиции правительству; что в этой оппозиции участвуют также и некоторые литераторы. Тут Лафатер вытащил из кипы парижских, лондонских и берлинских журналов маленькую книжечку, на обложке которой Карамзин увидел русские буквы: «Почта духов, или Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами», первые выпуски которой Карамзин листал еще в Москве.

— Откуда это у вас?

— Привез один петербургский приятель, сказав, что это самое колкое и самое философическое сочинение из всех, выходивших в России.

— Оно и вправду колко, но философии, признаюсь, я здесь не отыскал. Остроумие еще не философия, а кто шутит зло и грубо, тот, конечно, не в ладу сам с собой...

Не успел Карамзин договорить, как вошел тот лакей, что обыкновенно сидел у Лафатера в прихожей и что-то вполголоса сказал хозяину. Лафатер схватил шляпу и уже на ходу предложил Карамзину, если желает, отправиться вместе с ним. Они быстро шли по городу из улицы в улицу, а потом вышли за город и скоро добрались до маленькой деревеньки. Сидевшие у дороги мальчишки, завидев их, с криками: «идет! идет!» — кинулись по улице.

Они вошли на крестьянский двор.

— Что? — спросил Лафатер.

— Чуть душа держится, — отвечали ему.

В побеленной горнице на белой постели лежала темнолицая старушка и часто-часто дышала. Лафатер сел подле нее.

— Это я, Тереза, — сказал он.

— Тяжко, — выдохнула старушка. — Помираю.

И тут знаменитый философ, взяв старушку за руку, заговорил без запинки и так уверенно, будто школяр, хорошо вытвердивший урок.

— Не бойся, не бойся, не страшись конца. Спаситель наш ожидает тебя. В ту самую минуту, как глаза твои закроются навек для здешнего мира, воссияет для тебя заря вечной и лучшей жизни. Благодарение Господу, ты дожила здесь до глубокой старости, видела выросших детей и внучат своих. Они всегда будут благословлять память твою и, наконец, с лицом светлым обнимут тебя в жилище блаженных.

Лафатер прочел молитву и благословил умирающую. Она лежала неподвижно, только грудь ее ходила ходуном. В соседней комнате кто-то бренчал посудой. В открытую дверь видны были дети, втроем хлебавшие из одной миски. Никто не обращал внимания на умирающую.

— Какое странное бесчувствие, — сказал Карамзин, когда они вышли на улицу.

— О нет, мой друг, — возразил Лафатер, — просто в их жизни смерть такое же обыкновенное дело, как еда и питье. Это нам нужна вся наша философия, чтобы только подступиться к своему концу. Мы размышляем о том, как бы нам слиться с Природой, а они еще не так далеко ушли от Природы, чтобы думать об этом.

— Но разве философия, которая дарит нам мечтательную близость к Природе, близость утонченную и сладостную, которою мы можем играть и упиваться, словно любовью, разве она не награждает нас такими радостями, которых лишены простодушные чада натуры?

— В чем же вы полагаете философию? — Лафатер спрашивал быстро, и при этом его черные глаза и очень длинный с горбинкою нос целили в собеседника.

— Я думаю, она есть искусство мыслить свободно, то есть гармонически, находить способы к супружескому сочетанию и соединению мыслей, до того мучивших наш разум своим противоречием. Я думаю, что она ниспослана нам как величайшее утешение для мятущегося разума. Я бы сказал, что она есть тот музыкальный строй, который искусный композитор сообщает разрозненным напевам наших мыслей. Поэтому Канта или Лафатера я скорее всего сравню с Глюком либо Моцартом.

И тут Карамзин запнулся. Пройдя городские ворота, они увидали стоявшую на обочине хорошенькую цветочницу с корзиною левкоев. Она поклонилась Лафатеру.

— Здравствуй, Лизхен, — улыбнулся старик.

А Карамзин ощутил в груди безумное желание навсегда поселиться в Цюрихе и все свои дни проводить подле лилейно-нежной цветочницы. На другой день он уехал в Женеву (посетив по дороге Кларан, где жила героиня «Новой Элоизы», и заглянув в ту рощу, где она первый раз поцеловала верного Сен-Пре), но воспоминание о Лизхен нет-нет да и навещало его и во Франции, и в Англии, и потом уже дома, в Москве.

По возвращении в Россию Карамзин стал издавать журнал, где

печатал описание своего европейского вояжа — «Письма русского путешественника» — и поместил чувствительную повесть «Бедная Лиза». И письма, и повесть (в которой он придал своим грезам о милой Лизхен томный и печальный вид) имели успех необыкновенный, его чувствительность оказалась заразительна. Так же, как заезжал он в Кларан ради несчастной Юлии, московские барыни и барышни стали ездить к Новодевичьему монастырю ради бедной Лизы, проливая слезы возле того пруда, где она утопилась. Для удобства паломниц здесь была даже поставлена беседка...

Когда из Петербурга до Карамзина дошли слухи, что ненавистный Клюквин (то есть издатели «Зрителя») охладел к литературе и занялся не то продажею скобяных товаров, не то карточной игрой, Карамзин вздохнул с сожалением и сказал:

— И вот кто хочет направлять наш вкус!

5

«Одну из моих повестей, — говорил мне Иван Андреевич, — которую уже набирали в типографии, потребовала к себе императрица Екатерина, рукопись не воротилась назад, да так и пропала». Молодой ум его, вероятно, задел колким пером своим такое лицо, которое ей угодно было спасти от преследования сатиры.

М. Е. Лобанов
Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова

В те времена, когда Крылов бывал у Княжниных, приходя прежде всех других гостей, он иной раз прямо отправлялся в буфетную и в шкафчике, где стояла посуда, на самой нижней полке отыскивал маленькую, с выпуклым детским затылочком скрипку. И здесь же в буфетной или в диванной становился где-нибудь в уголке у окна и играл...

Сцепление эфемерных звуков всегда разворачивалось перед его воображением как некое невидимое владенье — только там он мог почувствовать себя хозяином положения, то есть человеком независимым и даже великим. И точно так же, когда он писал стихи или сочинял трагедии или комедии, он пробирался в такую область, где становился сам по себе, где мог отделить себя от безобразий и странностей жизни, притворявшихся должным и подобающим порядком вещей. Разница была лишь в том, что территория, отвоеванная им посредством музицирования у непременных обманов и привычной приниженности, тотчас снова переходила в руки неприятеля, стоило лишь перестать музицировать, тогда как область воображения, огороженная его литературными трудами, оставалась навсегда его собственностью.

Однажды крыловскую скрипку услыхал нечаянно навестивший Княжниных князь Потемкин. Он велел позвать артиста. Крылова привели.

— Сыграй-ка нам, брат, — услыхал Крылов и увидал древнего римлянина, у которого левая половина большого его лица была точно обижена на правую половину: один глаз глядел равнодушно и

насмешливо, а другой презрительно прищурился и в мутном зрачке его не было никакого выраженья.

Крылов не сразу сообразил, чего от него хотят.

— Сделай милость, — сказал Яков Борисович.

Крылову подали скрипку, он пристроил ее на плече и выпятил нижнюю губу. Пьеса, которую он играл — adagio из сонаты Паизиелло, — точно бы вычерчивала эдакую льющуюся поверхность, которая, нежно круглясь и очень прихотливо изгибаясь, по временам то вовсе сходила на нет, то вдруг обрывалась, и там уже звуки выводили новую кривизну, и суть дела составляли именно уклоны, переливы, переходы, дававшие направление и характер всему движению пьесы. У Крылова многие авторские тонкости пропадали, изгибы спрямлялись, а переходы как будто выпирали и вместо того, чтобы выглядеть легким касанием аккордов, становились их столкновением друг с другом, отчего общее движение делалось живее, решительнее, но при том теряло изящество и, конечно же, избалованному итальянской деликатностью уху казалось слишком откровенным.

— Грубишь, брат, грубишь, — сморщился князь и подозвал приехавшего с ним корнета. У того были тихие, яркие и вовсе не мужественные, а совсем девичьи глаза.

— Сыграй теперь ты, Платоша, — сказал князь.

Корнет поклонился, взял у Крылова скрипку и сыграл то же adagio Паизиелло. У него оно шло удивительно легко, но в этой легкости, однако, было что-то нетерпеливое, даже какая-то лихорадка. Впрочем, светлейшему игра его была совершенно по сердцу. Он закрыл глаза и потом долго не хотел их открывать.

— Херувимское пенье, — сказал он наконец, — славно ведешь, брат.

Корнета, сопровождавшего князя, звали Платоном Зубовым. Он с детства был привержен скрипке, а, поступив в гвардию, продолжал упражняться на ней при всяком случае — и у себя дома, и в манеже, и даже стоя в карауле. Вникая в музыку, корнет при этом не упускал из виду того, что делалось вокруг, и точно бы чего-то ожидал. И вот за ним прислали от князя Потемкина — кто-то рассказал князю о необыкновенном скрипаче-конногвардейце, и князь велел его разыскать. Послушав, оставил при себе, поместил в Аничковом дворце, отвел просторные покои, и корнет зажил в них по-прежнему скромно и незаметно, все предаваясь скрипке и по-прежнему как будто чего-то ожидая. И вот однажды на пороге его комнаты появилась императрица, которая мимоездом заглянула к князю Потемкину и услыхала в дальних комнатах нежную скрипку. При виде императрицы корнет вздрогнул, но она сказала: «Играйте, играйте, — я хочу знать, что у вас на душе» и долго стояла и слушала, а потом сказала: «У меня другого такого скрипача нет». И запомнила заалевшие щеки корнета, его девичью улыбку и молодцеватую фигуру. И когда заметила, что молодой граф Дмитриев-Мамонов стал к ней охладевать, ей вспомнился застенчивый музыкант... но то было после.

А покуда Платон Зубов вернулся в свои позолоченные апартаменты и по временам с неудовольствием вспоминал о простецкой

и даже совершенно нелепой игре насупленного канцеляриста. Досаднее всего было то, что в самом этом безобразии Зубов не мог не признать какой-то веселой беспечности, какой-то ужасно решительной небрежности, которая производила впечатление совершенной откровенности. Зубов мечтал достигнуть в игре той же смелости и легкости совсем иным образом — сообщив постоянным упражнением слуху своему такую чуткость, а пальцам такую быстроту и гибкость, при которой музыка уже не требовала никаких усилий, а становилась просто несравненной забавой, великолепной игрой. Желая тут же подтвердить свое убеждение, что только такой способ музицирования и достоин истинного, то есть благородного, артиста, Зубов, стоя перед зеркалом, все снова и снова повторял витиеватые пассажи, раз от разу совершенствуя плавность ферматы и нежность пиццикато, — и так день за днем — пока, наконец, Потемкин не вошел к нему, сказав:

— Что ты, брат, одно талдычишь? начни-ка новое!

Крылов между тем был задет явным предпочтением, которое выказывали мишурной игре корнета не только князь Потемкин, но и Яков Борисович Княжнин. И, вставши поутру, позабыв даже одеться, Крылов в нетерпении хватал скрипку и совсем налегке расхаживал по комнате, держа скрипку на плече и по-своему изгибая и поворачивая adagio Паизиелло. При этом он подходил и к окну, которое смотрело на людное гульбище перед Измайловской церковью. Однажды — в то время, как Крылов управлялся с чрезвычайно серебристым и упругим аккордом, — в дверях выросла плечистая фигура полицейского частного пристава, из-за которого глянула крыловская Марья и, плюнув, скрылась. И тут Крылов обнаружил, что стоит нагишом.

— Помилуйте, сударь, — сказал пристав, оглядывая Крылова, — дамы просят спускать шторы, когда вы играете, а то с этой стороны гулять невозможно.

— Право, сударь, — сказал Крылов, прикрываясь скрипкой словно фиговым листком, — дамы ошибаются, я играю не для них. Впрочем, я велю спускать шторы.

Неприятность из-за скрипки вышла и с Платоном Зубовым.

Как-то, будучи во дворце в карауле, он, обойдя все посты, вернулся в караульную комнату и от нечего делать взялся было за скрипку, сел в уголке и стал тихонько наигрывать. Вдруг в ответ ему отозвался за дверью тоненький собачий вой и потявкивание. Зубов перестал играть — собака замолкла. Зубов заиграл — собака снова стала подпевать. Зубов отворил дверь — перед нею сидела маленькая желтая моська.

— Брысь ты! — сказал Зубов и замахнулся на моську своею скрипкой, но тут в дверях, откуда ни возьмись, появился наследник Павел Петрович, которому едва не досталось скрипкою по носу.

Наследник выхватил у Зубова скрипку и, швырнув ее об пол, сказал:

— Руки коротки, сударь!

На другой же день по жалобе наследника началось следствие (наследник утверждал, что он прогуливался со своей комнатной

собачкой по коридору, когда к нему кинулся пьяный офицер и крикнул ему: «Брысь!»), и Зубов, наверное, был бы исключен из службы, если бы не вмешался в дело граф Салтыков, объяснивший великому князю недоразумение...

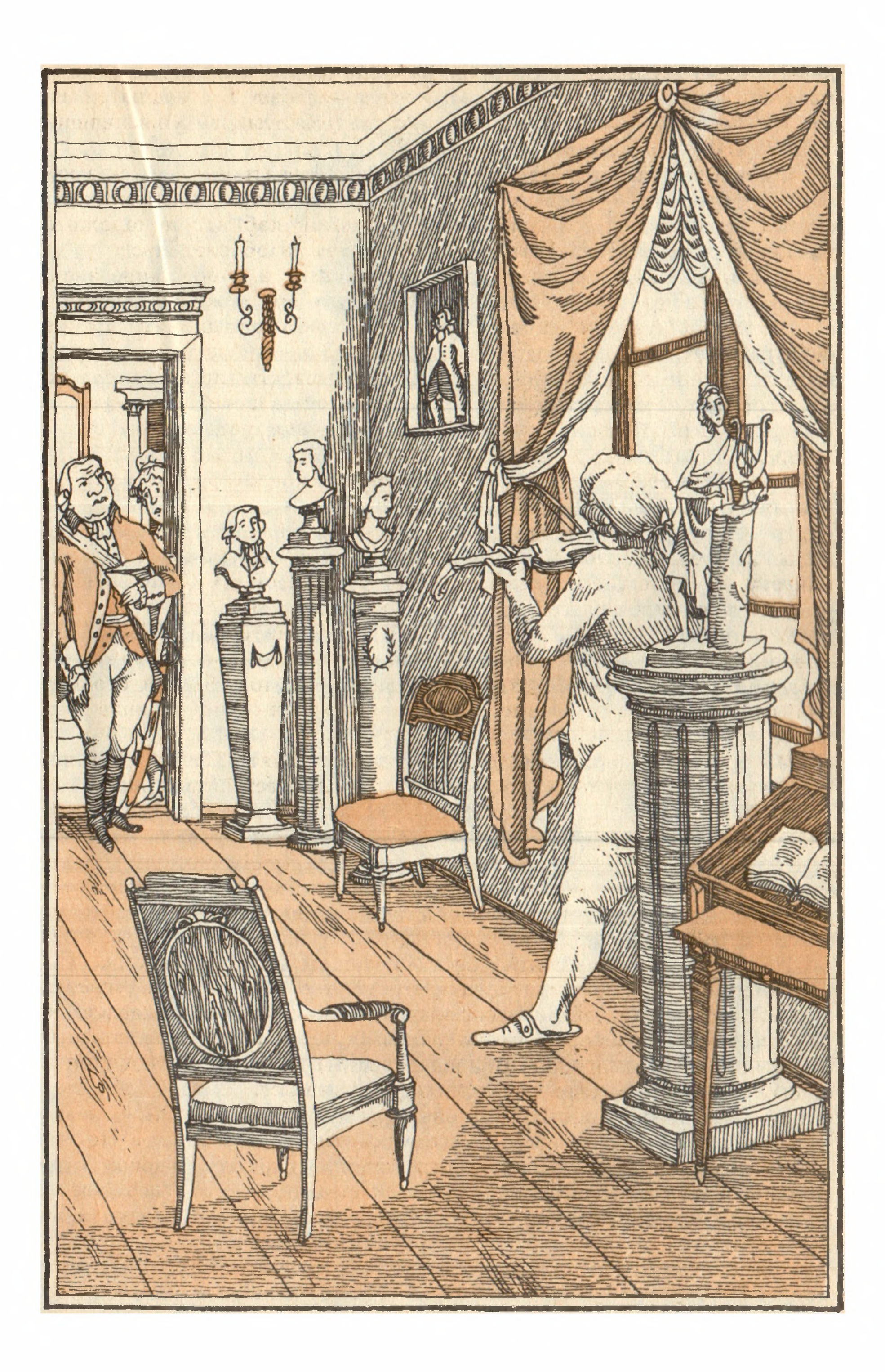
Платон Зубов был введен в покои императрицы статс-дамой Анной Никитичной Нарышкиной, а статс-секретарю Храповицкому велено было в тот же день внести в малый кабинет и положить на диван за подушку десять тысяч — Зубову на обзаведение...

Другие рыскали за счастьем по всему свету, а Зубов точно знал, что фортуна придет к нему сама, услыхав его нежный наигрыш. Ни о чем не печалясь, он верил, что судьба раньше или позже возведет его на высшую чреду в государстве, на какую только может взойти простой смертный. Зубов в задумчивости играл, а судьба вершила свое дело, выставив мальчишку-корнета соперником фельдмаршала князя Потемкина. Конечно, в гвардии нашлась бы сотня корнетов, у кого и фигура была постройнее, и музыкальный слух потоньше, но никто из них не сумел так слепо довериться жребию, как это сделал Зубов.

И на придворном ристалище теперь столкнулись две великие силы — зубовская податливость и упрямство светлейшего. Потемкин был не из тех, кто послушно следует за счастьем. Он намеренно медлил и сопротивлялся, когда оно манило, и не гнался за ним, когда оно бежало прочь. Чем дальше, тем решительнее перечил он предопределению, ничего не предпринимая и даже просто уезжая от армии, если надо было дать генеральный бой, или бросая столицу как раз тогда, когда возможно было упрочить свое влияние при дворе.

И летом 1791 года, вместо того, чтобы озарять Петербург лучами своей новой славы усмирителя Порты, светлейший поскакал назад на Дунай — торговаться с турками об условиях будущего мира. Больной и мрачный явился он в бессарабские степи. Осенью, в Галаце, во время погребения принца Вюртембергского, князь вдруг уселся на опустелые похоронные дроги, и как ни просили его сойти, не отвечал и не слезал, а продолжал бесчинно сидеть на месте покойника.

Из Галаца князь отправился в монастырь Гуж на Днестре. Тут он задержался. В старых стенах загремела удалая музыка. Болезнь усиливалась, но Потемкин гнал врачей, выплескивал их лекарства и, обуреваемый непримиримыми желаньями, требовал то репы, то ананаса, то соленого огурца. Вопреки советам врачей, пустился он в Яссы. В какой-то хате остановились на ночлег. Князю сделалось душно — не долго думая стал он вырывать из окон пузыри, заменявшие стекла. На другое утро, только отправились в путь, Потемкин велел остановиться и высадить себя из кареты. Графиня Браницкая, ехавшая с ним на правах племянницы, его удерживала. «Не серди меня», — сказал он. У дороги разложили пуховики и на них опустили светлейшего. Он лежал под дымным октябрьским небом и думал о поднимавшихся столбами дымах Петербурга, о легких, как столбы дыма, минаретах Константинополя и о золотом кресте на Святой Софии. Новую Греческую империю он строил



двадцать лет и так и не построил. Он стал говорить об этом великом царстве, которое без него некому будет создать. Ему казалось, что он говорил долго, но вслух он произнес лишь: «Зубову не по зубам. А там помешают...» Он вдруг увидел, как из ярко блистающего Софийского собора вышел Христос и стал оглядываться, ища его, Потемкина. И внезапно в Христе узнал Зубова. «Ну, здравствуй, — сказал князь, — где же твоя скрыпица?» Графиня Браницкая положила на грудь Потемкина образок и стала подсказывать: «Господи, в руце твои предаю дух мой!» — «Дура, — проворчал князь. — Это же Зубов». И тут увидел, что перед ним стоит смерть...

Когда в Петербург дошло известие о кончине Потемкина, императрица несколько дней не выходила из внутренних покоев, плакала и молилась. И с этого же самого дня Платон Александрович стал гораздо чаще показываться на людях и делался все более горд и недоступен. Немедля был он пожалован генерал-поручиком и генерал-адъютантом и назначен генерал-губернатором — на место князя Потемкина — губерний Екатеринославской и Таврической, где никогда не бывал. Скрипка его молчала, а вице-канцлер Безбородко в узком кругу уверял, что Зубов приписал себе составленный им польский тракт и что и князь Потемкин так не мешался в политику, то есть во внешние дела, как Зубов. А дела внутренние вскоре уже все шли через руки Платона Александровича.

9 апреля 1792 года был дан секретный указ петербургскому губернатору Коновницыну искать француза Басевиля, который, по сведениям из Берлина, пробирался в Россию, намереваясь убить императрицу.

22 апреля был произведен обыск во всех московских книжных лавках и на дому у известного книгоиздателя Николая Ивановича Новикова, который тогда жил в своей деревне под Москвой. Новикова арестовали. Его, главу русских масонов, императрица давно подозревала в умысле на свою жизнь и в преступных связях с немецкими иллюминатами, с французскими якобинцами и — что еще хуже — с наследником Павлом Петровичем.

2 мая Зубов получил отчет о первом допросе, снятом с Новикова, 10 мая приказано было посадить Новикова в крепость, а на следующий день Зубов распорядился обыскать типографию «Крылов с товарищи». В донесении Зубову от 12 мая петербургский губернатор Коновницын, сообщая, что вредных сочинений в крыловской типографии не нашлось, к тому добавлял: «Отставной провинциальный секретарь Крылов оригинальное свое сочинение под названием «Мои горячки» по первому вопросу с частным приставом лейб-гвардии у капитан-поручика Скобельцына, которому давал для прочтения, отобрав сам мне представил, объясняя, что писал оное назад года с два без всякого умысла, по одной склонности к сочинениям, еще не кончил, никогда нигде не печатал и, прямого к тому намерения не имея, прочитывал некоторым из своих знакомых, именно: Дмитревскому, Плавильщикову, Сандунову, а после давал г-ну Скобельцыну и, наконец, показал мне те главы, где описано изображенное в приложенном о сем письме, почему, переписав оные набело, при сем и самое то сочинение в особом конверте Вашему Превос-

ходительству представляю, равно и взятую с находящегося в службе при Комиссии о строении дорог в государстве подпоручика Клушина подписку... Из-за чего представляю за тою типографиею, тож Крыловым с Клушиным наблюдение и, не упуская из виду поведения, которое доныне никем не охуждается, дальнейшее исследование до Высочайшего благоусмотрения остановил, дабы не последовало и малейшей обиды или притеснения, как о том мне предписать изволили».

Для наблюдения за Крыловым и Клушиным полиция наняла сидельца в крыловской книжной лавке — отставного матроса Матвея Гурьева, наказав ему записывать, кто приходит и что говорит. Сиделец трудился все лето и в сентябре Зубову был представлен следующий отчет:

«Приходили двое господ штаб-офицеров. Говорили о дожде, что не упомнят такого мокрого лета, и ругали Мокия-угодника. А после дверь прикрыли и не было слышно, что говорили.

Приходили Андрей Иванович господин Бухарский, весь вымокши. Скинули мундир, надели халат и сели играть в шашки с господином Крыловым, говорили мало, а больше пели песни.

Приходили Петр Андреевич господин Васильчиков. Говорили непонятное, только все повторяли «глупые людишки» и смеялись. Господин Крылов им все повторяли «ну и что?», а господин Васильчиков ушли, хотя господин Крылов их удерживали.

Приходили господин Краснопольский весь вымокши. Сказали, что боятся схватить надуху*, а господин Крылов поднесли им чарку водки. Выпили, закусивши огурцом.

Приходили Павел Матвеевич господин Скобельцын и Федор Иванович господин Энгель. Долго говорили не по-нашему.

Приходили Павел Матвеевич господин Скобельцын и Василий Евграфович господин Татищев. У меня о ту пору были покупщики, только слышал, как господин Татищев сказали: «Пока солнце взойдет, роса очи выест», а господин Клушин ему отвечали «брось, Вася!».

Приходили Иван Афанасьевич господин Дмитревский. Упрекали господина Крылова, что они в карты дуются, а по делам типографии не занимаются. Смотрели приходную книгу, что в ней никаких записей не сделано, а господин Крылов отвечали на то, что от типографии имеют малый доход, а им теперь надобно не тыщу и не две, а теперь надобно сто тысяч, чтоб жениться. И потому они в надежде на свое счастье. После сели с господином Дмитревским играть в шашки, и господин Дмитревский презабавно рассказывали, как у них однажды в представлении волоса с головы свалились.

Приходили Павел Матвеевич господин Скобельцын, и Василий Евграфович господин Татищев, и Петр Андреевич господин Васильчиков. Говорили все больше не по-нашему. Господин Татищев повторили два раза «сколько это можно!», а господин Клушин на то отвечали ему «брось, Вася!».

---

* То есть насморк.

Приходили Василий Евграфович господин Татищев и Николай Николаевич господин Бахметев. Рассказывали о двух братьях, в Конной гвардии корнетах, которые сами себя застрелили. А господин Бахметев еще говорил о каком-то Сухове либо Сушкове, который себе сам горло перерезал. Тех одобряли, которые сами на себя руки налагают. После сели играть в шашки.

Сегодня говорил господин Клушин господину Крылову, отчего он не хочет журнала поддержать и жаловались, что без него не могут поддержать. На что господин Крылов ему возражал, чтобы он старые его сочинения брал из комода. На что господин Клушин отвечали, что старые сочинения уже кончаются и скоро все выйдут. На что господин Крылов отвечали, что писать не имеют охоты и из дому ушли.

Приходил сегодня покупщик необыкновенный. Спросил книгу и долго листал, но в книгу не глядел, а все по сторонам. На ту пору была гроза».

Ознакомившись с плодами наблюдательности крыловского сидельца, Зубов вспомнил, что у него где-то лежит отобранное у Крылова при обыске сочинение, которое за недосугом так и осталось непрочитанным.

Зубов выдвинул ящик стола и, перебирая бумаги, взял в руки маленький пакет, перевязанный зеленой ленточкой. Зубов хотел было отложить пакет в сторону, но не удержался и развязал его. На пол выпало несколько писем. Подобрав первое попавшееся, Зубов прочитал:

«Друг мой, с каждым днем я привязываюсь к вам все сильнее. Я уже не в силах расстаться с вами; даже недолгая разлука для меня невыносима, мне надобно видеть вас или писать вам, надобно всегда быть с вами. Итак, моя любовь растет вместе с вашей; ибо теперь-то я знаю, как вы любите меня, ведь вы так искренне боитесь не угодить мне, меж тем как прежде лишь притворялись, чтобы достигнуть своей цели. Я отлично вижу, какую власть взяло ваше сердце над разгоряченным воображением; по-моему, в сто раз больше страсти в нынешней вашей сдержанности, чем в первоначальном пыле. Я вижу также, что ваше состояние, хотя и тягостно, но не лишено радостей...»

Зубов читал, и слезы навертывались ему на глаза. То были письма от молоденькой фрейлины, с которой у него завязался роман как раз перед тем, как императрица поместила его у себя во дворце. Возле государыни, которая была старше его почти на сорок лет и годилась ему в бабки, Зубов то и дело невольно воображал обворожительную стройность и свежесть фрейлины и ее нарядный французский слог. Сладость власти и государственного величия утешали Зубова в его потере, но когда в руки ему попадали еще пахнувшие тонкими французскими духами послания, он позабывал обо всем на свете и также и теперь, зачитавшись, позабыл о том, зачем полез в ящик стола...

Иван Андреевич хорошо помнил свое прошедшее время, но захотел снова прочесть прежние свои сочинения в стихах и прозе. Между тем я обратил внимание его на стихи «К счастию»: «Иван Андреевич, за что это вы пеняете на фортуну, когда она так милостива к вам?» — «Ах, мой милый, со мною был случай, о котором теперь смешно говорить, но тогда... я скорбел и не раз плакал, как дитя... Журналу не повезло: полиция и еще одно обстоятельство... да кто не был молод и не делал на своем веку проказ»... Это подлинные слова Ивана Андреевича.

И. П. Быстров
Отрывки из записок моих об Иване Андреевиче Крылове

Конногвардейский корнет Василий Татищев не любил пить, но на пари случалось ему выпить до полуведра шампанского — с тем, чтобы после неукоснительно пройти по одной половице либо без запинки прочитать акафист «Воскресение твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах и нас на земли сподоби чистым сердцем тебя славити».

Татищев не любил драться, но то и дело стрелялся либо рубился на саблях и слыл в полку записным дуэлянтом. А причина была та, что он часто не мог удержаться, чтобы не сказать «мерзавца» тому, кто казался ему мерзок, а уж поединок оказывался просто неприятным следствием его откровенности.

Службу свою Татищев начал в то же время и в том же эскадроне, что и Платон Зубов. Поначалу они даже сошлись дружески: Татищев сочинял озорные вирши насчет полкового начальства, а Зубов подбирал к ним музыку, и куплетцы распевали в офицерских казармах. Но потом Татищев уехал на юг в армию и карабкался на Очаковский вал и, будучи ранен, достиг чина поручика, тогда как Зубов, оставаясь в Петербурге и даже не шевельнув пальцем, а только пиликая на скрипочке, сумел забраться куда выше: перескочил сразу три звания и в одночасье из корнетов сделался полковником.

Если бы по возвращении в столицу Татищев повстречал где-нибудь Зубова, то наверняка не удержался бы, чтобы не сказать ему:

— А правда ли, Платоша, что ты нарочно для государыни выучился на дудке дудеть?

На что Зубов, разумеется, отвечал бы ему в том же духе, мол:

— Правда. Но уж ежели я дуну, так ты отсюдова далеко улетишь!

И тогда Татищев, надо думать, и в самом деле долго не задержался бы в Петербурге. Но, к счастью, они с Зубовым не встречались, поскольку Татищев по-прежнему служил в полку, а Зубов обитал во дворце, и его не было слышно и видно до того самого дня, когда князь Потемкин окончил свою роль, лежа на пуховике посреди молдавских степей. Тогда Зубов вдруг сел на царской перине и начал командовать.

Столь же незаслуженно получив власть, Потемкин в свое время постарался доказать, что она не зря была ему дана: он населил

Новороссию и покорил Тавриду. Зубов, в отличие от него, завоевав дряхлеющую нежность императрицы, ограничился тем, что захватил ее постель. Овладев всем, что царственно высилось на батистовой простыне в цветочек и подушке с рюшечками, он стал превыше фельдмаршалов и генералов, подчинивших своему оружию широкие степи и дикие горы.

Зубов управлял из постели. Хотя министров и сановников он принимал, сидя на креслах — в халате или даже в мундире, — от этого суть его государственных подвигов не менялась: они совершались на таком поприще, которое не удавалось обозначить в пристойных выражениях. И потому официально считалось, что своим внезапным взлетом Зубов был обязан редким качествам головы и сердца. Эти слова, то есть «голова» и «сердце», сделались прозвищем для тех частей зубовской натуры, которые нельзя было назвать их собственным именем, но которые, как всем было ясно, служили настоящим источником его беспримерного могущества.

Оттого, что головой теперь называли совсем иную часть тела, оттого, что мальчишку-корнета именовали генерал-фельдцейхмейстером и генерал-адъютантом, и оттого, что под справедливостью и общей пользой очень явно подразумевали известного рода бесстыдные желания и поступки, от этого кое-кто — особенно из людей молодых и наивных, особенно из недавних гвардейских сотоварищей Зубова — сочли себя задетыми и обиженными и стали между собой говорить, что государыне служить готовы, но Зубову служить не хотят. А некоторые даже с глазу на глаз начали толковать, что следовало бы переменить порядки, что пора бы отдать престол наследнику, который уж двадцать лет как имеет на то законное право, и что, во всяком случае, надлежит вернуть первоначальный и действительный смысл бессовестно подмененным словам.

Доведись теперь Васе Татищеву, стоя в карауле во дворце, нечаянно увидеть Зубова, он, конечно, спросил бы его:

— А что, Платоша, отчего по сию пору не издано подробное описание твоих бесстрашных деяний — в десяти томах, на александрийской бумаге и с картинками, изображающими тебя посреди геройских трудов?

Потому что Татищев был из числа тех гвардейцев, которые оскорбились чудесным вознесением Зубова и готовы были решительно действовать в пользу наследника Павла Петровича (хотя бы только для того, чтобы скинуть Зубова) и на все происходящее поглядывали с язвительным презреньем. Непрестанное насмешничество сделалось между ними уже не забавою, а как бы необходимым, единственно подобающим способом поведения.

В подобных необычайных обстоятельствах порой встречаются и сближаются люди, которые в другое время вряд ли даже и сошлись бы вместе. Глядя здраво, кем был неповоротливый и затрапезно одетый отставной провинциальный секретарь для родовитого дворянина и лихого, лощеного гвардейца Татищева? — мужиком; может быть и прекрасных качеств, но все-таки мужиком, которого неприлично пустить на порог. Татищев, хотя и пописывал веселые стишки, однако в книги заглядывал редко, и ему было не до сочинений отставного

провинциального секретаря. Но тут дело было не в поэтических мечтаниях и переживаниях, а в поразительном умении представить обыкновенную жизнь странной нелепостью, забавным кошмаром, горячкой и бредом — именно горячкой, где химеры притворяются заурядными вещами и где на месте физиономии первого министра торчит зубовская задница. Провинциальный секретарь никого к себе не зазывал, но его сочинения, его «горячки» расходились по городу и магнетически притягивали к нему тех, кому особенно претило наглое благонамеренное вранье.

Через преображенца Скобельцына Татищев узнал о существовании Крылова, прочитал несколько страниц его повестей, захотел с ним познакомиться и вскоре стал бывать в крыловской типографии чуть не всякий день. Не то чтобы Крылов мог помочь гвардейцам в их заговоре против Зубова и императрицы, но если на одном полюсе петербургской жизни стоял фаворит Платон Зубов, то противоположностью ему во всех отношениях был именно журналист Иван Крылов, который злостно расставлял слова таким образом, что они начинали бешено сопротивляться всяческому самозванству...

Найдя имя Татищева в списке офицеров, посещавших типографию «Крылов с товарищи», Зубов вспомнил старого приятеля и на другой же день позвал Татищева к себе.

— А что, Вася, — спросил он доверительно, — говорят, будто в гвардии недовольны моим возвышением?

— Нет, Платоша, — отвечал Татищев, — судя по тому, как все смеются твоим успехам, должно думать, что все за тебя радуются.

— А я тебя, Вася, давно люблю, — сказал Зубов с некоторой даже горячностью, — и возьму тебя своим адъютантом!

— Нет, Платоша, — возразил Татищев, — мне никак нельзя быть твоим адъютантом, потому как тогда мне пришлось бы звать тебя вашим высокопревосходительством, а я по привычке все стану сбиваться на Платошу и выйдет конфуз.

— Ну, смотри, — сказал Зубов холодно. И они расстались...

Гвардия была оскорблена, сановники унижены, наследник вовсе оплеван. Уж теперь-то конспирация должна была бы вырасти сама собой, подняться под влиянием общего негодования, как травка из-под земли. И вот в мае императрица с Зубовым послали полицейского пристава в крыловскую типографию, в июне устроили суд над Новиковым, а в августе совершили тайный переворот, объявив вице-канцлеру и генерал-прокурору, что великий князь Павел Петрович устраняется от престолонаследия, а корона будет передана его сыну Александру. И о том же императрица сообщила своему постоянному парижскому корреспонденту Гримму — вестовщику европейских монархов.

Для просвещенного российского дворянства настал решительный час. Надлежало действовать — теперь или никогда.

Действий, однако, не последовало. И вот тогда Крылов забросил все журнальные заботы и предался картам, Василий Татищев вышел в отставку и стал собираться домой в Москву.

7

Крылов сам пробил себе дорогу в жизни... Во время юности Крылова бросить службу и жить литературными трудами, весьма скудно вознаграждавшимися, завести типографию и быть вместе и автором, и почти наборщиком своих сочинений — это означало не прихоть, а признак высшего призвания.

В. Г. Белинский И. А. Крылов

Иван Андреевич любил в то время играть в шашки. Дмитревский, Клушин, Краснопольский (Николай Степанович) не прочь были от сего занятия, и в этом подвиге проводили они дни и ночи, а по типографии хлопотал один П. А. Плавильщиков (слова Ивана Андреевича).

И. П. Быстров
Биографические и библиографические заметки

Пришел такой день, когда поручик Петр Васильчиков почувствовал, что далее не может участвовать в собственной жизни, поскольку она сделалась не только неприятна, но и постыдна. Он решил, что не должно сносить позора и, как во всяком деле чести, спор должна была окончить дуэль. Васильчиков выбрал стреляться на таком расстоянии, чтобы смертельный исход для обоих противников был предрешен заранее. Пете жаль было старика-отца и жаль было сестру, но жизнь стала слишком ненавистна, чтобы возможно было с ней примириться...

В свои восемнадцать лет Петя прочитал всех лучших древних и новых писателей и с помощью умнейших людей вселенной составил себе ясное представление о том, как ничтожны достоинства жизни и как мало заслуживает она привязанности или хотя бы уважения. От окружающих людей, державшихся за жизнь с тупой и бессмысленной серьезностью, равно смешной и несносной, Петя спасался, зарываясь носом в книги, — до тех пор, пока через своих дальних родственников и сослуживцев в Измайловском полку Алексея и Николая Бахметевых не сошелся с компанией философов, которые были столь же невысокого мнения о прелестях существования, как и он сам. Это были несколько молодых образованных офицеров и двое литераторов — Крылов и Клушин, — составивших дружеский кружок, нечто вроде братского общества, усвоившего себе особые привычки и даже особенный разговор, понятный лишь посвященным. В их беседах была в ходу система домашних намеков и обиняков, а, кроме того, о чем бы ни шла речь, в нее то и дело некстати вставляли какой-нибудь известный стих из Ломоносова либо Державина (так, к примеру, на вопрос Бахметева-старшего: «где был?», — Бахметев-младший отвечал: «в трактире, брат; открылась бездна звезд полна», или на вопрос: «когда в караул?» — «нынче; где стол был яств, там гроб стоит»), а помимо того пересыпали беседу просто совершенно бессмысленными присловьями, из которых любимейшими стали: «а ты, барон, поди вон!» и «разлюли-люли-малина». Суть, однако, была даже не в самих словах, а в том, как все говорилось, — в интонации, которая меняла или вовсе уничтожала смысл сказанного. Этим выворачиванием обыкновенной речи

наизнанку, этим словесным маскарадом приятели забавлялись как любимым искусством, и некоторые — например, Бахметев-младший, или преображенский капитан-поручик Павел Скобельцын — достигли в нем немалых успехов. Однако другие — как Вася Татищев или Крылов — больше забавлялись иной смелой игрой: не переиначивая общеупотребительный разговор, они тоже давали ему необыкновенный вид, говоря по временам такое, о чем все вокруг умалчивали.

Так, встретив однажды полкового адъютанта Мневского, про которого определенно знали, что он наушничает начальству, Татищев вдруг очень добродушно вздохнул и сказал:

— Экая у тебя, Мневский, собачья дожность — вынюхивать. Поглядите, господа, у него и нос будто вытянулся. Расстегни-ка мундир, Мневский, на тебе, должно быть уже и шерсть пробивается.

И, конечно, дошло до того, что адъютант кинулся на Татищева с кулаками, их розняли, а на другой день был поединок.

Татищев выбрал драться на саблях. В секунданты позвал он Крылова и Васильчикова. Сошлись поутру возле Охтинского перевоза, за осиновым леском, куда обыкновенно отправлялись в таких случаях конногвардейские офицеры.

С реки тянуло рыбьей влагой, из осинника — лягушачьим болотом. Выпрыгнув из коляски, Татищев дружески поклонился противнику и его секундантам и сразу занялся задним копытом своей пристяжной, которая охромела. Осмотрев копыто, Татищев обругал кучера и велел сегодня же перековать лошадь. Секунданты тем временем выбрали и очертили ровную площадку. Приготовили два палаша, у которых были совершенно одинаковой длины клинки, совершенно одинаковой ширины плюск и сходный укол. Затем подали знак начинать.

Татищев, наступая, чертил воздух быстрыми и мелкими штрихами крест-накрест, а то вдруг рассекал его с плеча сильной, лихой кавалерийской «верстой». Мневский, пятясь, искусно парировал быстрые и мелкие взмахи и ловко увертывался от сокрушительных ударов. И при том сам пытался рубануть то справа, то слева, но вдруг споткнулся на ровном месте и, падая на бок и роняя саблю, ухитрился оцарапать Татищеву плечо. По условию, коль скоро один из противников оказался на земле, поединок считался оконченным.

Юный Петр Васильчиков, глядя на все происходящее, ощущал себя совершенно на месте здесь, посреди чахлой болотины. Из-за того, что его пригласили сюда, он теперь значительно возвысился в собственных глазах: он был удостоен великой откровенности — он стоял и смотрел на то, как устроена жизнь. Было смешно и грустно, что она устроена именно так. Но было приятно сознавать, что ясно видишь, какова она на самом деле. Два вчерашних приятеля норовили изувечить один другого. Их друзья глядели на это с таким видом, точно это так и надо. А в сторонке нога за ногу прохаживался Крылов, который будто наперед знал, что все окончится благополучно. И на обратном пути в город, хотя перебинтованная тряпицей рука, видать, порядочно саднила, Татищев пытался без помощи Васильчикова развязать на шее платок, а Крылов по этому поводу говорил, что немцы теперь выучились делать такие механи-

ческие конечности, которые шевелятся проворнее живых, и что теперь многим можно было бы отрезать руки не только без вреда, но и с пользою. Непоколебимая, неотвратимая крыловская шутливость — потому что в самом-то деле не мог же он наперед знать, что дуэль окончится так невинно, — отзывалась и в душе Васильчикова невольной самоуверенностью и ужасной бесшабашностью. Он видел, что и Татищев признавал в крыловской насмешливости более удали, чем в самом залихватском бретерстве, и потому, конечно же, и позвал его в секунданты — именно перед Крыловым хотелось ему показать свою лихость и равнодушие к опасности...

Вмешивая во все по виду совсем безобидную, но ничем не стесняемую шутливость, возможно было обратить в смех любое понятие — равно касавшееся трактирных приключений или государственных устоев. Это в обиходе именовалось вольтерьянством. Не приходилось ничем стесняться. Все было нараспашку, все было свободно. Оказывалось, что правда не лучше вранья — как вымысел не хуже истины. «Что есть поэт? Искусный лжец — ему и слава, и венец!» — повторял Петя Васильчиков прочитанный где-то стих и чувствовал в груди эдакую свежесть. Он стал врать для забавы и вскоре пристрастился к вранью, потому что говорить, как есть, было много скучнее, чем сочинять. «Куда это пропал твой Татищев?» — спросила его сестрица дней через пять после поединка. «Вчера похоронили, — отвечал Петя, — где стол был яств, там гроб стоит. Р-раз — и пополам! И веришь ли, уже разрубленный, подзывает своего Тимофея: «Отчего ты, — говорит, — мерзавец, не перековал Чалого, он совсем охромел». Кулаком погрозил — и помер».

Тут было вранье не из выгоды, а из упрямства, из желания настоять на сократовской сомнительности любой истины. Тут была возможность по-своему вкусить полную, безоглядную свободу, когда все уже трын-трава, все не важно и позволительно, когда начинаются упоительные затеи совершенно свободного ума, сквозь привычную суету прорастает античное величие, сегодняшнее становится мифическим и безусый Петя Васильчиков оказывается небожителем из подпоручиков.

Тут была веселая и хмельная забава. Но, впрочем, забава и весьма опасная, потому что, раз ощутив ее прелесть, не всякий мог удержаться в рамках или вовремя отказаться, благоразумно выйти из игры, и тогда отношения с жизнью осложнялись. Тогда сугубая насмешливость оборачивалась презрительностью, убеждением, что можно позволять жизни подличать как угодно, но нельзя позволять ей — как и какому-нибудь полковому адъютанту Мневскому — разговаривать с собою на равных. И если она назойливо лезла со своим панибратством, то уже не приходилось терпеть, а следовало ее осадить и поставить на место.

А жизнь точно так, как самолюбивый шляхтич, изо всех сил старалась выставить себя добрым малым, фанфаронила и пускала пыль в глаза, чтобы доказать свои благородные намерения. Даже устроила в Париже революцию, так что можно было и впрямь подумать, что от небывалого распространения Просвещения жизнь, наконец, станет порядочным человеком. Она тут многих провела со

своим враньем насчет свободы-равенства-братства. Петя тоже более года чаял обновления человечества. Но, разумеется, все оказалось пустым бахвальством: французы перегрызлись, резак для капусты, названный гильотиной, сделался у них самым убедительным аргументом в споре со всякой философской головою, и вдобавок началась европейская война, а в России возвысился и чуть ли не воцарился корнет Зубов. И когда Петя увидал, что под влиянием всех этих происшествий — и прежде всего французских дел — его приятель Крылов забросил свои занятия словесностью и предался картам и безделью, а другой приятель, Татищев, вышел в отставку, намереваясь уехать в Москву, то, разумеется, Петя не мог отстать от них и позволить адъютантам мневским воображать, будто он заодно с ними, будто он их поля ягода. Выйти из службы нечего было и думать — Васильчиков-отец никогда бы этого не допустил, — да и поступок этот не был бы сколько-нибудь решителен, потому что перед Петей не расстилалась столь очевидная и блистательная военная карьера, как, скажем, перед Татищевым. И оттого в Петиной голове постепенно угнездилась мысль разом вызвать всех на свете мневских, драться с ними со всеми и драться именно на смерть, чтобы всех их уничтожить, а поскольку этого нельзя было сделать, не убив себя, то, значит, ничего не оставалось, как убить. Дело в том, что до некоторой степени он сам был всеми этими мневскими, раз подчинялся их правилам и законам, раз уступал им и подыгрывал. Вот это-то и надлежало пресечь, вот с этим-то внутренним Мневским и следовало так или иначе разделаться.

Со своей стороны внутренний Мневский попробовал было урезонить Петю, говоря, что умирать, мол, им придется вместе, а когда из этого ничего не вышло, стал трусливо скулить и умолять об отсрочке, и Петя, в конце концов, великодушно согласился обождать до Пасхи, оттого что сам очень любил и куличи, и крашеные яйца, и вербы, и сахарно-синий мартовской лед, и благовест, недвижно качавшийся на ветру подобно столбам печного дыма, уходившим в облака.

25 марта, на другой день после Пасхи, вернувшись из караула, Петя заперся в своей комнате и стал готовиться к поединку, в котором он был и обоими противниками, и всеми секундантами. Он немного отодвинул в сторону стол, расчищая место для дуэлянтов. На стол положил заранее составленные письма. Потом зарядил пистолет и взглянул на часы. Божьему свету оставалось жить еще десять минут. Теперь Пете довольно было шевельнуть пальцем — то есть нажать на курок, — и все творение с землей и небесами, с петербургскими болотами и швейцарскими горами волей-неволей летело в небытие снова и навсегда. Ради такой победы смешно было бы жалеть себя.

Узкая песья мордочка пистолета улыбалась ему, высунув язычок курка. Петя узнал собачью улыбку полкового адъютанта...

В дверь постучали. Его не хотели отпускать. Но ему было пора. Петя взял карандаш и написал: «Пора отправляться в путь». В дверь опять постучали. Часы показывали ровно девять.

— Ну, кто кого, господа?

Петя медленно подвел пистолет ко лбу и выстрелил.

Из караула Петя вернулся около шести часов вечера и заперся у себя. К ужину он не вышел и около девяти сестра постучалась к нему, чтобы спросить, отчего он не ужинал, но Петя не отвечал. Сестра постучала снова, и тут грохнул выстрел.

Когда вбежали в Петину комнату, то увидали Петю на полу с пробитой головою, а на столе листок, на котором было крупно и ровно выведено: «Quand on n'est rien, et qu'on est sans espoir, la vie est un oppobre, et la mort un devoir»*, и ниже по-русски слегка дрожащей рукой: «Скорее, пора отправляться в путь».

Тут же лежали письма к отцу и к сестре и несколько записок к приятелям. На одной из них стояло: «Его благородию Ивану Андреевичу Крылову». Под этим адресом было всего пять строк: «Любезный друг Иван Андреевич! Не осуждай меня. Из презрения к этой жизни ты убил в себе гения. Бог не одарил меня ничем, кроме живых чувств и разума, но согласись, что здешняя жизнь и этого недостойна. Иногда вспоминай душевно тебя любившего Петра Васильчикова».

Когда во Франции началась революция и стало ясно, куда клонятся события, Яков Борисович Княжнин сочинил обширную записку под названием «Горе моему отечеству» и отослал ее прямо императрице. В записке говорилось, что Французская революция дала новое направление веку, что ее принципы постепенно везде возьмут верх, потому что они суть не что иное, как проповедь войны между владельцами собственности и теми, кто ничего не имеет, а так как первых гораздо меньше, то они неизбежно погибнут. В заключение Яков Борисович просил императрицу сообразоваться с ходом вещей и, пока еще не все потеряно, сделать что только возможно для уравнения сословий в России.

Императрица нашла записку неуместной и дерзкой.

Она велела обер-секретарю при Тайной экспедиции Степану Ивановичу Шешковскому призвать Княжнина, спросить его, зачем так нагло рассуждает, и внушить ему, чтобы впредь не совался, куда его не просят.

Степан Иванович, со своей стороны, полагал, что всех, кого государыня присылает к нему на допрос, лучше бы для начала просто сечь розгой. Иных он грозился посечь, иных — если можно было — и в самом деле сек. Неизвестно, что именно говорил он Княжнину, но только Яков Борисович, выйдя от Шешковского, отчего-то долго бродил по улицам. Стоял январь. Лихая метель леденила город, но Яков Борисович шагал, распахнувши грудь. Он пробивался сквозь снежные потоки, которые гудели, выли и обдавали его сырым холодом, пробиравшим до костей. Придя домой, Яков Борисович отогрел у камина лицо, руки и ноги, но холод засел у него в груди.

На другой день утром начался жар. К вечеру жар увеличился, и ломота пронизала тело. Голова болела так сильно, что нельзя было открыть глаза. Однако же к следующему утру боль хотя и не умень-

---

* Когда ты — ничто и надежда потеряна, жизнь — позор, а смерть — долг *(фр.)*.

шилась, но как-то отделилась от тела и как будто повисла над ним чуть в стороне, слева. И при этом в ощущениях Якова Борисовича появилась нестерпимая ясность. Он теперь чувствовал соседство всякого предмета, находившегося в комнате, точно бы они подавали ему какие-то знаки. При этом сама комната как-то сошлась, наклонилась над ним. И Яков Борисович обнаружил, что он снова под арестом, как на гауптвахте, и что комната уже не выпустит его, если бы и захотелось выйти.

Боль, нависшая над ним, постепенно наливалась, прибывала, однако ему становилось легче. Оказалось, что это его тело, становясь болью, теряло вес. Яков Борисович попробовал и увидел, что может летать.

Он осторожно отодвинул одеяло и полетел по комнате, касаясь рукою шелковых гардин на окнах. В это время вошла горничная, чтобы подать ему питье, — вскрикнула и выбежала. Яков Борисович продолжал лететь вдоль окон. Они были распахнуты, и воздух за ними был сух и холоден. Яков Борисович встал на подоконник, мгновенье помедлил, припоминая все, что знал в этом доме, взмахнул рукой и полетел вперед и вверх. В нем нарастали торжество и радость, как бы радость победы — и вместе боль. Чем выше он поднимался, тем напряженнее рвалось сердце. На него дохнуло ледяной духотою, точно он плыл не в воздухе, а под водой, он чувствовал, что губы у него вспухли, вены вздулись, кровь так прилила к голове, что собственный череп стал ему тесен. И тут его победа и его боль слились, соединились, сделались одно целое и успокоились, замерли, застыли в нем навсегда.

8

За несколько лет до сего, при случае издания в Петербурге журнала, прославились в нашем ученом свете два молодые россиянина: Крылов и Клушин. Как при конце сего журнала упомянуто было, что они, по воле императрицы, отпущены путешествовать в чужие края, то все и почитали их теперь находящимися в путешествии и ожидали от них таких же любопытных описаний, как от Карамзина; но в том вся публика обманулась. Они остались и не поехали по причине, что промотали денежки взятые.

А. Т. Болотов
Памятник претекших времян, или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и о носившихся в народе слухах

В ночь на 18 февраля 1794 года Льву Андреевичу Крылову приснилось, будто он идет по мосту через Неву, а на другом берегу стоит братец Иван Андреевич и манит его. Увидав братца, Лев Андреевич побежал было к нему со всех ног, но тут мост подломился, и он полетел вниз со страшной высоты и, падая, пробудился.

В ту же ночь Василию Татищеву привиделось, будто он еще служит в полку, но полком будто бы назначена командовать его приятельница Лизавета Ивановна Лубяновская, жена отставного бригадира, и он говорит ей:

— Нет, Лизанька, нам теперь нельзя крутить амуры. Это было бы противно военному уставу и долгу чести.

На что она ему отвечает со слезами:

— Васенька, мне не нужен полк, мне ты нужен!

А тем временем, то есть также в эту ночь, Александр Иванович Клушин видел себя путешествующим по Германии. Германия отчего-то была маленькая, вроде Мещанской улицы в Петербурге, и он слышал, как встречные немцы у него за спиной толковали: «Это Клушин, известный российский автор». А когда он явился в Веймар к знаменитому Гете, тот обнял его и сказал:

— Александр Иванович, друг! какими судьбами?

И Клушин стал рассказывать ему об успехе своей повести «Вертеровы чувствования», про неудачу с журналом и про то, как через статс-секретаря императрицы Трощинского удалось ему получить вперед жалование и отпуск на пять лет для продолжения образования в Геттингенском университете. И тогда Гете повел его куда-то длинными коридорами, а потом вдруг юркнул в закоулок и пропал, и Клушин, прежде чем проснулся, долго еще пытался сам отыскать выход из Веймара в Геттинген.

Катерина Алексеевна Константинова той ночью вовсе не видала снов и даже спала мало. Она в последнее время вообще стала худо спать, особенно после того, как сестра Софи узнала об ее секретных встречах с Крыловым, на коленях умоляла ее не губить себя и добилась от нее обещания больше не видеться с тайным другом. Вероятно, Катерина Алексеевна не склонилась бы на слезы и мольбы, если бы ночные свидания для нее самой не сделались отчасти мучительны. Потому что чем дальше, тем определеннее она догадывалась, что безусловное предпочтение, которое она оказала забавному растрепе и неряхе перед всеми окружающими ее благовоспитанными и достойными молодыми людьми, было попросту самонадеянной и безрассудной уверенностью, что она сумеет причесать эту необыкновенную и вместе с тем ужасно лохматую голову, сумеет пригладить или распушить ее на свой манер, то есть, другими словами, сделать Крылова совсем не тем, чем он был прежде, по своему желанию переменить его образ жизни и поведение и, в конце концов, пересоздав его совсем наново, выйти замуж за это свое собственное творение. Теперь, по прошествии полутора лет, Катерина Алексеевна убедилась, что хотя Крылов и вправду ради нее сделает что угодно — к примеру, может забросить свои излюбленные словесные упражнения, — но никогда не переменит себя и, главное, никогда не захочет на ней жениться.

Лежа в ту ночь без сна, Катерина Алексеевна думала о предстоящей свадьбе сестры Софи, назначенной через три дня. Софи выходила за молодого, красивого и очень богатого полковника, командовавшего драгунами в Нижнем Новгороде. Сразу после свадьбы Софи с мужем должны были отправиться к месту его службы, в Нижний, и Софи уговорила сестру ехать вместе с ними...

Между тем Крылов в ночь на 18 февраля спал очень крепко, и ему представлялось, что он сидит в кондитерской лавке, пьет шоколад и все думает, что пора поглядеть на часы, потому что к семи надо ехать в церковь венчаться с Катериной Алексеевной, но ему никак не оторвать взгляда от стола, на котором покойный Петя

Васильчиков (во сне живехонький) мечет ему банк. Крылов ставит по тысяче рублей на карту и все выигрывает, выигрывает и не может остановиться.

— Ну, последнюю, — говорит он, — ну, теперь уж самую последнюю...

А Петя беззаботно улыбается и открывает карту за картой, когда вдруг позади них слышится:

— Просим, господа!

— Что такое? — не понимает Крылов.

— Заведение закрывается, — отвечает хозяин лавки.

— Который час?

— Осьмой.

Крылов, сорвавшись с места, кидается к дверям, но дюжий лавочник удерживает его за рукав:

— У нас, сударь, даром не пьют.

Крылов, выдернув рукав, кидает на стол монету, выбегает из лавки и машет извозчику. Бросившись в пролетку, кричит:

— К Евдокии Великомученице! Рубль на чай! Гони!

И они летят. Извозчик нахлестывает лошадей, сворачивая на Исаакиевский мост едва не цепляет встречный экипаж, прохожие шарахаются от них. Но, когда подкатывают к церкви, то видят, что у ограды никого нет кроме старой горбатой нищенки.

— Что, барин, — открывает она беззубый, черный рот, — венчаться приехал?

— Где невеста? — спрашивает Крылов.

Нищенка смеется черным ртом.

— На другом просватана.

Сердце в груди Крылова начинает за что-то задевать, и это оказывается больно.

— На ком?

— На замке, барин, на замке.

Крылов кидается к церкви и видит, что двери ее на замке. И замок огромный, амбарный, ржавый. Но Крылов прислушивается и в запертой церкви ему чудятся какие-то голоса. Он стучит в дверь — голоса затихают. Крылов стучит снова, пробует содрать замок, но дужка намертво вросла в железное пузо. А в закрытой церкви поют. Крылов понимает, что непростительно, безнадежно, навсегда опоздал. Слезы навертываются ему на глаза, он плачет, припав головой к холодному замку. И от слез просыпается...

А вечером от Катерины Алексеевны явился все тот же казачок. Быстро сунув Крылову записку — словно боялся, что его спросят или прибьют, — повернулся и убежал.

На четвертушке бумаги неровным, почти детским почерком было выведено: «Милый друг! Через три дня Софи с мужем едут в Нижний. Я решилась отправиться с ними. Не знаю, что вы об этом подумаете, но оставаться здесь и не видеть вас или видеть только мельком, мне еще тяжелей. Прощайте». И внизу буква «К».

В апреле 1794 года, выдавая подписчикам только-только отпечатанный декабрьский номер журнала за прошедший год, Клушин по-

местил в нем объявление, что издание прекращается за отлучкою издателей. В мае Клушин собрался в Ревель, Крылов — в Москву.

Лежа в своей комнате на диване, Крылов воображал будущую поездку, и она рисовалась ему так ясно, точно бы он был уже в пути. Он лежал, но в то же время он уже ехал.

Дороги подсохли, и почтовые лошади бежали весело.

Встречавшиеся на пути ельники и осинники, черные деревушки и барские усадьбы, мужики и бабы, домашняя скотина и птица, то есть все обыкновенные русские виды с их обыкновенными принадлежностями, теперь стали новы и достопримечательны, как какие-нибудь итальянские руины или французские сады, потому что он теперь всюду был гость, не вояжер, но странник, так как сделался бездомен, и никакая изба, трактир, усадьба уже не были ему чужими.

Одну ночь ночевали в Новгороде, другую — в Твери. Здесь, в Твери, Крылов остался на день.

Первым делом отправился к дому бабушки Матрены Ивановны, где теперь жили чужие люди. Дом был обшит новым тесом, и крыша и ворота были новые. Из окна выглянула девчонка и уставилась на него. Крылов, вспомнив обыкновение представляться карамзинского Путешественника, сказал:

— Я русский дворянин, люблю достопамятные места и пришел взглянуть на стены, в коих обитал некогда Иван Крылов.

Девчонка мотнула головой и скрылась. Крылову, однако, показалось, что на него глядят из других окон, что за ним подглядывают сквозь щели забора и смотрят из-под ворот. Ему казалось, что на него глазеет собственное его детство, давняя жизнь этой улицы, этих глухих углов — нищая, вязкая, жестокая — воспоминания о былой беззаботности и унижениях...

А в губернском магистрате, в комнате Второго департамента, не только шкафы и столы все стояли на прежних местах, но даже и зерцало в углу было закапано чернилами точно так же, как двенадцать лет назад.

У окна сидел за делами Ефрем Вишняков, с которым Крылов почти в одно время начинал службу. Тогда Ефрем был худ, голенаст, веснущат и походил на молодого петуха, а теперь раздобрел, приосанился и глядел скорее гусаком.

— А что, сударь мой, — спросил Крылов, — не здесь ли служит Иван Андреев?

— Андреев?

— Ну да, в здешнем магистрате покойного председателя Крылова сын.

Вишняков насупился, пожевал губами и вспомнил.

— Нет, сударь. Про этого лет десять не знаем. Был в Петербурге, там и сгинул. Слышно, что зимой под забором замерз. Спился с кругу.

— Жаль, однако, — сказал Крылов. — В детстве подавал надежды.

— В детстве все подают, — уклончиво отвечал Вишняков. — А вы, сударь, кто будете?

— Дядюшки его, Якова Юдича сын.

— То-то видать, что похожи.

— В детстве на одно лицо были, — сказал Крылов. Постоял и вышел...

У ворот длинных каменных палат, старинного особняка Петра Петровича Львова, с детьми которого Крылов обучался наукам и танцам, стоял все такой же старый, как и прежде, лакей Акимыч.

— Что, Акимыч, дома ли барин?

— В Москве.

— А барыня?

— Дома.

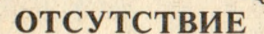
Госпожа Львова, в образе которой Крылову некогда рисовались все богини и царицы Эллады — потому что ни в Яицком городке, ни в Оренбурге, ни в Твери он не видал женщины грациознее, — оказалась смешной нарумяненной старушкой.

На вопрос о судьбе сына Андрея Прохоровича Крылова она отвечала:

— Да, Ванюша у нас был принят по бедности, а когда Федю нашего отпустили в Петербург, и его также. Он там едва не произошел в люди, даже сделался известен через свои сочинения, издавал журнал, но сошелся с мартинистами, писал дерзостно, так что велено его посадить в крепость. Никогда бы не подумала. Был всегда тих и кроток.

Крылову вспомнилось, как в этой самой гостиной он прислуживал за лакея — если являлись гости, а из слуг никого под рукой не было, Петр Петрович говорил ему: «Ванюша, подай поднос с чаем». И он подавал. До тех пор, пока не вывернул нечаянно чашку кипятку на ногу вице-губернатору.

Подъезжая к Москве, уже неподалеку от заставы, Крылов увидал молодого человека в модном фраке, но без шляпы. Расположившись прямо на траве под деревом, он читал. Издали непонятно было, что за сочинение держал он в руках, — быть может, Сенеку либо Руссо, быть может, Карамзина, но, может быть, его — Крылова.



ОТСУТСТВИЕ

Удары молнии опасны,
В дубравах страшен мрак ночной,
Ужасен зверя хищна вой —
Но люди боле мне ужасны.

И. А. Крылов Ода Уединение 1795

1

С 1795 по 1801 год Крылов как бы исчезает от нас. Ни на одном из его сочинений не осталось заметки, по которой бы можно было отнести его к этому шестилетию. Сам он не был тогда в службе. Литератор уже с известным именем, молодой человек, успевший образовать в себе несколько талантов, за которые так любят в свете, драматический писатель, вошедший в дружеские сношения с первыми артистами театра, журналист, с которым были в связи современные литераторы, — Крылов и сам не мог заметить, как ускользал от него год за годом посреди развлечений столицы.

П. А. Плетнев
Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова

Вместе с какими-то шулерами он был призван к генерал-губернатору, который объявил им, что они, на основании законов, подлежат высылке из столицы; обратясь же к Крылову, он сказал: «А вам, милостивый государь, стыдно. Вы, известный писатель, должны были бы сами преследовать порок, а между тем не стыдитесь сидеть за одним столом с отъявленными негодяями».

В. Ф. Кеневич
Иван Андреевич Крылов (со слов Н. И. Греча)

В Петербурге были двор и гвардия, то есть политика, зато в Москве так резались в карты, как Петербургу и не снилось.

Москвичи, казалось, все играли. За исключением Николая Петровича Николева, у которого были на то свои причины.

В прежние времена Николай Петрович слыл соперником Княжнина на драматическом поприще. Когда Крылов и Клушин издавали журналы, Николев печатал там стихи. Теперь, узнав, что Крылов в Москве, Николай Петрович зазвал его к себе.

Войдя в кабинет Николева, Крылов остановился на пороге, а хозяин резво поднялся ему навстречу, учтиво поклонился, ласково улыбнулся и пригласил садиться. Затем быстрыми шагами воротился к своему креслу и так ловко и уверенно водворился в нем, что новому человеку никак нельзя было догадаться, что Николев совершенно слеп.

Николай Петрович уже несколько лет ничего не видел, все об этом знали, и Николай Петрович понимал, что все знают, но вел себя как ни в чем не бывало, то есть, совершенно так же, как если бы был зрячим. И при гостях держал себя соответственно: — то на шум подъезжавшей кареты выглядывал в окошко, то перелистывал бумаги — словно отыскивал что-то нужное, то просил читать по книге свои стихи, а потом брал у чтеца книгу и декламировал уже наизусть, но водил при этом пальцем по странице, будто читал.

Крылов, сколько ни вглядывался в физиономию Николева, ничего не мог разглядеть на ней кроме искренней приветливости, безоблачности и даже самодовольства — ни малейшего следа забот или печали. За обедом Николай Петрович шутил, гости смеялись, пуще всех смеялся сам хозяин, и Крылову слышалось за его веселостью железное упрямство: Николай Петрович попросту не принимал роли, что назначил ему недуг, он по-прежнему распоряжался собой самовластно, а так как за это все же надо было расплачиваться, то волей-неволей приходилось выкручиваться окружающим.

Обеды у Николева бывали всегда и обильны, и вкусны, и жирно приготовлены, но сервированы как попало и к тому же на грязной, мятой скатерти, что возбуждало некоторую брезгливость в его гостях, однако самому Николеву до этой неопрятности не было дела, так как она не была ему видна и точно так же ему было горя мало оттого, что его гостям подавали самые дрянные вина, тогда как перед ним дворецкий ставил графин отличнейшего бордосского.

— А винцо как будто недурно? — говорил с довольною улыбкой Николай Петрович, и гости, криво усмехаясь, ему вторили.

Ближайшие друзья иной раз пытались намекнуть Николеву о нерадении и дерзких плутнях его слуг, но он ничего не желал слушать и на первых же словах с сердцем обрывал доносителей. При случае он даже замечал, что доволен своей дворней, особенно честностью и распорядительностью своего дворецкого.

Николай Петрович с какой-то умышленной, явно нарочитой настойчивостью выхвалял перед всеми чистоту и порядок в своем доме, а также охотно признавался в некоторой слабости к нарядному, щегольскому платью. Между тем, хотя при гостях одет он был и в самом деле парадно, но весьма неряшливо, тонкого сукна сюртук был весь в пуху и в пятнах, сорочка замызгана, а шейный платок вовсе похож на тряпку, которой баба моет полы. И точно так же в комнатах его царило ужасное запустение: всюду сор; на шкафах, картинах, бронзовых бюстах и зеркалах, даже на стульях лежал слой пыли, а в углах потолка росли и колыхались, подобно водорослям, длинные нити паутины.

Крылову случалось видеть, как первые друзья и приятели Николая Петровича порою позволяли себе слегка подшутить над его претензией казаться зрячим. То, подавая Николеву раскрытый на нужной странице том, как будто невзначай подавали его перевернутым, и слепец, притворяясь, будто читает, держал книгу кверху ногами, как малый ребенок. То, когда Николев привычно направлялся из одного угла кабинета в другой, тихонько подсовывали ему на дороге стул, о который он больно ушибался. Приятели при этом давились со смеху, но Николай Петрович ничего не замечал и был всегда ровен, снисходителен, весел и вполне доволен собой, а приятелям приходилось-таки своими задами и локтями обтирать пыль с его мебели, повязывать за едой замаранные салфетки и морщиться, хлебая кислятину заместо вина.

Крылову представлялось, что Николай Петрович знает, что делает, что у него свои счеты с жизнью и с друзьями-приятелями. И трудно было решить — жизнь ли смеется над первым московским

трагиком Николевым, или великий, неподражаемый Николев смеется над жизнью. И Крылов все прикидывал: кто же в дураках?..

Деревянный, невзрачный снаружи особняк отставного прапорщика Волжина был обставлен не без претензий на изящество. Дважды в неделю, по средам и субботам, здесь собиралось довольно многочисленное общество — все больше приезжие помещики, но также и коренные москвичи из офицеров и чиновников, служащих и отставных, а еще молодые девицы, которых Волжин называл прелестницами, а также нимфами и нимфузориями, и к ужину обыкновенно хор цыган. После ужина начиналась игра. Волжин в компании с каким-то сенатским чиновником держал банк. Гости понтировали, пили, смеялись и не совсем скромно шутили с девицами.

Крылова в первый раз привез к Волжину Татищев. Они явились довольно поздно, когда все уже сидели за ужином и на середине залы несколько цыган играли на скрипках, а несколько цыганок пели и плясали. Войдя, поклонившись хозяину и всему обществу, они расположились закусить, и тут одна из цыганок, которая до этого плясала вместе с другими, стала оглядываться на Крылова, потом вышла из круга и, улыбнувшись, запела по-цыгански, глядя на одного Крылова и позванивая монистами и позвякивая множеством тоненьких браслетов на сухих, смуглых, совсем мальчишеских запястьях. Цыганка выводила что-то пронзительное и отчаянное и пела довольно долго. Окончив, низко поклонилась Крылову и опять вошла в общий круг, но все поглядывала на него и ему улыбалась, а он не сводил с нее глаз.

После ужина цыгане уехали. Все перешли в другую залу, Крылов был представлен хозяину дома. Волжин занял председательское место и распечатал колоду.

Татищев в тот вечер играл несчастливо и просадил тысячи три. Крылов долго не подходил к столу. Сидя в уголке, он не то дремал, не то просто позабыл, зачем пришел, занятый своими мыслями.

На вопрос банкомета:

— Не угодно ли поставить карточку?

Крылов встрепенулся, вытащил из колоды первую попавшуюся карту и, бросив на стол, сказал:

— Сто рублей.

Карта выиграла. Крылов поставил еще. И снова выиграл. Поставил опять — и опять выиграл. Он поставил десять карт сряду, и десять сряду выиграл. Банкомет сидел озадаченный.

— Это, видно, Стеша тебе наворожила, — сказал Татищев. — Однако нам пора.

И они уехали.

В другой раз у Татищева с Волжиным вышла не совсем безобидная стычка.

Татищев поставил пятьсот рублей и выиграл. Потом опять пятьсот — и опять выиграл. Затем поставил тысячу. Волжин стал метать и, кинув червонную двойку налево, сказал:

— Двойка убита.

— Нет, не двойка, — очень спокойно возразил Татищев. — Погляди-ка, брат, у себя в рукаве.

Разгоревшийся было в это время спор о достоинствах мортимерова ружья прекратился. Все замолчали и замерли.

Физиономия Волжина пошла красными пятнами. Если бы о рукаве ему сказал кто-нибудь другой, он бы вскочил с бранью, сорвал бы с себя сюртук в доказательство того, что в рукаве у него ничего нет (как всегда делал в подобных случаях) и потребовал бы у Татищева извинений, но под действием необыкновенно твердого, проницавшего насквозь и не допускавшего никакой обороны татищевского взгляда, Волжин вдруг смешался, как школьник:

— В каком еще рукаве?.. — пробормотал он, запинаясь. — Вот, впрочем, не упала ли под стол?

— Может быть, что и под стол.

Волжин нагнулся и поднял карту. Двойка выиграла.

С этого дня Татищев перестал бывать у Волжина, и Крылов тоже к нему не ездил.

Но вот как-то раз, идучи по Тверской, Крылов услыхал позади себя: «барин добрый!» — перед ним стояла его цыганка. При дневном свете он увидел, что она не так молода, как показалось ему при свечах, под смуглым налетом проступала бледность и яркие черные глаза ее не были веселы.

— Отчего к господину Волжину больше не ездишь? — спросила она.

— Деньги все проиграл, — отвечал Крылов. — Не с чем ехать.

— Одолжи, у друга своего возьми, — улыбнулась цыганка. — Завтра приезжай.

— Хорошо, приеду.

На другой день он и в самом деле отправился к Волжину. И она снова пела для него. А когда уже встали из-за стола, она поманила его в сторону и сказала:

— Ты сегодня играй. Не бойся. Сегодня тебе опять удача будет. Смело играй.

Шепнула что-то по-цыгански и ушла.

В кармане у Крылова была тысяча рублей, взятая взаймы у Татищева. Он, как и в прошлый раз, выдернул из колоды карту и, открыв ее, поставил сразу всю тысячу. Карта выиграла. И еще раз. И еще.

Другие игроки уже не понтировали, а наблюдали за игрой.

Крылов поставил две новые карты. Волжин стал метать. Крылов, помедлив, открыл одну карту. Она оказалась десяткою, уже выигравшею. Затем открыл другую карту, которая также оказалась десяткою и, значит, тоже выигравшею.

— Тасуйте, — сказал Крылов, — я сам сниму.

Банкомет стасовал карты. Крылов снял.

На большой зеленый стол, как мотылек на зеленый луг, опустилась тройка червей.

— Бейте десять тысяч!

Волжин, не закрывая против обыкновения, карт своей стороны, стал метать. Руки его заметно дрожали.

Тройка легла направо.

Крылов поставил карту темной.

— Бейте двадцать тысяч!

Волжин положил колоду и взглянул на сенатского чиновника, своего компаньона.

— Карта дура, а не бивши, не убьешь, — отвечал тот обыкновенным игрецким присловьем.

Крылов снова выиграл.

Волжин бросил колоду и встал из-за стола.

Когда Крылов уходил домой, в кармане у него лежал пук ассигнаций и подписанный Волжиным вексель на пятьдесят тысяч.

А на другой день, узнавши у Татищева, где квартируют приезжавшие к Волжину цыгане, отправился искать свою Стешу.

Она как будто ждала его. Услыхав о его выигрыше, казалось, обрадовалась не столько тому, что Крылов выиграл, сколько тому, что Волжин проигрался. Только огорчилась, узнав, что Волжин отделался векселем вместо денег.

— Смотри, обманет он тебя, — сказала она, — он сам черт.

Крылов заверил, что не дастся в обман, пообещал, что как только получит с Волжина деньги, то десять тысяч подарит ей, а пока что хотел оставить ей тысячу. Но она не взяла.

— Мне денег не надо, — сказала она. — Мне они не сгодятся. Мне уже жить недолго.

В глазах ее вдруг показались слезы. Но она тут же улыбнулась:

— А ты что же, вспомнил меня?

— Вспомнил. Как ты запела, так и вспомнил.

— И я тебя сразу признала.

Перед взором Крылова стояла тверская базарная площадь, поводырь с медведем, глазастая цыганочка с огромным бубном.

— Помнишь, как ты мне все пятаки кидал? А один раз рубль кинул.

— Это мне мать дала. Новый картуз купить — старый больно поистрепался. А я тебя увидел — и тебе кинул, совсем забыл про картуз.

— Вот видишь! Стало быть, мы с тобой и квиты...

Она тихо рассмеялась. Потом поглядела на Крылова пристально.

— У тебя невеста есть.

— Есть.

— Ты ее любишь, а она тебя ждет.

Стеша говорила быстро, настойчиво. В ее зеркальных глазах ходил неровный тусклый блеск.

— Теперь у тебя денег много. Женись.

Крылов глядел на нее изумленно.

— Или не затем играл?

— Затем.

— Тогда и женись.

Оказывается, она не деньгами хотела его подарить, а счастьем.

— Ах, Стеша, Стеша! — он взял ее за руку. — Кабы и в самом деле можно было!

— Она тебя ждет. Денег выиграл. Отчего нельзя?

— Ах, Стеша! Сердце не велит!

Она укоризненно покачала головой и прищелкнула языком.

— Пустое говоришь.

— Нет, Стешенька, — Крылов подыскивал слова. — Ведь как женишься, так уж тут надо будет к чужой жизни прилаживаться, верно? А я никак к своей не приноровлюсь.

Стеша кивнула.

— Ты на цыгана похож, — сказала она, — только думать горазд. Оттого весел не будешь.

Она помолчала.

— И богат не будешь.

А 9 мая, в Николин день, во время большого гуляния в Сокольниках, к вечеру, когда уже стало смеркаться, возле большого пруда в саду собралась толпа зевак, наблюдавших за ссорой двух порядочно одетых молодых людей. Один из них, подлетев к другому, стал ругать его мошенником, шулёром и разбойником и, обращаясь к прохожим, указывал на него пальцем. Другой сперва огрызался, но когда увидел, что ругатель его никак не отстает, и вокруг них собирается толпа, попробовал улизнуть. Но другого это лишь раззадорило, он уже без обиняков ухватил своего врага за шиворот, и к удовольствию собравшейся публики началась потасовка. Пришел полицейский унтер-офицер, дерущихся связали, чтобы они не кидались друг на друга, и так препроводили в часть. Один из молодых людей оказался отставным коллежским асессором Иевлевым, другой — служившим прежде в Преображенском полку отставным прапорщиком Волжиным. Иевлев уверял, что Волжин зазвал его к себе, напоил, а затем обыграл фальшивыми картами с лишком на десять тысяч. Полиция сделала у Волжина обыск и нашла ящик с золотыми часами, бриллиантовые перстни, векселей, закладных и ломбардных билетов на полтораста тысяч и несколько колод карт. Московский генерал-губернатор Измайлов распорядился посадить Волжина под арест.

Так как передравшиеся шулера нещадно топили друг друга, то дело замять было уже невозможно и генерал-губернатор Измайлов (сам отчаянный игрок) вынужден был назначить следствие и дело пошло в Петербург.

Немедленно дано было повеление Измайлову представить именной список всех участников картежных сборищ. Поскольку тут замешалось множество известных в Москве лиц, Измайлов попросил дозволения самому представить императрице список с надлежащими объяснениями.

7 августа 1795 года императрица решила участь перечисленных в реестре Измайлова карточных академиков. Большинству объявлено было прощение — с условием впредь всемерно воздерживаться от разорительных игр, — а несколько неимущих, то есть перебивавшихся картами, игроков приказано было выслать из Москвы с запрещением жить в столицах и губернских городах. В числе этих последних оказались подпоручики Борис Бурдеев, Дмитрий Короткий, Федор Нестеров и Иван Крылов.

Будучи позван к генерал-губернатору и получив повеление не-

медленно убраться прочь из города, Крылов некоторое время оставался в затруднении насчет того, куда теперь податься, но, в конце концов, последовал совету Татищева и уехал в его подмосковную деревню.

2

Милостивая государыня! Говорят, что Аристотель был едва не проклят всем афинским собором за то, что он женщине приносил приличные Церере жертвоприношения. Я не язычник, но если б изобразить все почтение, которое я к вам чувствую, то бы попал я под один приговор с Аристотелем, и всему бы этому виною были ваши привлекательные, ваши любезные качества, которые всякого, кто вас узнает, вводят точно в опасность сделаться идолопоклонником.

Я не могу вспомнить тех минут, которые случалось мне у вас проводить, чтобы не оглядываться к Москве, как верный магометанин, возвращаясь с поклонения, набожно оглядывается к Мекке. «Вот лесть!» — скажете вы, и я знаю, что тот, кому случится увидеть мое письмо, будет бранить меня как льстеца, но зато я надеюсь, что те, которые увидят вас, будут точно за меня стряпчими в этом деле. Но я позабываю, что воображение о ваших достоинствах завлекает меня в похвалы, которые никогда не кончатся, если я дам себе волю, — а вы их столько-столько слышите!

Я давно, как добрый идолопоклонник, желал принести вам жертву и довольно долго трудился над картинкою, писавши ее пером с гравировки; наконец, я кончил и, чтоб дело сделать в порядке, засел с музою в уголок и написал стихи. Уже готовился укласть мою посылку, но Ordine l'uomo e Dio dispone,* — говорит Ариост, — все это вышло совсем иначе, нежели я хотел: картинка пропала. Я начал другую, которую теперь имею честь вам послать, но и эту у меня облили чернилами, так что я нижнюю часть лица принужден был скоблить и снова покрывать. Словом, бедная работа так испорчена, что я решился оставить ее недоконченною, но не решился оставить моего предприятия: нет, я еще успеть надеюсь, принявшись в третий раз. L'ultima che si perdae la speranza,** — говорит божественный Метастазий в своей «Дидоне» и, кажется, стих сей извлек он из самой глубины сердца человеческого: таковы точно люди, таков точно я во всех делах моих. До сих пор все предприятия мои опровергались и, кажется, счастье старалось на всяком моем шагу запнуть меня; это было, есть и, может, вечно так будет; но пусть только надежда, мой верный друг, пусть только одна она не отлучается от меня и проводит меня до моего гроба — пусть оставит она меня, когда, переехав Стикс, увижу я на дверях ада страшную надпись: Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate!***

Надпись ужасная, которою Дант страшнее изобразил ад, нежели

---

* Человек предполагает, бог располагает *(ит.)*

** Последнее, что теряешь — надежду *(ит.)*

*** Оставьте все надежды, о, вы, сюда входящие! *(ит.)*

множеством других своих стихов. Итак, пусть только тогда она меня оставит, и я по крайней мере скажу, что я в жизни имел утешительного товарища.

Воспоминание моих старых и еще вновь приключившихся мне несчастий и потерей завело меня к скучному, может быть, для вас болтовству; но простите пустыннику, который рад, сыскавши первый случай говорить чувствительному сердцу.

Я встал, дал успокоиться моей памяти и протолкал, так сказать, из головы все мои несчастия, и теперь опять весело продолжаю мое письмо: иначе я бы замучил вас Еремииным своим плачем. Итак, посылаю вам мою картинку и стихи при ней, каковы они есть.

Что касается до картинки, то я жду только первого случая, как приняться за работу, и тогда вместо сей недоконченной буду иметь честь прислать вам что-нибудь порядочное. Хотя я знаю, что сии труды мало вас достойны, но я все-таки повторю мои стихи:

Пусть вспомнят то, что часто к богу
Мы с свечкой денежной идем.

Милостивому государю моему Ивану Ивановичу свидетельствую искреннее мое почтение. Я не смею к нему писать, боясь затерзать его своим письмом; но если он мне разрешит, то я эту честь иметь, конечно, не упущу.

Боясь аккуратность Василия Евграфовича подвергнуть тяжелому испытанию, все это я доставляю к вам не через его руки.

И. А. Крылов — Е. И. Бенкендорф Ноябрь 1795 г.

Погода была малоснежная и морозная. Едва прикрытая земля промерзла почти на аршин. Мужики, долбившие могилы на кладбище (от сильной стужи многие в деревне хворали, а кое-кто и помер), говорили, что не запомнят, когда земля так глубоко промерзала, и ждали хорошего изобильного лета, и надеялись, что хлеба будет вдоволь.

Проруби на реке пробивали с трудом, вода из них выплескивалась с силою, растекалась по льду и дымилась, как пролитый кипяток.

— Гляди не обварись, больно водица горяча, — кричали парни девке, шедшей к реке с бадейками на коромысле.

— Языки-то не обожгите, — отвечала она, — вона солнце-то как палит.

Красное, словно головня, солнце висело в жгучем, остро пахнувшем холодом, как угаром, воздухе, и иней на деревьях, кустах и сухой траве казался раскаленным добела.

Ветер совсем утих. Снопы на гумне лежали невеянными. Скоту, чтобы не померз, корма давали вдоволь, но как сена и соломы оставалось уже мало, стали скотину бить.

Поп отслужил молебен, прося снега. Бог не сразу, но послушался. С запада потянуло влагой, и небо понемногу закрылось пеленой. Повалили густые, тихие хлопья...

Вася Татищев, будучи любителем псовой охоты, ожидал снега вместе со своими мужиками. По вызову старосты он явился из Москвы. Из соседних имений понаехали приятели-охотники. Старая

усадьба наполнилась собачьим лаем и лошадиным ржаньем. Дом кишел псарями и наглой московской дворней. Стоило Крылову выйти из отведенной ему комнаты, и кто-то принимался шарить в его вещах и ворошить бумаги на столе. Из незапертого ящика стола пропала тысяча рублей и осталось всего пятьсот, что, по счастию, он позабыл вынуть из кармана.

Крылов после обеда обыкновенно укладывался спать и сквозь дрему слышал, как внизу что-то кричали о пороше, порсканье, заячьих маликах и волчьей травле.

С отъездом Татищева, охотников, псарей и всей лакейской оравы и на усадьбу, и в деревню вернулась исконная тишина, окружавшая людские жилища. Слегка расступившаяся под напором непривычного шума, она теперь снова подошла к самым стенам. Тишина и молчание окутывали воздушной средой эту жизнь. Мужики не казались неразговорчивы, но употребляли слова только как домашние орудия или как игрушку — по надобности или для забавы. Тогда как все отвлеченное, то есть чисто людское, напротив, связано было с молчанием или употреблением таких слов, которые не имели постижимого смысла (в ворожбе ли, в молитве ли) и были лишь кличкой безымянного, обозначением того, чему нельзя было дать имени, что нельзя было назвать. Эти жившие безвылазно посреди леса мужики из древнего опыта вывели заключение, что естественный ход вещей в природе не имеет отношения к людским суждениям, а потому и говорить можно либо словами самыми очевидными, подручными как одежда и утварь, либо совсем темными околичностями. Из всех углов и щелей окрестного мироздания выглядывала и смотрела на них тихая нечисть и жуть. И если поп отец Никанор, служа обедню и читая в церкви проповедь на стих из псалма 14-го «Господи, кто обитает в жилище Твоем?» (в крыловском переложении этого псалма, написанном тут же в деревне, было сказано, что праведник «в гнусных рубищах невинность чтить умеет, злодеев презирать на самых тронах смеет»), возносил слушателей к эфирным высотам божественного чертога, то, выходя после службы из храма на деревенскую улицу, глядевшую прямо в лес, мужик тут же оказывался в таинственной зависимости от темных сил, всяческой чертовщины и даже тех самых болотных гадов и воображаемых чудищ, что так запросто представил Данте в картине своего ада. Эта чертовщина была темной сердцевиной деревенского существования, и в мужицком быту то и дело отзывались дантовские мотивы. К примеру, когда у старосты Андроса жена вторые сутки мучилась в родах, то ключница Матрена, которую он заставил покапать в воду растопленным воском, сказала: «У тебя лягуха под дом пущена» (у старосты на деревне много было недругов), и Андрос полез под избу, вытащил здоровенную лягуху, а после сделал так, как велела ему ведьма: завернул лягуху в тряпицу и положил себе на живот, а затем развернул тряпку и лягуха словно бы выпрыгнула у него из живота — и тут только жена старосты разрешилась от бремени; а лягуху он тотчас сжег и пепел, как велела ведьма, ночью, крадучись, чтобы никто не видал, отнес за кладбищенскую ограду и развеял по сторонам. Тот же староста рассказывал, что в околотке есть такой

колдун, который может напустить такую порчу, что в животе заводится живая жаба, и коготками своими до тех пор там скребется, покуда человек не помрет. Даже и отец Никодим говорил как о деле вполне сбыточном, что лет за тридцать перед тем в Твери всенародно сожгли ведьму, которая оборачивалась черною собакой и, наславши неодолимый сон, воровала у нянек новорожденных младенцев...

По ночам под самые окна татищевского дома подходили волки, потом отбегали за деревню в поле и там выли. Волки резали в деревне овец и телят и порою проникали за такие ограды, за которые мог проникнуть человек, но не четвероногое. Потому волков мужики определенно считали оборотнями. На краю деревни жил бобыль, с виду действительно несколько звероподобный, про которого вся деревня тихомолком говорила, что он волк, и который в народе имел прозвание Бирюк.

В ночном волчьем вое Крылову не слышалось угрозы или жалобы, но что-то вроде молитвенного пения, молитвы о мировом непокое, бездомности и неразумности — обо всем чужом и жутком для человека. Иной раз, утомленный долгой звериной литургией, Крылов распахивал окошко, брал скрипку и являлся перед волками новым Орфеем. Заслышав скрипку, волки умолкали, потом начинали робко подвывать и с этим воем уходили прочь. Но за волков нередко вступался ветер, который в трубе изображал цыганский хор, вопил и стенал и пение его сопровождалось чем-то вроде беспорядочного струнного нытья — будто неумелые скрипачи целую ночь все настраивали свои скрипки и так и не могли настроить.

Кругом усадьбы намело непролазные сугробы и гулять можно было только по расчищенной дорожке в саду, словно узнику на тюремном дворе. И по вечерам закрывавший полнеба большой, темный барский дом, в котором тускло светились лишь два окошка крыловской комнаты, из сада казался схож с темницей, что когда-то он видел на картинке во французской книжке «Тайна острова Святой Маргариты, или Железная Маска».

Ночами Крылов перелагал из Библии «Песнь песней» и читал Дантов «Ад», справляясь с французским переводом и сам для себя объясняя связь между двумя этими занятиями тем, что в свое время великий итальянец отбросил божественную латынь (сделавшуюся потертой и тесной) ради языка черни, а теперь и для русских настало время отыскать заместо книжного языка такую речь, на которой можно было бы описать и ад, и рай, и вести беседы с господом богом. Впрочем, быть может, он просто подводил итог пережитому к двадцати семи годам: и восторгам, и отчаянию.

Под утро, раздув в печи огонь, Крылов обыкновенно садился у окошка дожидаться света. Пламя гудело и через щели заслонки освещало ярким узором дощатый пол, часть стены и край его стола. Из окна видны были огоньки в избах — вся деревня топила печи, а на гумнах при свете пылающей соломы молотили хлеб; доносились чуть слышные голоса и стук цепов и в голове так и сяк переливалось дантовское «нель мэццо дель каммин ди ностра вита, ми ритро-

вей пер уна сэльва скура...»* — и из молочной утренней белизны постепенно выступал густой и высокий бор, окружавший татищевское поместье...

В это время он обыкновенно вел долгие мысленные разговоры с Катериной Алексеевной, говоря ей, что не жалеет о своей ссылке, потому что только издали, из глуши, из адских дебрей ясно видишь минувшее счастье. Но вместе с тем он утверждал, настаивал, что она была не права, когда уверяла будто в безнадежной разлуке чувство становится нежнее и чище — совсем напротив, оно делается томительнее и острее. И в подтверждение этого он все повторял ей строки Соломоновых песен.

Приди, хоть час со мной побудь
И припади на белу грудь,
На пламенную грудь...

А в исходе февраля, когда весь белый свет оказался напрочь загорожен стеной метелей, когда уже не было больше сил сносить это снежное бесчинство и угнетение, Крылов внезапно решил все бросить и поехать в Нижний к Катерине Алексеевне. Ему вдруг с такой удивительной очевидностью представилось как это просто: сесть в возок, поехать и явиться к ней, — что он ни минуты не мог сопротивляться своему желанию. Несмотря на опасность быть узнанным и задержанным полицией, он решился тотчас отправиться в Москву, а оттуда в Нижний: взглянуть на нее — а там будь, что будет.

Крыло позвал татищевского возницу Семена и велел закладывать кибитку. Тот поморгал, поглядел в оконце, потом уверенно сказал:

— Нельзя ехать.

— Отчего?

— Метель будет.

— Всякий день метель.

Семен покачал головой:

— За́меть будет.

— Запрягай!

Семеновы вихры мотнулись от плеча к плечу.

— Нельзя.

— Я один поеду. Ты знай запряги, а поеду я.

Через полчаса лошади были поданы, чемоданы уложены. Крылов надел поверх сюртука извозчичий тулуп, натянул треух и забрался на козлы.

— Если к утру утихнет, так завтра вас и отыщем, — напутствовал его Семен.

До Москвы от татищевской вотчины было сто верст с небольшим, деревушки и села попадались на каждом шагу. Когда Крылов двинулся в путь, снежок едва перепархивал. Хотя с востока тянул довольно резкий холод и в поле стекала с холмов в низины и взбегала на холмы быстрая поземка — предвестье непогоды, — но Крылов ехал

* На середине своей жизненной дороги я внезапно очнулся в темном лесу (начало первой песни «Ада» Данте).

без опаски, уверенный, что будет где остановиться и заночевать, если вьюга разыграется не на шутку.

Случилось, однако, нечто неожиданное. Снежный вихрь, поднявшийся разом с земли и с неба, налетел внезапно и в две минуты забрал такую силу и власть, что сразу же не только придорожные кусты, но и лошадиные морды стали едва различимы в закипевшем холодном вареве. Чтобы не сбиться с дороги, Крылов остановил лошадей, слез с козел и принялся ходить взад-вперед подле возка. Однако прогулка не была приятна. Снег слепил и слезил глаза, словно дым в черной бане, а ветер то и дело окатывал как водой из ушата и он захлебывался в ветре и, чтоб перевести дух, все заслонял лицо рукавицей. Около возка быстро наметало сугроб. Ноги проваливались в него по колено и сугроб становился все глубже и с каждым шагом вытягивать из него ноги делалось труднее. Крылов ходил и ходил, пока заметил, что белый мрак начинает сливаться с темным мраком. Он устал, взмок как в парной, но что еще хуже, в нем постепенно и неуклонно нарастала злость. Его бесило издевательство ветра, снежного дыма, сугроба. Ему казалось нестерпимо и унизительно барахтаться в этом месиве крутого воздуха и снега. Желание уклониться, высвободиться, обрести независимость от неизбежной метели взяло верх над благоразумием, и он вдруг решился действовать ей наперекор, а не плясать, не топтаться больше под ее дудку, под ее воющую и визжащую музыку. Он решился залезть в возок и остаться хотя и в холоде, но совершенно самому по себе. Он остановился. Потом шагнул к возку. Еще шагнул. Еще. Возка на месте не было. Минуту назад возок смутно темнел сквозь снежный ливень и сумрак шагах в пяти от него. Теперь, когда он прошел эти пять шагов, пятно отодвинулось. Крылов вернулся на прежнее место и стал петлять сперва малыми кругами, потом немного пошире, потом еще пошире. Возок пропал. Потешаясь полнейшей беспомощностью и беззащитностью самонадеянного путника, метель все стегала его наотмашь своим мокрым веником и все обдавала ледяной духотой. В ярости Крылов готов был повалиться на снег и с головой зарыться в сугроб, но тут позади него — там, где он только что прошел, — что-то фыркнуло. Крылов обернулся, протянул руку и в рукавицу ему ткнулась конская морда...

Внутри возка все закоченело и оробело — и войлочные стены, и потолок, и кожаное сиденье, и даже воздух — на удивленье неподвижный и пустой после текучего, хлесткого воздуха метели. Вовнутрь возка метель достигала только своим расстроенным цыганским пением. Крылов невольно вслушивался в него и помимо воли что-то отвечал и отвечал этим разодранным голосам и долгим усилием пытался унять их и переспорить.

Вдруг он совершенно отчетливо понял, что все кончено, что ему не пережить этой ночи. И бешенство, только что сопротивлявшееся страху околеть здесь одному, в темноте, в поле, показалось смешным.

Всякий страх пропал.

Наконец-то он сделался вполне независим. Если не бояться конца, то чего же бояться в жизни?

Все. Он вырвался. Перепрыгнул через себя. Он свободен...

Он и не заметил, как метель начала умолкать. Словно бурливший, мчавшийся как по камням воздух вошел в тихое русло — голоса вьюги сошлись, соединились в один согласный звук, который потек в берегах какого-то простого всеобщего смысла, и, подчиняясь этому смыслу, на глазах делался все чище, прозрачнее, пока не стал поющим безмолвием. В природе наступила новая тишина. И тишина эта была его, Крылова, заслугою. Он ощущал веселую гордость, как если бы без запинки перечитывал им самим сочиненную историю словно бы чужое сочинение. Это он победил бессмыслицу метели. Он ощущал гордость и покой. Он спал...

Прошел час, а может быть и два. Открыв глаза, Крылов увидал в заснеженном окошке слабый свет. Он распахнул дверцу возка. Перед ним лежала недвижная голубоватая равнина с темными тенями, а над нею было устроено удивительно ясное черное небо со звездами, и из-за леса театральный машинист выдвигал очень искусно сделанный, но только неправдоподобно светлый месяц.

Крылов выпрыгнул из кибитки, вскочил на козлы, ударил вожжами застоявшихся коней, те вздрогнули и неожиданно легко выдернули полозья из сугроба и полетели по ночной дороге мимо спящих деревень с белевшими церквями. По сторонам тянулась то темень полей, то глухие стены обступавших дорогу березняков и ельников. Наконец, из ровного сумрака стали выходить к дороге отдельные деревья, а сплошные лесные стены стали распадаться. И когда показались первые московские строения, было уже совсем светло. Крылов не заметил, как проскочил заставу. Он ехал по знакомым улицам, но — странное дело — против обыкновения утренние улицы были совершенно пусты. Нигде ни души. И это мертвое безлюдие внушало недоумение и тревогу. Город затаился. И Крылов непонятно как сообразил, что это полицейская хитрость, что его здесь ждут и потому-то никто и не выходит из домов, что это его подстерегают. И тут же на повороте выросли несколько солдат. Удержали коней, стащили его с козел. Крылов вдруг очутился в большой комнате, и уже совсем не удивился, увидав за столом Степана Ивановича Шешковского. Тот встал, подошел к Крылову. Кошачьи глаза, щербатая улыбка... И неожиданно, не говоря ни слова, больно хлопнул Крылова по щеке. Крылов рванулся достойно ответить начальнику Тайной канцелярии, но его держали за руки. А Шешковский снова отвесил ему здоровую оплеуху. Крылова схватили, содрали с него одежду, повалили на лавку и Шешковский вытянул его по спине плетью, погладил и снова вытянул. Р-раз! Р-раз! Спина горела. «Да ведь он же помер, — отчетливо вспомнил Крылов, — уже год как помер». И открыл глаза.

Над ним склонился татищевский Семен и с удовольствием хлопал его по мордасам. Увидав, что Крылов очнулся, Семен тем не менее продолжал свое дело: ворочал его, бил и растирал ему грудь, спину, лицо и руки снегом, приговаривая:

— Ну, барин! насилу тебя отрыли. А ты далеко, однако, ушел, —

петровские мужики тебя нашли. Хорошо, однако, что с дороги не съехал. А кабы съехал, так уж сидеть тебе там до весны...

Крылову дали выпить стакан водки и потом внесли в тепло и уложили спать. Он проспал до другого утра и поднялся совершенно здоровым.

Но с этого дня почти перестал выходить из своей комнаты, а все больше лежал на диване и глядел в потолок. Он сытно ел и много спал и был совершенно спокоен — никакой грусти, никакого томления не заметно было в его лице, но также и ни малейшего внимания к тому, что происходило вокруг. Словно бы, не справившись с его сильным и выносливым телом, убийца-мороз сумел заледенить его нежную душу, которая все никак не могла оттаять...

В начале весны Крылов получил письмо от Катерины Алексеевны. Она писала, что с сестрою и ее мужем едет в Петербург. Что в Москве узнала его историю. Что по-прежнему нетерпеливо желает его видеть. Просила написать ей в Петербург, в дом господина Константинова, в Литейной части возле Пантелеймона. По числам выходило, что Катерина Алексеевна как раз приехала в Москву в тот день, когда туда бросился было Крылов. Он сел ей отвечать, но не мог докончить письма. И так и не ответил.

С наступлением погожей весны Крылов начал выходить из дому. Он отправлялся в парк, скидывал там с себя одежду и нагишом и с книгою в руках гулял по берегу пруда, потом купался, лежал на траве и снова гулял. Уже много недель он не брил бороды и не стриг волос. Одетый он походил на попа, а голый среди деревьев — на лешего. Лесные мухи, комары, мошки, однако, не чувствовали к нему почтения и кусали как и всякого другого. А мужики, не читавшие жан-жакова «Эмиля», сочли его поведение предосудительным. По их понятиям, бродить без рубахи и без портков — хотя бы и в лесу — означало дразнить нечистую силу. Так — в чем мать родила — ворожили ведьмы, так выходили по ночам бабы ловить и убивать коровью смерть (когда случался падеж скота, то в полях обыкновенно бродила коровья смерть — она была вся белая, на манер призрака, с головою коровы и с ногами быка). И увидав, что Нехлюдый барин — как прозвали они Крылова — весь оброс шерстью и ходит совершенно голышом и, главное, с какою-то книгою и все поет, словно как заговаривает кого-то, мужики, конечно, ничего другого не могли подумать, как только то, что дело нечисто. И когда теперь в деревне случались неприятности — кто помрет с перепою, кто свалится с крыши, кого бык боднет, — мужики между собою говорили: «Нехлюдый, вишь, начитывает!» и стали толковать, что можно бы Нехлюдого немножко в воде попридержать — пока не захлебнется, — а там поди узнай, как утоп...

Внезапно, однако, появился Татищев. Он прикатил с матерью и сестрою, которые намеревались недели две погостить в подмосковной, а после ехать в тверскую свою деревню. Подъезжая через парк к усадьбе, они вдруг увидали около пруда совершенно голого, дикого человека, который, не обращая на них внимания, что-то пел, почесывая живот.

— Базиль! — закричала Аграфена Федотовна, — что за урод? кто пустил? какая гадость!

— Черт возьми, — сказал Татищев, присмотревшись. — Да ведь это же Крылов!

— Kriloff est fou, ah, mon Dieu, il est fou!* — заголосили дамы.

Тут только Крылов заметил коляску и бросился в чащу.

Весьма обеспокоенный, Татищев велел скорей разыскать его и привести.

Крылов явился уже одетым.

— Что с тобою, братец? Ты спятил?

— Нисколько. Просто со скуки подумал, что живя в лесу, веселее жить американцем. И подлинно — есть с кем поговорить: хожу над прудом, декламирую, а эхо мне ответствует.

Татищев расхохотался.

— Твое эхо, конечно, просвещенный собеседник, да ты, братец, с ним одичал. Как я тебя за стол посажу?

И, чтобы выходить к столу, Крылову пришлось обриться и остричь волосы и ногти.

3

Павел I встретил и сказал: «Здравствуйте, Иван Андреевич. Здоровы вы?» — Он подал ему трагедию «Клеопатра».

М. П. Погодин Дневник

Великий князь Павел Петрович дурно спал в ночь с 4 на 5 ноября 1796 года в своем Гатчинском дворце. Какая-то неодолимая сила поднимала его над землей — все выше и выше, сердце в нем замирало, он просыпался. Засыпал — и снова повторялся тот же сон... На следующий день к вечеру из Петербурга прискакал Николай Зубов, брат фаворита, с известием, что императрица при смерти. Павел кинулся в город.

Глаза императрицы были открыты. Она видела и осознавала все, что делалось вокруг нее. Но ничего не могла сказать. По временам она явно силилась о чем-то распорядиться — привычное повелительное выражение мелькало в ее глазах, но язык не слушался, и во взгляде показывался гнев (императрица не хотела умирать) и вместе испуг (болезнь была сильнее ее).

То, ради чего безуспешно пролили кровь тысячи ее врагов, теперь учинила ее же кровь. Паралич был бунтом изнутри. Императрица была арестована собственной немотой.

Она еще жила, но уже молчала.

Она еще гневалась, но уже не царствовала.

И томительно и страшно, как ожидание смерти, было ожидание этого бледного, озабоченного и как смерть курносого посланца приближающегося конца. Вот сейчас он войдет — и уже не будет спасения...

Наследник почти вбежал в комнату, замер, шагнул к постели матери, взглянул быстро и недоверчиво — не оживет ли, не обманет

* Крылов с ума сошел, ах! боже мой, он сумасшедший! *(фр.)*.

ли снова, как обманывала все эти двадцать пять лет. И уже медленно, спокойно, с облегчением опустился на одно колено и чуть прикоснулся губами к ее руке. И это была смертная печать.

Из соседней комнаты она слышала его повелевающий голос. Нет, свой голос — вернее, свой тон: императивный, имперский, императорский, — который он присвоил себе, хотя она еще жива. Он уже не наследник — уже не следом за ней — он на ее месте — наместник ее смерти. Не важно, жива ли она — ее уже нет, — потому что он присвоил ее роль. И вот теперь он примеряет ее корону, ее чепец... Нет, чепец на ней. Но короны нет. Ну да, ведь это его корона. Прежде она отняла ее у него, теперь он у нее. Значит, комедия окончена, ее роль доиграна, хотя парализованная старуха еще глядит и дышит.

И Екатерина сама помогла смерти довершить этот законный контр-переворот — придушить старуху...

И граф Безбородко написал манифест о восшествии на престол Павла I.

Немедленно из Зимнего дворца был удален Платон Зубов.

И тут же велено было перевести во дворец из Невского монастыря гроб с телом Петра III.

...Темным морозным вечером от дворца к монастырю двинулась депутация, по всей видимости, имевшая целью просить прощения у мертвеца за все дурные с ним поступки, пообещать ему новые похороны, устроенные уже по-царски, и звать его назад — хотя и не на трон, но на супружеское ложе, с которого только успели согнать генерал-фельдцейхместера Зубова.

Тридцать карет, обитых черным сукном, цугами в шесть лошадей, тихо тянулись по Невскому проспекту. Лошади были с огромными черными султанами на головах и от ушей до копыт накрыты черным сукном. Каждую вел под узцы придворный лакей с факелом в руке, в черной епанче с длинными воротниками и широкополой шляпе, обшитой крепом. По бокам каждой кареты шли еще двое таких же черных лакеев с факелами. На козлах сидели черные кучера в огромных шляпах, а в каждой карете кавалеры в траурных мантиях держали в руках государственные регалии — знак возвращаемого свергнутому покойнику императорского достоинства и всенародно приносимых извинений.

Прыгающее, рваное пламя факелов освещало застывшую и онемевшую толпу, теснившуюся возле домов.

А наутро покойная императрица в торжественном молчании встречала покойного супруга после тридцатичетырехлетней разлуки. От Лавры до Зимнего шеренгами выстроились войска. За колесницею, на которой стоял гроб Петра III, пешком шли его сын и двое старших внуков. В дворцовой зале гроб императора мирно улегся рядышком с гробом императрицы.

Еще через несколько дней Павел I хоронил вместе своего отца и свою мать — словно отец умер только что или мать давным-давно. И гроб императора намеренно предшествовал гробу императрицы в похоронной процессии, направлявшейся в Петропавловский собор. Все екатерининское царствование было сжато в две сажени, раз-

делявшие теперь Павла I от Петра III. Все екатерининское царствование — все тридцать четыре года — отменили и признали недействительным как беззаконное...

Желая наверстать даром потраченное время, новый император завел такой крутой порядок, при котором во всех канцеляриях, департаментах и коллегиях свечи на столах горели с пяти часов утра и с этого же времени пылали камины и зажигали все люстры в казенном вице-канцлерском доме против Зимнего дворца. Сенаторы с восьми часов сидели за красным сукном, а седые военачальники с Георгиевскими звездами учились равняться и салютовать эспантоном. Всякий день в шесть утра император уже принимал доклад от генерал-прокурора, а затем в любую погоду выходил к разводу караула и сам брал в руки эспантон и маршировал впереди команды. Екатерининскую распущенность и беззаконие должны были сменить павловская бодрость и недремлющая бдительность с грозной взыскательностью...

В марте двор и гвардия отправились из Петербурга в Москву к коронации.

В светлое воскресенье войска выстроили в Кремле, и император в порфире, в короне, со скипетром и державою в руках и под балдахином шел из собора в собор легким шагом.

Поравнявшись с фельдмаршалом Репниным, командовавшим войсками, на ходу обернулся:

— Fais-je bien mon rôle, mon prince?*

— Mais plus doucement, mon ami, plus dousement,** — семенила сзади императрица.

Однако император спешил. «Этот, видать, скор, — говорили в народе. — Ему не попадайся».

Но теперь было время милостей.

Фельдмаршал Каменский (родной брат Аграфены Федотовны Татищевой и любимец императора) по просьбе племянника просил за Крылова.

— Давай его сюда, — сказал император.

Вася Татищев поскакал в деревню и через два дня Крылов был принят в Слободском дворце.

Император сидел на ковре и играл с огромной датской собакой.

— Здравствуйте, Иван Андреевич, здоровы ли вы?

— Ваше величество!

Крылов поклонился, мотнув головой. И, еще раз мотнув головой, двумя руками протянул императору наскоро сделанный список своей давней, детской почти, трагедии «Клеопатра», которую когда-то два дня подряд разбирал с ним Иван Афанасьевич Дмитревский, исчисляя его ошибки против драматических правил, и после, похвалив, присоветовал трагедию сжечь: не донес бы кто. Но он не сжег, а припрятал подальше — и вот пригодилась.

Взглянув на заглавие пьесы, на имя распутной египетской царицы, Павел Петрович заговорил о развращении нравов. В чем его

---

* Ну, князь, как я играю свою роль? *(фр.)*.

** Но потише, мой друг, потише! *(фр.)*.

начало? Конечно, в праздности: «лень мать всех пороков». Однако при том уверяют, что праздность есть неизбежное следствие достатка, то есть народного процветания, успехов просвещения и распространения промыслов. Но разве простершая владычество над морями Англия беднее промотавшейся Франции? А между тем не Англия, а Франция сделалась бешеным домом. Отчего? Не от избытка средств, но единственно от недостатка чести. Да, англичанин горд своим отечеством, своим именем, своим домом, а француз готов выставить на позор и на посмешище и народные святыни, и собственное достоинство — и все из чего? — из одного тщеславия. Что стыд, что совесть? Молва — вот идол. Любой ценой выказать себя — вот цель. Англичанин говорит: «Кто у нас беден, тот не заслуживает лучшей участи». Француз кричит: «В государстве есть бедность — свергнем государство!» Англичанин бросит нищему грош из сострадания, француз не даст ничего, но произнесет громовую речь в защиту человечества. Нет, женевский чудак не прав — не просвещение опасно добрым нравам, опасно себялюбие. Разве сам он не пример того, что в его добронравной Швейцарии не меньше просвещения, чем в порочной Франции. Кстати, читали вы знаменитого Лафатера? С какой искренностью он проповедует веру и неустанный труд. Да, это лучшие принципы. Полезная и постоянная деятельность без мысли о блеске собственных заслуг — вот верное лекарство от всех язв порока. Петр Великий работал топором и заступом, а нынышние недоросли отращивают ногти как девицы. Они привыкли нести службу в гостиных, а чины зарабатывать в постели. Довольно! Повыбьем из них потемкинскую дурь! Деятельность, скромность, честность, великодушие, вера — вот основания общего блага. (Взгляд на крыловскую «Клеопатру».) Надо вырывать семена разврата железной рукой и завести отчетливый и строгий порядок, тягостный и бессмысленный для себялюбцев, но спасительный для государства. Кивок на дверь и вполголоса:

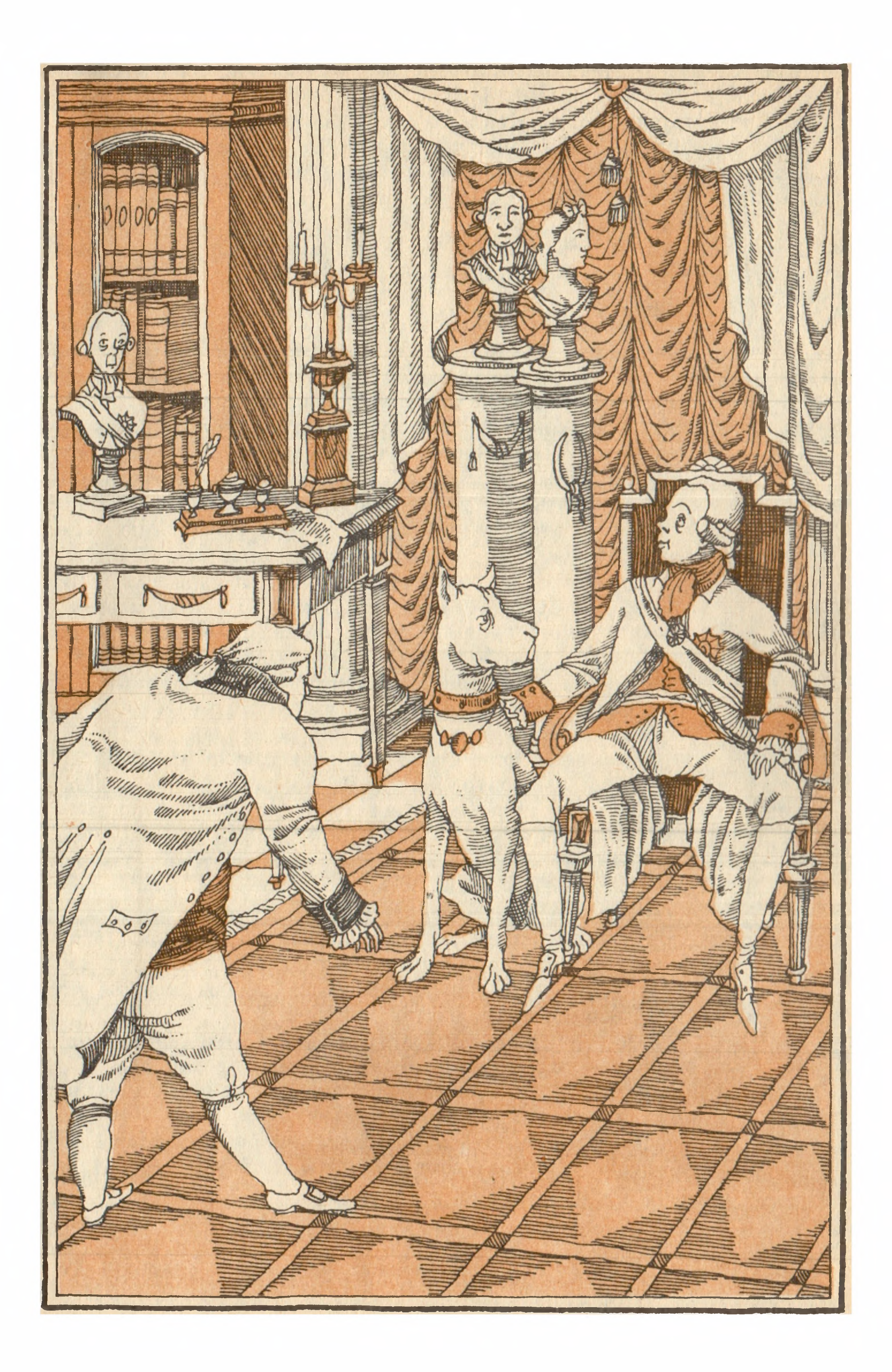
— Многим придется солоно. Баловни и куртизаны минувшего царствования меня невзлюбят, я знаю. Пожалуй, они и убьют меня. Но я не из пугливых. Я не отступлю. Или я спасу Россию и Европу, или паду мертвый.

И тут император заговорил о будущей войне. Не ради завоеваний, не для покорения чужих племен, а ради ниспровержения царства гильотины, ради водворения мира и порядка. Ни государям, ни народам нет спасения иначе как в умеренности и скромности. Он надеется, что эта война станет последней. (И вдруг, взяв за плечо, по-приятельски.) А не хочет ли Иван Андреевич писать историю этой войны? Расин, хотя и очень боялся выстрелов, был при осаде Монса историографом Людовика XIV.

— Ваше величество, в Намюрском лагере все издевались над его неловкостью и трусостью.

Император засмеялся лающим смехом, собака весело тявкнула.

— Да, для строевой службы поэты не годятся. Но вас я определю частным секретарем к одному из моих главнокомандующих — к Михельсону либо Голицыну. Вы славно отделали нас в сатирах, покажите-ка теперь наши доблести. Мне по сердцу ваш слог.



Крылов в знак поклона опять мотнул головой, не сгибая спины. Следовало держаться прямо. Императору нравилась прямота. Грубая солдатская откровенность. Никаких ухищрений — в том числе и словесных. Император любил чистую правду. Не находя ее в жизни, лелеял в своем воображении. Император с детства приохотился к мечтаниям. О каких только подвигах ради забытой правды не грезил он, будучи гонимым принцем! Но теперь настало время, когда он мог внедрять справедливость в жизнь, имея под рукой армию и полицию. Император теперь вдохновенно сочинял жизнь — так, как поэты сочиняют повести.

Воображение его было нетерпеливо, резко и даже необузданно. Он без стеснения упразднял в прошлом то, что казалось ему несправедливо. И самовластно назначал будущему, каково оно должно быть. Тех, кто нарочно или нечаянно мешал стройности творимой им картины, он гневно вычеркивал из жизни — ссылкой, тюрьмой, каторгой, а если надо было — саблями, ружьями, пушками. И ради любого из своих прекраснодушных стремлений — например, ради трогательного желания установить в Европе нерушимую тишину и общее согласие — император готов был во всякую минуту уложить на месте тысячу, а то и десять, а то и сто тысяч своих солдат...

Беседуя с императором в Слободском дворце, Крылов видел, что Павел Петрович не просто разговаривает с ним, но на ходу сочиняет сцену беспримерного великодушия государя, подвязывающего крылья молодому дарованию. Освобожденный из сылки, обласканный, удостоенный монаршей доверенности, почти что дружбы, Крылов понимал, что и он сам также был сочинен императором. И он понимал, что, сочинив, император отодвинет его в сторону и тут же позабудет, как позабывает стремительный поэт только что написанную им страницу. Ведь император был не из тех авторов, что подолгу вынашивают в голове и шлифуют свое создание — он импровизировал, он выдумывал с налету, и самый стиль его был весьма небрежен и поражал неприятной пестротой: то в его действиях заметна была ироническая насмешливость и злость (которые напоминали Крылову тон его собственных сочинений), то вдруг он предавался самой слезливой чувствительности (заимствованной, пожалуй, в повестях известного Карамзина)... Император кидался от одного к другому — лишь бы только как-нибудь выдумать жизнь, потому что жизнь не хотела выдумываться ни так, ни эдак.

Осенью 1798 года генерал-от-инфантерии князь Голицын (к которому в качестве личного секретаря был прикомандирован Крылов), не успев еще пуститься со своими войсками за границу, внезапно получил отставку и повеление жить в деревне.

Крылов, конечно, мог остаться в Москве либо в Петербурге, но он предпочел вместе с князем отправиться в ссылку — теперь уже свободно, по собственной воле.

4

Еще не было году, что семейство Голицыных поселилось в Казацком.

Мы приехали туда в сумерки. Бесконечный двор, обнесенный

тыном, в глубине коего открывались деревянные барские хоромы, наскоро выстроенные, а по бокам находились шесть довольно просторных мазанок, вместо флигелей, а сад, разведенный только осенью и представлявший одни только ряды прутьев, и все это занесенное снегом, имело в глазах моих вид мрачный и угрюмый...

Как домашним, так и деревенским хозяйством исключительно занималась княгиня. В благословенной стране, среди роскошной природы, она жила как в пустыне; вокруг были одни крупные поместья, и самые ближние соседи во ста верстах. Все ее навыки, все ее вкусы были старинные, русские. Кому было угождать им, кому было разделять их с нею? Конечно, она бы могла собрать рассеянных в округе шляхтенок, но как их подпустить к себе? В глазах ее они стояли ниже ее служанок. Одна своя семья и живущие с ней составляли ее бессменное, единообразное общество. Поутру она занималась делом, за обедом хорошо кушала (и по большей части одни русские блюда); после обеда она сидела за столиком в софе, как изобразил ее Державин, скука ее одолевала. «Что бы нам делать? — иногда говорила она, — чего бы нам поесть?»

Ф. Ф. Вигель Записки

В Казацкое прибыли уже в позднюю осень. Там по обе стороны барского дома было по три деревянных флигеля, а не мазанки, как говорит Вигель. В одном из них помещалась контора имения; тут же отвели комнату и Крылову... Иногда Крылов давал маленькие концерты для домашних; раз он играл таким образом пьесу известного в то время скрипача Жерновика, и Мария Павловна еще помнит смущение, с каким он начал играть. Карт в Казацком не являлось; сам князь любил шахматы, а Иван Андреевич предпочитал триктрак и часто проводил за ним время с молодым князем Сергеем.

Я. К. Грот
Дополнительное биографическое известие о Крылове

Один раз пришли сказать князю Голицыну, что Крылов так ленив, что решительно только спит все время и имеет привычку до рубашки все с себя снимать. Князь вечером неожиданно к нему пришел. Крылов, услыша князевы шаги, спросонья вскочил in naturalibus и прямо сел к конторке. Князь, увидев его, не мог удержаться от смеху и сказал: «Вот люблю Крылова, вечно за своим делом, жаль только, слишком легко одет». Он сам мне рассказывал.

В. А. Оленина Записные книжки

У княгини Варвары Васильевны Голицыной вдруг издохла ее любимая комнатная собачонка, называвшаяся Милушка.

Увидав на постели скрючившееся недвижное тельце, княгиня схватила его на руки, стала целовать, причитать над ним и плакать. Она рыдала довольно долго, потом внезапно слезы ее высохли. Мысль о том, что еще час назад собака была вполне здорова, а теперь лежит и не дышит, вызвала на сцену жившего тут же в доме немца-лекаря. Он долго осматривал и ощупывал покойницу, прикладывал ухо к ее животу и к спине и, наконец, спросил, не было ли ей нанесено какой-либо обиды или неудовольствия. На это княгиня отвечала, что за час перед сим, сидя с нею на софе в гостиной, Милушка вдруг, остервенясь, кинулась на приехавшего с князем чиновника

(как, бишь, его? Фролов? Крылов?), на которого собака и прежде все ворчала, а тут, когда он подошел поцеловать у княгини ручку, едва-едва не впилась ему в нос и все не могла уняться, так что княгиня велела отнести ее в спальню, чтобы злость ее немного простыла.

Кивнув, лекарь с важностью объявил, что он так и думал, что собака померла от злости, — то есть от задержки испарины, по причине которой с ней сделался удар. Снова приложив ухо к собачьему животу, он сказал, что сердце в ней еще чуть бьется, что она не совсем еще издохла, а лежит в беспамятстве, но что все члены ее в параличе, а потому надежды нет никакой.

У княгини опять показались на глазах слезы. Она вспомнила недавнюю смерть императрицы. Но тут же перед нею встала и курносая физиономия нового императора.

— Чтоб и сам он также издох, — сказала она, имея в виду ни кого другого, как Павла Петровича, потому что император был причиною всех ее несчастий: он купил Корсунь, которую она мечтала купить, он прогнал из армии ее мужа, который был полный генерал (когда княгиня получила о том уведомление, с ней самой чуть не сделался удар), он исключил из службы четырех ее сыновей и все семейство запер в деревне. Княгиня подумала, что ее собачка и впрямь померла от огорчения, но только не за себя, а болея душой за свою жестоко оскорбленную княгиню. Варвара Васильевна вспомнила, что и растрепа-чиновник, которого не взлюбила покойная Милушка, был навязан князю сумасшедшим императором. Врочем, отчего собака так бесилась при виде чиновника, об этом княгиня только теперь стала догадываться.

Чиновник был вполне ничтожным чиновником, каким-то отставным канцеляристом, но при том смешным и вовсе безобидным. Князь привез его для забавы, потому что он это свое совершенное ничтожество умел представлять самым уморительным образом. Этот Крылов был какой-то сочинитель и пресмешно рассказывал, к примеру, как он однажды потерял жилетку из-под фрака, или как явился в гости к приятелю и на извещение слуги, что барина нет дома, сказал: «я подожду», прошел прямо в спальню, разделся и лег отдохнуть, не зная того, что приятель уже съехал с этой квартиры и ее теперь занимал какой-то женатый помещик, и тут жена этого помещика воротилась домой и вдруг увидела в своей постели незнакомого спящего мужчину... Этот Фролов, правда, был всегда заспан, неумыт, неопрятен и вообще вовсе неприличен и, должно быть, именно потому Милушка и взъелась на него. Она не привыкла видеть в гостиной своей княгини подобные лица (княгиня была родная племянница светлейшего Потемкина, сестра упомянутой выше графини Браницкой и даже ее деревенский управляющий был даром что грек, но отставной маиор) и, конечно, в другое время жалкий канцелярист не занял бы столь близкого к княгине места. Само его появление в доме, как думала теперь княгиня, дало почувствовать преданной собачьей душе всю глубину постигшего семью несчастья — и нежная Милушка не снесла присутствия подле княгини какого-то жалкого Крылова.

Так думала княгиня. И ошибалась в своих предположениях.

Обстоятельства гибели ее комнатной собачки были несколько иные. Но чтобы рассмотреть их в истинном свете и с тою подробностью, какой они заслуживают, придется немного отступить назад — к той минуте, когда княгиня еще не получила от мужа записку, где говорилось, что он сдает начальство над своим корпусом генералу де Ласси и скоро в сопровождении фельдъегеря явится в деревню.

Почтовые дни бывали раз в неделю, по пятницам, и за почтой ездили к почтмейстеру в Корсунь. Княгиня всегда нетерпеливо ждала возвращения садовника Петра, привозившего письма. В тот день она была особенно беспокойна, потому что князь уже пропустил три почты кряду и это могло означать какую-то неожиданную помеху в его делах, какую-нибудь неприятную перемену обстоятельств. И когда Петр, поклонившись, протянул пакет, княгиня распечатала его так поспешно, что даже надорвала край письма, сперва заглянула в конец, потом обернула лист и пробежала начало и, не дочитав, скомкала письмо и тихонько и протяжно застонала, что всегда предвещало у нее приступ бешенства. Сжав голову руками, княгиня ходила по комнате и кричала. Когда она наткнулась на чайный столик, стоявший возле софы, и с него полетел китайский прибор, то звонкие возгласы фарфора совершенно потонули в яростных воплях княгини. Они раздавались на весь дом, на весь двор, на весь свет. Княгиня кляла, бранила и просто рычала — пока, обессилев, не упала на софу.

На софе сидела в уголке собачка княгини Милушка — немолодая уже болонка: тоненькие голенастые ножки, черные глазки, черный носик и хвостик бубликом — и во все время, что княгиня гневалась, сочувственно подвывала. Теперь, когда княгиня затихла, Милушка неслышно плюхнулась с софы на пол, подбежала к скомканной бумажке и обнюхала её. Бумажка пахла совсем не так, как те листки, на которых писала княгиня. Бумажка принесла с собою отголосок какого-то далекого, совершенно не домашнего духа — и Милушка поняла, что этот-то неприятный, обидный для княгини дух и был причиною ее буйной ярости. Собака заметила, что ее хозяйка не нюхала записку, что она только глядела на нее и, значит, почуяла враждебный запах глазами. Вообще, как давно выяснила Милушка, люди не умели как следует пользоваться носом, а ловили запахи взглядами — и вот теперь княгиня по одному виду бумажки ощутила близость какого-то своего смертельного врага. Собачьему воображению этот враг представлялся гибким, пружинистым и когтистым — потому что точно такое же остервенение, что накатило на княгиню, накатывало и на саму Милушку, если ее нос оскорблял хотя бы намек на кошачий запах.

Легкий привкус той самой тревоги, что исходила от злосчастного письма, снова защекотал у Милушки в носу и дня три спустя, когда незнакомый офицер привез в деревню князя — супруга Милушкиной хозяйки, — и после, когда один за другим явились откуда-то четверо их взрослых сыновей. Поначалу и княгиня, и все приехавшие, а за ними и все домашние ходили понурые, но, коль скоро несносный дух повыветрился, постепенно повеселели, и жизнь Милушки, видимо, пошла бы по-прежнему, если бы не явившийся вместе

с князем престранный субъект, имевший на взгляд и на нюх определенно человеческий облик, но своими ухватками не походивший ни на одного из известных Милушке людей.

С самого своего младенчества Милушка усвоила, что люди от всех прочих живущих отличаются упорною и непрерывною заботою каждого из них о самом себе — заботою, которая человека мучит и тогда, когда он бывает сыт (запах сытого человека для собаки внятно отличается от запаха голодного, который звучал острее, тоньше, визгливее), и когда ему не грозит опасность быть съеденным кем-либо другим. Все люди, даже будучи веселы и спокойны, в глубине души неизвестно почему чего-то опасались, словно бы в самой их участи лежало что-то ужасное, какая-то грозная тайна, недоступная собачьему уму. Этот-то скрытый страх, видимо, и питал смешное людское самомнение и стремление повелевать, то есть как бы на время переселяться в кого-то другого (в противоположность собачьему стремлению служить и жертвовать собой).

Не две ноги и гладкая кожа отличали в собачьих глазах человека от прочих созданий (на двух ногах ходила и курица, розовой голой кожей могла похвастаться и свинья), но участие всех без изъятия людей в сложном сцеплении прав и повинностей. Ходившей по двору бабой помыкал кухонный мужик, мужиком командовал повар, поваром — пан эконом. Над экономом, а также и над греком-управляющим, над немцем-лекарем и немцем, заведовавшим конюшнею, над французом-гувернером и французом-учителем стояла княгиня. Но и княгиней в ином случае распоряжался меньшой — трехлетний — барчук, баловень и любимец матери. Тогда как за барчуком ходила опять же простая баба, без стеснения браня его и шлепая. И таким образом Милушка решительно не видела вокруг ни одного человека, который бы не был наделен своей, хотя бы самой ничтожной, долей власти. И потому-то приехавший с князем высокий молодой господин показался Милушке существом нелюдской породы, хотя и в людском обличье. От господина пахло едой — вкусной, барской едой, которой был запачкан и замазан его серый дорожный сюртук. Милушка могла бы по этому запаху принять его за повара или лакея, если бы платье не источало характерного аромата тонкого английского сукна, которое было принадлежностью одних господ, из чего следовало, что он не готовил и не носил еду, а уплетал ее за господским столом и уплетал небрежно, роняя крошки и капли на сюртук. И такая неряшливость явно происходила не от какой-либо немочи — тело пришельца дышало здоровьем и крепостью мышц, — но, видимо, просто от беззаботности, которой, впрочем, как будто противоречило нежное амбре, слышавшееся из заднего кармана его запачканного серого сюртука. Но вскоре выяснилось, что противоречия тут никакого нет — приезжий держал в заднем кармане дамский батистовый чепчик, который он неизвестно где подобрал и который непонятно почему шел у него заместо носового платка. Вдобавок верхнее чутье сказало Милушке, что неряха зачастую спит в своем сюртуке, уже года два носит один и тот же галстук, не чистит сапог и вообще преисполнен легкомыслия и беспечности. Не посредством размышления, но только с помощью носа со-

бака поняла, что загадочный господин — не в пример всем прочим двуногим и бесшерстым — вовсе ничего не боится, то есть ни о чем не тревожится и ни от чего не прячется, ни над кем не ищет превосходства и полным отсутствием честолюбия скорее походит на существо звериного, а не людского звания.

Хотя собака не тотчас догадалась, какой именно зверь явился в дом в человечьем обличье, она с той самой минуты, как увидела приезжего, стала подозревать, что он явился, чтобы занять здесь ее, Милушкино, место. Прошло всего недели три и собачьи подозрения подтвердились наихудшим образом.

Если прежде едва ли не всякий день, сидя после обеда на софе и скучая, княгиня подолгу забавлялась с Милушкой, которая то вставала перед хозяйкой на задние ножки, то падала на спину и, поджав лапки, выставляла напоказ свой тугой животик, то замирала, закрывая глаза и притворяясь, будто ее тут нет, чтоб потом вскочить с веселым повизгиванием — если прежде в таких развлечениях они проводили нередко и час, и два, то теперь в послеобеденные часы в гостиной шел общий разговор, душою которого сделался беззаботный гость. Милушке не надо было знать смысла слов, которые он произносил, ей вполне довольно было наблюдать переходы и игру его голоса, чтобы увидеть, что он в разговоре своем принимает чрезвычайно вольные, смелые и вместе смешные позы, эдак затейливо раскидываясь мыслью, и всем своим тоном выставляет себя на посмешище и забаву своих хозяев. На Милушку теперь не смотрели. Милушка стала уже не нужна.

Забытая, отверженная, она с ревнивой пристальностью разглядывала, изучала и оценивала счастливого соперника и внезапно поняла, кто перед нею! И как она сразу не уловила в этом располагающем мягком голосе ненавистной повадки — увертливой, гибкой, лукавой и коварной? как сразу не учуяла, что добродушие тут скрывало холодность, а дружелюбие — острые когти. В этом голосе не было звука собачьей искренности, а лишь одна насмешливость.

Если бы Милушка могла изложить причины своей жестокой неприязни к кошачьей породе, то она прежде всего сказала бы, что ненавидит зеленоглазых за их презрительный нрав. Собачьей прямоте претила всяческая неоткровенность. А коты даже и в самой ласковой игривости оставались презрительны. И вот этим неизгладимым кошачьим духом вдруг пахнули на Милушку затейливые речи приезжего господина. Под человечьей личиной ей почудилась ухмылка великорослого кота (если бы Милушка когда-нибудь видела льва, то, верно, вспомнила бы сейчас именно эту разновидность кошачьих). Дрожа в негодовании и ярости, собака кинулась на оборотня, но на нее прикрикнули, на нее топнули ногой, ей приказали уняться — и так строго, что она не посмела ослушаться и в смущении отступила под стол.

А разговорчивый гость в угоду и потеху окружающим трунил над собой — но тут опять же не было простосердечного собачьего смирения. Когда он приглашал всех посмеяться над собой, то в это самое время он сам смеялся над всеми. И Милушка была в недоуме-

нии и беспокойстве, отчего никто кроме нее не замечает смертельных когтей, спрятанных в мягких лапах. Ведь насмехаясь над собой, лукавец все обращал в смех, все отрицал, все уничтожал — и себя самого, и Милушку, и даже княгиню! И надо было как-то объяснить княгине, что она ужасно заблуждается насчет своего нового любимца, что ее новая Милушка только делает вид, будто чтит власть княгини, а сама не признает никаких властей, ничему не желает покоряться и своей безмерной насмешливостью невидимо возвышается над окружающей жизнью. Предпочтя новую Милушку прежней верной своей телохранительнице, княгиня поступила не только бессердечно, но и весьма неосторожно. Потому как настоящая Милушка любила княгиню и готова была за нее в огонь и в воду, а самозванец всех исподволь презирал и мысленно как бы пережевывал и проглатывал. И не умея различать между мечтательными мыслями и реальными намерениями, Милушка стала не на шутку опасаться, что ее соперник как-нибудь возьмет да и совсем съест легковерную даму, тем более, что аппетит у него, как заметила Милушка, был отменный. И собака теперь ни на минуту не спускала глаз с людоеда, чтобы при надобности кинуться на защиту неблагодарной своей хозяйки.

Однажды посреди чрезвычайно игривого разговора, когда злодей по своему обыкновению в каждом слове так соединял почтительность и дерзость, что дерзость нельзя было отличить от почтительности, а почтительность от дерзости, он вдруг потянулся к княгине и взял ее за руку якобы с намерением поцеловать, хотя на деле, конечно, намереваясь откусить ее. И тут Милушка подпрыгнула, чтобы впиться ему в горло, но промахнулась и повисла на галстуке. Если бы губитель был человеком, а не оборотнем, он бы, конечно, закричал или, по крайней мере, отшатнулся. Но насмешник ничего такого не сделал. Он только осторожно взял Милушку за шкирку, отодрал ее от себя вместе с куском галстука и, говоря что-то ласковое и шутливое, отдал ее княгине, а та велела горничной девушке отнести собаку к себе в спальню.

Оставшись одна в полутемной комнате, слыша говор и смех, доносившийся из гостиной, и глядя как за окном ветер гнал снежную пыль, то мелко-мелко рассыпая ее над садом, то закручивая в жгуты, хлеставшие по деревьям, шуршавшие по кровле дома, а после улетавшие куда-то далеко, под самые небеса, Милушка почувствовала неизъяснимую тоску. Она увидела свое бессилие перед очевидной бессмыслицей людского поведения. Она поняла, что эта странная бестолочь сильнее не только ее, но и дюжего барского кучера Никиты, и даже князя, и даже самой княгини (повелевавшей во всех известных Милушке областях). А пересиливал и превозмогал ее двуногий лев, розовощекий демон, не знавший той тревоги, что мучила весь людской род, не знавший обыкновенного людского божьего страха. Милушке показалось, что если бы она сама узнала, что значит этот страх, то тогда смогла бы обезвредить и подчинить приличиям отставного чиновника Крылова.

Неимоверное желание почувствовать жизнь не по-собачьи, а по-людски, заставило Милушку напрячь в страшном усилии все

ее душевные и умственные силы. Сердце ее застучало так, как стучит огромное мельничное колесо, что гонит вперед целую реку, кровь потоком прихлынула к ее голове, и в Милушкином мозгу родилось уже нечто похожее на слово «смерть», но тут свет помутился и померк в собачьих очах, черноносая болонка коротко тявкнула, дернула лапками и замертво упала на постель.

5

Пушкин говаривал, что сильную игру надобно отнести в разряд тех предприятий, которые, касаясь, с одной стороны, близкой гибели, а с другой — блистательного успеха, наполняют душу самыми сильными ощущениями, всегда увлекательными для людей необыкновенных. И это изъяснение нисколько не облагораживает приверженцев к игре... Как бы то ни было, но Крылов заплатил дань и этой слабости. Он отыскивал сборища, в которых предавались игре с самозабвением. Он готов был съездить в другой город, ежели узнавал, что там найдутся товарищи по игре.

П. А. Плетнев
Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова

Нельзя сказать: он играл в карты; он жил ими, он видел в них средство разбогатеть. Он отыскивал сборища игроков и проводил с ними дни и ночи. «Стыдно сознаться, — говорил он впоследствии Н. И. Гречу, — я ездил по ярмаркам, чтобы отыскивать партнеров».

В. Ф. Кеневич Иван Андреевич Крылов

Нам известно, что Крылов был страстный игрок в свое время; впрочем, полно, страстный ли? Как-то не верится, чтобы страсть могла пробиться в эту громадно-сплоченную твердыню. Играл он в карты, вероятно, также по хозяйственным расчетам ума. Бывал ли он влюблен? Бывал ли он когда-нибудь молод? Вот вопросы, которые хотелось бы разрешить.

П. А. Вяземский
Приписка к статье «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева»

На возвратном пути из своей саратовской деревни в Москву, неподалеку от Нижнего, на постоялом дворе, Николай Михайлович Карамзин неожиданно повстречал старинного знакомца.

Пока перепрягали лошадей Карамзин велел подать себе обед. В горнице кроме хозяйки, накрывавшей на стол, никого не было — только в отворенную дверь виден был проезжающий, который, лежа в постели, метал банк гусарскому офицеру.

Физиономия банкомета показалась Карамзину примечательна. Пока банкомет тасовал колоду, Карамзин определенно вспомнил, что где-то уже видел это широкое лицо с широким лбом, широким носом, широким ртом, несколько выпяченной нижней губой и гривою нечесанных волос.

Банкомет словно полководец, утвердивший свою ставку на холме, высящемся над полем, взирал с высоты перины на лавку, где рядами

развертывал он свое бумажное воинство — точно как солдат, идущих на сражение. Карамзин тем временем глядел на косматую львиную гриву, на большие обветренные руки, на истертый, замызганный халат проезжающего, и когда проезжающий, не глядя на гусарского офицера, спокойно сказал:

— Убита! — и сунул в карман гусарские деньги, Карамзин мысленно воскликнул: «батюшки!» и понял, что перед ним никто другой, как известный некогда журналист и сочинитель, и давний его неприятель — подумать только, что когда-то он, не шутя, казался ему грозен! — что перед ним сильно постаревший, отяжелевший и раздавшийся вширь Крылов. Они не виделись лет десять, с тех пор, как Крылов за какие-то карточные проказы был выслан из Москвы, но, глядя на это обрюзгшее и многолетней, казалось, спячкой заспанное лицо, можно было вообразить, что минуло все двадцать.

Гусарский офицер поставил еще карту.

Банкомет не подымал глаз от колоды, а Карамзин все взглядывал на него, дивясь разительной перемене, происшедшей в этом человеке, — и более всего тому, с какою неотвратимостью случилось именно то, что должно было случиться! Желаете ли поглядеть, господа, к чему ведет употребление поэзии в практических целях — пусть даже самых благих и справедливых — это самонадеянное низведение божества на землю, эти наивные расчеты исправить нравы мечтательными доводами общественной пользы. Верите ли теперь, что все это необходимо оканчивается закапыванием души в грязь, мертвенною скукою, наподобие той, что англичане именуют «сплин», то есть сугубым разочарованием в человечестве? Так вот и решайте, господа, стоило ли замахиваться на обновление рода людского, чтобы после держать банчок на постоялых дворах...

— Убита! — опять сказал Крылов и снова спрятал деньги в карман.

Гусарский офицер снова поставил карту.

Карамзин мог видеть только затылок офицера, однако и по затылку было ясно, что гусар теперь не остановится до тех пор, пока не продуется до копейки... Карамзину представилось, что офицер играет не на свои, а на казенные либо артельные, и что руки его так дрожат, когда он тянет карту из колоды, оттого, что уже нынче, может быть, ему придется выбирать: бесчестье или пуля в лоб.

За все эти годы Николай Михайлович всего раза два-три слыхал о Крылове — в Москве говорили, будто Крылов живет в деревне у известного князя Голицына, потом по городу стала ходить в списках сочиненная Крыловым пресмешная фарса, где, между прочим, были обращены в бессмыслицу и представлены в самом шутовском виде коренные основания отечественного быта: и Старая, и Новая Россия, и самодержавное просвещение, и патриархальная старина, и немецкая регулярность, и российская расхлябанность — и все это было высмеяно весьма хлестко, все обжигало, но не благородной горячностью, а какой-то морозной, ледяной иронией.

Потом говорили, будто Крылов живет при князе в Риге, а потом он и вовсе куда-то сгинул и о нем не стало уже и помину.

— Убита!

Гусарский офицер поставил еще карту.

Воображению Карамзина представилась глухая степная деревушка и старуха-помещица — запорошенный табаком нос и миткалевый передник, — у которой только и заботы, что по крохам собирать сыну на пропитание и на экипировку: служба в кавалерии не дешева, а доходу от имения никакого...

Легко можно было предсказать, что счастие так и не переменится к гусарскому офицеру. Карамзин по опыту знал, что злой рок любит преследовать методически. На него, на Карамзина, судьба ополчилась с давних пор: сперва эта долгая и бессмысленная опала из-за его сношений с мартинистами, а там — когда черное облако над его головой, казалось, начало рассеиваться — внезапная смерть жены его, Лизаньки. И вдобавок расстройство имения от вечных недородов; близкая уже старость и грозящая бедность. Другого эти вечные гонения судьбы свалили бы с ног, но не с Карамзиным ей было тягаться. Огорчениями он пренебрегал, а несчастия побеждал, отдавая им без боя всю свою здешнюю жизнь, а сам отступая во внутренние пространства собственной души, заманивая злую судьбу в те области, где он был сильнее ее — в край милых воспоминаний, в горние дали высоких размышлений. Здесь вся земная мощь не могла стеснить свободы его яркого воображения. И, отступая под натиском бед, Карамзин вздумал остаток своих дней посвятить сочинению русской «Истории», сделать народные предания своими домашними преданиями, чтобы история стала частью собственной его внутренней жизни, возвышая и как бы все более расширяя, уравнивая эту отдельную жизнь с общей, всемирной...

— Убита!

Гусарский офицер перемусолил ассигнации в своем бумажнике. И поставил еще карту. Картонная гвардия фортуны с вахт-парадной ловкостью дифилировала из рук банкомета на лавку. Карамзин всматривался в искусное мелькание небрежных и грубых крыловских рук и думал, что азарт — как и всякую страсть — можно поэтически сравнить с дневным светилом, ласково греющим туманные и чувствительные души, — так, как солнце нежит лесистые долины, и в то же время иссушающим души цельные и грубые, — вроде того, как летний жар опустошает его родные саратовские степи, оставляя по себе неприветную, спекшуюся, словно в печи, землю.

— Запрягают! — объявил вошедший слуга.

Карамзин встал. В голове его мелькнула голубоглазая красотка, златокудрая невеста, что завтра будет поджидать своего гусара где-нибудь в Ардатове, в Арзамасе или в Нижнем, поминутно выглядывая из окошка на улицу... Печальна выходила эта российская повесть и горестная была ее развязка: сегодняшняя встреча двух давних врагов, двух фантазеров — европейского путешественника и русского странника — на степном постоялом дворе. Развязка была, пожалуй, и несколько натянута, зато и неожиданна, и решительна. Безмерно плодовитый сочинитель, судьба ведь вечно грешит пристрастием к случайным обстоятельствам.

Карамзину представилось: он входит в соседнюю горницу, а Кры-

лов при виде его, безо всякого смущения или хотя бы удивления, говорит с улыбкой:

— Вот ведь, Николай Михайлович, куда я попятился, а вы меня и тут отыскали!

И тогда он должен будет отвечать:

— Помилуйте, сударь, я вас не искал. И, сказать по чести, никак не думал, чтобы это были вы.

— По чести, — кивнет Крылов, — я и сам этого не думал.

И повернется к гусарскому офицеру:

— Желаете еще поставить?

Карамзин вышел на крыльцо. Сеял мелкий дождь. Ямщик уже устроился на козлах. Карамзин застегнул кожаный фартук брички и стал глядеть сквозь узкую прорезь на просторные осенние поля, медленно открывавшиеся ему навстречу.

Каждому свое.

Бывшему Крылову, а ныне трактирному игроку — скитания по большим дорогам, беззаботность и легкий хлеб бродяги.

Будущему Карамзину, а ныне смиренному летописцу — затворничество в кабинете и славный, но долгий труд великого писателя.

6

Лев Андреевич рассказывал о своем походе. 1799 года 12 января войска, находившиеся в Херсоне, получили приказание от генерала Германа немедленно выступить в поход; «но как была некоторая неисправность в рассуждении обоза да и у многих офицеров ни лошадей, ни повозок, то и промешкались до 22-го. Сего числа поутру в 8 часов помощью божиею выступили. Надобно сказать тебе наперед, что у меня перед этим временем не было ни полушки денег, а кормили меня товарищи, с которыми я жил в одной казарме. Хотя у меня и была маленькая повозчонка, но ни лошади и ничего больше; а без денег в походе пренегодно. Занял я 30 рублей у батальонного начальника в счет жалования и, таким образом кое-как собравшись, потащился, сам пешком и во весь поход шел пеший... Вообрази себе, любезный тятенька, что я, не ходивши никогда, и 20 верст пешком, а тут с утра была оттепель, снегу выпало по колено», потом сделался жестокий мороз, «я же шел в штиблетах, повозки все отправили вперед; мне кажется, я бы совсем околел, если бы, к счастью моему, повозка моя не остановилась; однако же я со всем тем так сильно отморозил ноги, что до самого Бору болели, целый месяц».

Из последующих писем видно, что Лев Андреевич вел журнал во время своего Итальянского похода и по частям доставлял его брату; к сожалению, он не весь сохранился. Небольшой отрывок (один почтовый лист) дает, однако же, понятие о том, в каком роде был этот журнал. Здесь означены время всех переходов, местечки. города, несколько общих замечаний сделано о каждом.

В. Ф. Кеневич
Материалы для биографии И. А. Крылова

Когда Орловский мушкетерский полк, где служил Лев Андреевич

Крылов, вернулся из похода в Италию и стал на постой в Серпухове и ближних слободах, Иван Андреевич написал Льву Андреевичу, что непременно приедет с ним повидаться. Прошло однако еще около года, прежде чем старший брат навестил младшего.

Иван Андреевич привез в подарок Левушке золотые часики с эмалью и енотовую шубу, а Левушка неотрывно глядел на тятеньку (как с детства привык называть старшего брата) и, видя перед собою это сильно переменившееся за время долгой разлуки, как бы наново переделанное, переправленною жизнью лицо, ясно различал просвечивавшие сквозь теперешний облик прежние молодые, привычные ему черты. И думал не о часиках и не о шубе, и даже не очень радовался теперешнему братцу Ивану Андреевичу, который только мелькнет и снова уедет, а счастлив был нахлынувшими воспоминаниями: братец появился перед ним словно зеркало, в котором Левушка вдруг увидел себя давнишнего — того, что жил когда-то под одной кровлей с братцем-тятенькой, а после юнкером по воскресным дням прибегал к нему в типографию и всегда получал пятак или даже гривенник на любимые леденцы и медовые жемочки, которыми лакомился, сидя в уголке возле печки и слушая громкие беседы брата с умными его приятелями из офицеров, чиновников и актеров. И, глядя на себя прежнего, на себя, оставшегося в тех невозвратимых годах, Левушка и печалился, и умилялся, а при мысли о маменьке Марье Алексеевне и о нежной Лорхен слезы навертывались у него на глаза...

Должно быть, вся неделя, что пробыл у Левушки старший брат, пролетела бы как вереница частых, но легких вздохов, если бы резкий нагловатый смех капитана Шкурина не вернул Левушку из минувших времен в настоящие.

Левушка с тятенькой шли по улице, когда капитан, завидев тятеньку, вдруг остановился и закричал:

— Бог ты мой! банкомет! здорово, брат! что смотришь? не признал?

— Как не узнать, — спокойно отвечал Иван Андреевич, нисколько не удивившись, впрочем, такому приветствию.

— Мастерски, однако, ты меня тогда подцепил, — бессмысленно хохотал капитан, — ну, брат, где нынче раскинул свои сети?

— Нынче я не играю, — сказал Иван Андреевич и пошел дальше.

Но таким образом Левушке стало известно, что его тятенька давно уже не служит у князя Голицына, а ездит по ярмаркам, держит банк и живет карточной игрой. Левушка не стал ни о чем расспрашивать, а братец ничего не объяснял, только заметил, что ремесло его хлопотно и утомительно, потому как иной раз приходиться метать банк далеко за полночь: сон клонит, глаза слипаются — а мечи без устали.

Лев Андреевич всегда презирал игроков, а игроков трактирных и ярмарочных, наравне с содержателями игорных домов, называл вампирами и полагал всех их достойными каторги. И в то же время писателей — учителей рода людского — в особенности тех, которые бесстрашной насмешкой изобличали дурные нравы, Левушка (на-

слушавшись когда-то разговоров в тятенькиной типографии) относил к числу благодетелей человечества. И теперь, узнав с какой высоты и в какую бездну низринулась душа его братца-тятеньки, Крылов-младший почувствовал слабость во всем теле и дурнотную истому вроде той, что чувствовал всякий раз, когда со скользкой тропинки где-нибудь на пути через хребет Росшток в Муттенскую долину или потом на пути через гору Ринген-Копф к Иланцу, шедший впереди, иногда в двух шагах от него, солдат, оступившись, срывался в пропасть и мгновенно исчезал из глаз, и только его отчаянный крик, все удаляясь, подавал последнюю весть о несчастном.

Идучи за Суворовым через Альпийские горы, Левушка и сам раза три чуть-чуть не полетел с кручи, и смерть то камнем, то пулей пролетала возле него. Чудом не замерз он, ночуя на снегу на перевале за Эльмом, когда к утру вдруг сделалась ужасная стужа; едва не помер с голоду, когда за Гларисом в его ранце остались только крошки от сухарей. Но чем бы ни кончил солдат в бою, на походе или еще где, он все-таки как жил, так и помирал в службе, слагая голову и покладая живот за царя и отечество (и не важно, что цари все были разные: сперва матушка-государыня, потом государь Павел Петрович, которого, как сказывали, придушили подушкой, а нынче вот император Александр Павлович) — солдат и жил, и помирал не ради себя, а за других — таков был солдатский долг.

Службою совершенно наподобие солдатской, как ясно понял теперь Левушка, было и занятие писателя, только писатель-то должен был служить не царям, а человечеству и служить не телом, а душою.

Что произошло с душой братца Ивана Андреевича? Отчего с высот духа пала она на самое дно людской жизни? И не расшиблась ли, уцелела ли в своем падении?

Левушке представлялось, что опасности и тяготы, что выпадали ему самому в стычках с неприятелем, среди чужой страны и дикой природы, во всем подобны тем, что сносил братец-тятенька, который в точности так, как солдат, защищающий свое знамя, отстаивал права или притязания Поэзии посреди обыкновенной жизни. Людские предрассудки желали убить тятенькину душу или хотя бы обезоружить ее и покорить себе, то есть взять в плен, и что же оставалось делать душе, если она не хотела сдаваться? Отгородиться от жизни как крепостными стенами вечным одиночеством? Либо пуститься по таким каменистым, холодным пустыням, по таким скользким и обрывистым козьим тропам, на которых противнику уже и нет надобности ее преследовать, потому что в одной из коварных расселин она неминуемо должна погибнуть сама?

Левушке думалось, что те невзгоды, которые он испытал, и те опасности, в которые он вдавался (например, при отступлении армии к Клентальскому озеру, когда арьергард сдерживал натиск французов и вдруг генерал Ребиндер закричал: «Ребята! у нас отняли пушку! за мной!» — и Левушка впереди своей роты, размахивая шпагой, как бешеный побежал на синие мундиры), — Левушке теперь собственные его подвиги казались смешным ребячеством рядом с великою жертвою его тятеньки, принявшего, подобно святым

страстотерпцам, добровольную муку, предавшего себя позорной и жалкой участи трактирного игрока, чтобы по-суворовски пробиться через непролазную глушь, холод и жестокость самых печальных окраин жизни и на этом отчаянном пути сберечь незапятнанной честь солдатского знамени, — достоинство Поэзии.

Левушке подумалось, что тятенька явился к нему именно так, как солдат приходит на зимние квартиры, для отдыха от ратных трудов. Должно быть, подобно Левушке, братец-тятенька тоже отдыхал, утешался и набирал сил, когда влюбленные глаза младшего братишки глядели на него давним детством. И от сознания, что он так нужен братцу Ивану Андреевичу в его великой, святой жизни, Левушка проникался нестерпимой нежностью к брату, какой-то грустный восторг переполнял его. И однажды, когда капитан Шкурин в приятельской компании заметил, что, мол, держать банчок это не так что-нибудь, а главное тут дьявольское спокойствие и вообще надо быть порядочной бестией, — когда он это сказал, то кроткий и робкий Левушка, тихоня и добряк, над смирным нравом которого капитан Шкурин вечно потешался, называя его не иначе, как Сивым Старцем, — этот размазня вдруг вскипел, страшно переменился в лице и с явной дерзостью и вызовом обратился к Шкурину:

— Вы, сударь, извольте! И вперед не советую! А сейчас потрудитесь!

Ввиду чего капитан Шкурин, никогда и ни перед кем не пасовавший и вторым перебежавший через Чертов мост (следом за майором Мещерским), тут совершенно опешил, недоуменно пожал плечами и примирительно отвечал:

— Экой ты, брат, дурак! Я же говорю не в прямом смысле, а в смысле нравственном. Иносказательно.

Тогда как Левушка поджал губы и промолчал.

В 1782 году во время своего европейского вояжа молодой великий князь Павел Петрович, посетив в Цюрихе знаменитого Лафатера, беседовал с ним об усовершенствовании человеческой натуры и, между прочим, спросил:

— Как вы полагаете, сударь, гневен ли я?

— Да, сударь, — отвечал догадливый физиономист, — и в наивысшей степени. У вас достаточно причин следить за собой.

— Как вы это увидели?

— По вашим глазам. По их рисунку и цвету.

— Весел ли я от природы?

— Природа создала вас веселым. Но вы легко впадаете в глубокие бездны от застенчивости, которая близко граничит с отчаянием. Вам следует научиться пресекать многие ваши дурные причуды.

— Все это удивительно справедливо, — радостно сознался великий князь, — вы совершенно правы.

И чем охотнее впоследствии — в особенности сделавшись императором — он отдавался во власть своих дурных причуд, тем умильнее были его воспоминания о цюрихском провидце, разглядевшим за его всегдашней вспыльчивостью доброе сердце. И, когда, почти двад-

цать лет спустя после их встречи, русские войска отправлены были в Швейцарию, император послал генералу Римскому-Корсакову приказание, дойдя до тех мест, где живет знаменитый Лафатер, приставить к дому философа сальгвардию, то есть охрану, и вообще позаботиться, чтобы ему не было причинено никакого беспокойства, а также предложить ему на выбор русский орден, чин или пенсию.

Однако скакавший с этим приказанием курьер еще не доскакал до австрийской границы, когда французы напали на стоявший перед Цюрихом русский корпус и заставили его отступить. Узкие улочки города запрудили войска и громоздкий обоз. Французские ядра косили людей и разбивали повозки, ряды смешались, стройные батальоны превратились в беспорядочные толпы. Прикрывавшие отступление гренадеры генерала Сакена, дрались отчаянно и порою сами ходили в атаку, но когда неприятель подкатил пушки к Баденским воротам, разнес их в щепу и ворвался в город, русский арьергард был рассеян. Сражение разбилось на множество мелких стычек и напоминало теперь дикарский обряд, в котором синие мундиры изображали охотников, а зеленые — загнанных зверей. По улицам там и сям раздавались выстрелы, крики и стоны, а по реке Лимате поплыли в Цюрихское озеро трупы — жертвоприношение видневшемуся за озером каменному идолу-дракону.

Городские жители заперлись в домах и многие спустились в погреба. Но знаменитый Лафатер вместо того, чтобы переждать тревогу в укромном уголке или, вопреки происходящему, привычно прильнуть к конторке и записывать какие-нибудь новые доказательства в пользу своей любимой мысли о вполне родственных, семейных, сыновних отношениях всякого смертного к господу богу, — вместо этого почтенный богослов отправился под пули — подбирать раненых.

Впрочем, Лафатер и всегда с превеликой готовностью и даже с каким-то одушевлением бросал кабинетные труды, чтобы своими руками прикоснуться к самым последним — отталкивающим и мучительным — людским страданиям. Словно бы ради светлого смысла жизни ему непременно надо было все время стоять лицом к лицу с бессмысленной темной ее изнанкой.

Сопровождавшие Лафатера двое молодых людей тащили носилки, на которые они грузили истекающих кровью солдат и относили их в сад лафатерова дома, где было устроено нечто вроде госпиталя.

Выстрелы и крики, казалось, стали отдаляться, когда из-за ближнего угла выскочил совсем молоденький русский офицер — без шляпы, с прилипшими ко лбу русыми волосами и с пустыми руками: без шпаги, без пистолета. Он метнулся вправо, потом влево, потом опять вправо и понесся вниз по узенькой улочке. И тут же следом за ним выбежали навстречу Лафатеру двое французов — один заорал русскому офицеру: «стой!», а другой поднял винтовку и прицелился.

— Не сметь! — очень громко и внятно сказал Лафатер и встал прямо перед дулом винтовки.

Француз выстрелил.

Высокий старик, одетый в черный пасторский сюртук, сделал шаг

вперед, затем низко наклонился и упал на бок. Убегая, француз с изумлением заметил на совершенно черном пасторском сюртуке пятно еще гораздо чернее черного.

Знаменитого Лафатера уложили на забрызганные солдатской кровью носилки.

— Бог видит, как я рад, — сказал старик.

Лицо его сделалось бледно. Непомерно длинный нос приобрел совершенное сходство с птичьим клювом. И суровая орлиная физиономия вполне отчетливо проступила из-под приветливого пасторского обличья.

В зависимости от того, где квартировал полк, которым командовал зять Катерины Алексеевны Константиновой, она все переезжала с семейством сестры из одного города в другой, когда же, наконец, первенцы подросли, для их воспитания Софья Алексеевна поселилась в Петербурге, в старом доме у Пантелеймона. Однако муж то и дело требовал ее с младшими детьми к себе, и тут Катерина Алексеевна оставалась с племянником Сашей и племянницей Катей заместо матери. Она всегда после обеда сидела с ними в классной комнате и вышивала на пяльцах, пока они готовили заданный учителем урок, она целовала их в лоб, когда перед завтраком они приходили здороваться и когда перед сном приходили желать доброй ночи. На масленой неделе она ездила с ними под балаганы поглядеть на карусели и на бродячий зверинец. Она даже позволяла им покупать у разносчика копеечные калачи и самим отдавать их слону из рук прямо в хобот, такой ужасный своей огромностью и силой и вместе такой жалкий своим видом несчастного обрубка. Катерина Алексеевна всякий раз бледнела со страху, когда извивающееся бревно нависало над детской головкой. Но слон осторожным и ловким движением слепого перенимал калач из маленьких пальчиков и тут же воровато совал его в пасть, точно за пазуху. И тогда Катерина Алексеевна смеялась вместе с детьми.

Комнату свою она никогда не запирала, и племянники вечно шарили по всем ящикам и ящичкам ее старинного комода, наполненного презабавными вещицами. Тут были косоглазые усатые китайцы, церемонно качавшие фарфоровыми головками, до невозможности нарядные бисерные кошелечки, прохладные на вид черные лаковые коробочки и печально-переливчатые перламутровые пуговицы. Детям дозволялось со всем этим играть и все трогать, кроме небольшой резной шкатулочки, которая стояла в самом верхнем ящике комода и всегда была заперта. Недоступность шкатулочки казалась таинственна, и это очень занимало десятилетнего Сашу.

Однажды, увидав забытую тетушкой на столе связку ключей, он тихонько пододвинул к комоду стул, вытащил шкатулку и вставил в замок самый маленький ключ... В шкатулке нашлись перевязанная ленточкой связка бумаг, засохший цветок, огарок свечи и золотой медальон, а в нем нарисованный нежными красками портрет довольно толстого и растрепанного молодого человека. Захлопнув шкатулку

и спрятав ее на место, мальчик побежал в детскую, чтобы рассказать об увиденном сестре.

Насчет бумаг, цветка и свечки девятилетняя Катя не знала что и думать. Но о портрете сказала:

— Это, должно быть, тетушкин жених.

Саша крайне изумился.

— А я тебя уверяю, — воскликнула сестра. — Дуняша, я слышала, недавно на дворе рассказывала, что у тетушки был жених, но от любви помер.

— От чего это? — спросил Саша.

Катя поглядела на брата снисходительно:

— Оттого, что очень любил.

Прошло месяца три и как-то раз Саша вбежал к тетушке:

— Ма тант! Я сейчас видел на улице вашего жениха!

Большие тетушкины глаза сделались еще больше.

— Ну того, что у вас в шкатулке.

— Боже мой! — сказала тетушка. — Я так и знала! Это все Дуняша.

— Я тоже сразу его узнал, — кивнул племянник.

— Глупости, — как можно спокойнее возразила тетушка. — Вы ошиблись.

— Честью уверяю.

— Вы не могли его видеть.

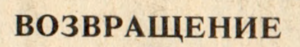
— Но я видел.

— Это невозможно. Его уже нет. Он умер.

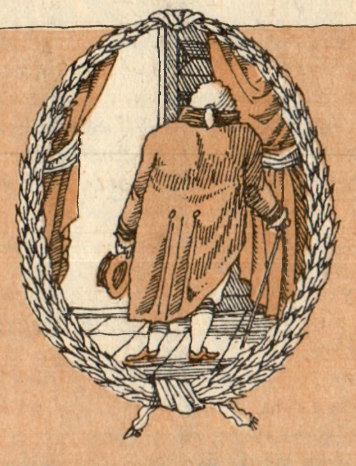
Саша вспомнил недавний случай, когда карета переехала курицу, и дворник Василий, пнув ее ногой, молвил «издохла», но на другой день курица как ни в чем не бывало снова бегала по двору. И Саша сказал:

— Может, он не насовсем умер, а так, немножко? И теперь ходит, но только дохлый?

— Нет, — тетушка даже прикрыла глаза, — насовсем. И, прошу вас, довольно об этом.



ВОЗВРАЩЕНИЕ



Великий человек лишь громок на делах
И думает свою он крепко думу
Без шуму

И. А. Крылов Две бочки

1

Современники Крылова рассказывают, что многие оригинальные басни его написаны были большею частию по какому-либо известному случаю из тогдашней жизни. Известно ли это теперь всем или нет, не знаем, но нельзя не заметить, что чрезвычайно любопытно было бы собрать и объяснить сии случаи, и тогда смысл басен Крылова получил бы особое значение.

Н. М. Колмаков Рассказы об И. А. Крылове

Скажи Крылову, что ему стыдно лениться: и в армии его басни все читают наизусть. Я часто их слышал на биваках с новым удовольствием.

К. Н. Батюшков — Н. И. Гнедичу

И. А. Крылов, собственною рукою переписав басню «Волк на псарне», отдал ее княгине Катерине Ильиничне Кутузовой, а она при письме своем отправила ее к светлейшему своему супругу. Однажды, после сражений под Красным, объехав с трофеями всю армию, полководец наш сел на открытом воздухе, посреди приближенных к нему генералов и многих офицеров, вынул из кармана рукописную басню И. А. Крылова и прочел ее вслух. При словах: «ты сер, а я, приятель, сед», произнесенных им с особенною выразительностью, он снял фуражку и указал на свои седины. Все присутствующие восхищены были этим зрелищем и радостные восклицания раздались повсюду.

И. П. Быстров
Отрывки из записок моих об Иване Андреевиче Крылове

В закопченной русской избе, половину которой занимало немыслимое белокаменное сооружение, напоминавшее старую Бастилию и звавшееся «русская печь», полковник полевой жандармерии Лекурб допрашивал только что захваченного сторожевым разъездом русского офицера. За окном, затянутым рыбьим пузырем, по-зимнему выла русская ноябрьская темень. Такого раннего холода и такого постоянного голода полковник не помнил со времени давнего Швейцарского похода. Тогда французы хотели запереть русскую армию в непроходимых Альпийских горах. Теперь же, напротив, русские старались запереть французскую армию в непролазных Скифских болотах. И потому-то император Наполеон спешил, потому-то он отходил без оглядки или, попросту говоря, бежал, не давая отдыха ни людям, ни лошадям, теряя на пути артиллерию и обозы. Император торопился уйти вглубь Литвы, прежде чем русская Дунайская армия подойдет с юга и преградит ему дорогу. Император более всего желал знать, где теперь находится эта южная русская армия — у Копыси? у Минска? — и об этом допытывались у всех пленных.

В избе стоял полумрак. Свечи давно все вышли и приходилось

довольствоваться укрепленной на эдаком железном пюпитре длинной щепкой, по-русски именовавшейся не то «лачина», не то «лучия». Щепка нещадно дымила и от ее еле живого, больного огонька по стенам и по потолку ходили огромные, черные, бредовые тени.

На столе перед полковником лежало секретное донесение, найденное у пленного русского офицера. Подручные Лекурба, мастера дешифровки, три часа бились над непонятной тайнописью, но так и не докопались до смысла. В бумаге речь шла о каком-то неудачном маневре, — возможно, имелась в виду попытка французов остановить русское наступление под Смоленском — о возможности и условиях мирных переговоров и мирного соглашения, а также о дальнейших действиях в случае провала переговоров, но все это было затуманено непонятными условными обозначениями — такими, к примеру, как «Волк», «Овцы», «Охотники», — и, главное, неясностью насчет того, откуда исходит инициатива мирных переговоров и как относится к ней автор депеши. Можно было подозревать тут подготовку какой-то сложной дипломатической комбинации.

Чтение бумаги, столь важной и вместе столь неопределенной, привело лишь к тому, что от бесплодных потуг постичь ее тайну, от непосильного умственного напряжения, а также и от едкого запаха дыма, у полковника чертовски разболелась голова. Тогда-то он и приказал привести пленного.

— Вы сказали моему адъютанту, — начал Лекурб, — что служите при особе князя Кутузова.

— Да, полковник.

— К кому вы ехали с пакетом?

— К генералу Ермолову.

— Где он стоит?

— За этим лесом. Деревня Усохи.

— О-со-хи, — Лекурб что-то пометил на разложенной по столу большой карте. — А что за бумагу вы везли генералу?

— Видите ли, полковник, — пленный вдруг улыбнулся, — я затрудняюсь объяснить...

— Вам неизвестно содержание депеши?

— Известно. Я даже знаю ее наизусть.

— Что же вас смущает? Князь Кутузов пишет о мирных переговорах. Надо ли это понимать так, что он получил из Петербурга какие-то новые инструкции?

— Нет, полковник. В том-то и дело: тут не инструкции, тут просто стихи.

— Как?

— Я говорю: стихи. Князь Кутузов послал его превосходительству стихи.

— Какие стихи?

— Стихи о волке, который лез в овечий закут, но ошибкою попал на псарню — собаки на него кинулись, а он им говорит: что за шум, друзья, я пришел к вам не ссориться, а мириться... Увы, полковник, этого не передать по-французски...

— Давайте условимся, капитан. Вы все выкладываете начистоту,

а я отпускаю вас подобру-поздорову. Не то вам придется познакомиться с моим капралом Жозефом. Он добрый малый, но вовсе не понимает шуток.

— Я не думал шутить, полковник.

— По-вашему, я должен поверить, что русский главнокомандующий посылает своего адъютанта к корпусному командиру — ночью, в холод, под дождем, за десять лье — и все для того, чтобы переслать ему стишки про волка и овечек?

— Видите ли, полковник, дело не в овечках. Эти стихи третьего дня получены князем из Петербурга. Он читал их вслух, собрав свитских офицеров. Дело в том, что под волком тут подразумевается император Наполеон, а под ловчим — князь Кутузов. Князь читал сам про себя, вы понимаете? И даже не это главное. Главное, что поэт смеется над вашим императором, — не бранит, не клянет, а именно насмехается, — вот в чем соль!

Из всех этих рассуждений полковник Лекурб услышал только то, что таинственная бумага была прислана князю Кутузову из Петербурга. Это подтверждало предположение полковника, что русский главнокомандующий получил какие-то новые указания от своего царя. Быть может, русский царь одумался и согласен на мир? И по этому случаю князь Кутузов рассылает корпусным командирам особым образом зашифрованные депеши?

Конечно, полковник не был вполне уверен в справедливости своих предположений. Но он знал, как рад был бы сейчас император заключить мир. И полковнику смертельно хотелось принести Наполеону счастливую весть.

Глядя на пленного, Лекурб покачал головой.

— Стало быть, русские генералы, подобно влюбленным, посылают друг другу стихи? А где же корзина цветов?

— Да не стихи! — пленный хлопнул ладонью по столу, — поймите же! не просто стихи!

— Вот вы и проговорились, — растягивая слова, усмехнулся Лекурб.

— Послушайте. Это вроде вашей «Марсельезы» — только на русский манер. Это речь свободного человека. Когда вы свободны — вы поете. Когда мы свободны — мы смеемся. Сегодня мы смеемся над вами, потому что гоним вас прочь. И об этих стихах знает уже вся армия. И генерал Ермолов просил поскорее прислать их ему — а я сам вызвался отвезти.

Физиономия пленного отчего-то была неприятна полковнику Лекурбу. Словно бы этот клок русых волос надо лбом и эти большие голубые глаза напоминали ему о каком-то тяжком сне или каком-то давнем постыдном его проступке.

— Позовите Жозефа, — сказал полковник стоявшему в дверях солдату...

А когда на другое утро маршал Бертье показал императору перехваченную шифровку и рассказал, что пленный русский офицер пытался обмануть полковника Лекурба и лгал, будто бы князь Кутузов послал его к генералу Ермолову с какими-то стихами, император пробежал глазами корявый перевод и сказал:

— Это и в самом деле стихи, Бертье. Какая-то притча о Волке, угодившем в западню. Знаете ли исконный русский способ охоты на волков? Они роют глубокую яму с отвесными краями, опускают туда ягненка, а сверху прикрывают яму еловыми ветками — и спокойно ждут пока зверь попадется в яму и погибнет. Какая пассивность, Бертье, какое терпение и какое ужасное упрямство! Русские упрямы вопреки логике, вопреки благоразумию, вопреки очевидности. Упрямство заменяет им чувство чести...

Вошедший в эту минуту дежурный генерал доложил, что русские казаки появились возле Череи. Наполеон склонился над картою, а Бертье спрятал в папку лист бумаги с русскими стихами.

2

Спокойствие, доходившее до неподвижности, составляло первую его потребность.

П. А. Плетнев Иван Андреевич Крылов

В числе рассказов, которые передавал он с одушевлением, особенно помню я воспоминания его о пожарах. Его так всегда занимали они, что не было ни одного из них (разумеется, когда доходила до него весть о том), на который смотреть не отправился бы он хоть с постели. Особенно врезалось в его память единственное зрелище, когда на Неве близ взморья горели камели. Думаю, что по этой причине и описания пожаров в его баснях так поразительно точны и оригинально хороши.

П. А. Плетнев Иван Андреевич Крылов

Был третий час пополудни.

В Лештуковом переулке в Петербурге догорали несколько маленьких домишек и занялся большой двухэтажный деревянный дом, на который пламя перекинулось по дровяным сараям, пристройкам и дворовым флигилям. Мужики стали было разбирать, растаскивать сараи, но не успели — огонь зацепил сперва угол дома, а там уже, как бешеный бурьян, как неукротимое адское семя начал прорастать сквозь окна и стены, везде укореняясь, все оплетая, отовсюду высовывая свои рваные, ярко мелькающие листья и разбрасывая искры, точно спелые, созревшие зерна.

Посреди улицы стояли и валялись прямо на земле разнообразные домашние вещи, которые всем своим видом показывали, что чувствуют неприличие своего положения. Тут были несколько стульев и кресел, клавесин, ломберный столик, печные горшки, ухваты, большая картина в золоченой раме, изображавшая любовь Амура и Психеи, перины, подушки, дамские чепцы, какие-то капоты, подштанники и прочее тряпье, вылетевшее из расколовшегося сундука, еще длинные напольные часы, лежавшие поперек дороги с видом покойника, и множество других предметов.

Возле горевшего дома роилась толпа, преобладающим цветом которой был серый цвет простой холстины, но в него довольно густо были вкраплены всех оттенков ситчики и кое-где зеленое и черное мундирное сукно. Толпа с благодушным и нетерпеливым сочувствием

наблюдала за пожаром, точно за театральной драмой, встречая общим движением и аханьем всякий вновь вырвавшийся из внутренности дома язык огня, подобно тому как публика встречает невольными аплодисментами любую яркую вспышку страстей в поступке или в словах актера. И сходным образом, с тем же страхом и восторгом ожидала и здесь погибельной кульминации и развязки, когда неуклонно взбегающее вверх пламя должно было в своей дерзости охватить, наконец, кровлю дома, взметнуться изо всей силы к самому небу, но, взметнувшись, тут же вдруг и низвергнуться в ад, в черный провал на месте обрушившейся крыши, оставляя по себе едкий запах и трагическую пустоту...

Дело зашло уже достаточно далеко, то есть изо всех щелей уже пробивался дым, когда в окне второго этажа внезапно появился встрепанный человек в ночном колпаке и в халате. Высунувшись на улицу и размахивая руками, он стал звать на помощь. Толпа при виде его дружно выдохнула «ах!», но не сдвинулась с места — словно бы не смея нарушить естественный ход зрелища.

Тут, однако, из-за угла выскочил брандмейстер в медной каске, что-то крикнул подручным и откуда-то появился кусок рогожи величиною с большую простыню. Брандмейстер дал по уху стоявшему рядом мужику, толкнул другого-третьего и двое пожарных и несколько мужиков, взявшись со всех сторон за рогожу, растянули ее под окном.

— Прыгай! — скомандовал брандмейстер человеку в окне.

Тот взобрался на подоконник, осторожно поглядел вниз и отпрянул.

— Прыгай! Не́коли тут! — орал брандмейстер.

Но человек в окне мотнул головою.

— Ты не кричи, — сказал он. — Не смей кричать. Я надворный советник и прыгать не стану. Ты подай мне лестницу.

— Нету лестницы, — возразил брандмейстер. — Прыгай!

Надворный советник опять осторожно глянул вниз.

— Не могу я прыгать, — сказал он. — Не умею!

И тут вдруг увидел в толпе, в первом ее ряду и даже чуть ближе, знакомую фигуру.

— Господин Крылов! — закричал он. — Господин Крылов! Прикажите подать лестницу. Я не могу прыгать. Я в жизни не прыгал!

Человек в халате спохватился, торопливо стащил с головы колпак и отдал поклон.

— Имею честь, — сказал он, — надворный советник Малинин. Служу по удельному ведомству.

Крылов приподнял шляпу.

— Рад случаю, — сказал он.

Крылов, казалось, ничуть ни удивился, что какой-то вовсе неведомый ему надворный советник заметил его в густой толпе и узнал. Крылову давно было известно, что фигура его непременно выпирает из любой толпы.

В городской толчее встречалось немало людей и выше, и толще его. Были, напротив, такие, что обращали на себя внимание худобой или малым ростом, были хромые, кривые либо одетые черт знает как.

Но каждый из них занимал свое, отведенное ему богом место — почетное ли, скромное ли, подлое ли, — однако именно место в толпе, а не вне ее — так же как восклицательные, вопросительные и прочие знаки препинания, не будучи похожи на обыкновенные, рядовые буквы, составляют необходимую часть текста; так же как принадлежат тексту даже опечатки, пропуски и прочие типографские изъяны и погрешности. Но Крылов — Крылов был из числа людей, которые выглядят в толпе припиской, пометой на полях, сделанной господом богом от руки. Он не принадлежал к тексту. Он становился каким-то добавлением, замечанием, возражением в любом сборище людей. И дело было, конечно, не в фигуре и не в одежде. Может быть, в осанке? походке? особенном взгляде и выражении лица? или какой-то неуловимой повадке? Как бы то ни было, Иван Андреевич невольно торчал и посреди пустой, и посреди самой людной улицы. И когда, при виде его, прохожие непременно спрашивали друг друга: «кто это?», то иной раз и находился грамотей, отвечавший: «да это Крылов, что басни пишет», — и таким образом не только басни прославляли своего автора, но и автор прославлял свои басни. И со временем полгорода узнали его в лицо...

— Господин Крылов! — кричал надворный советник Малинин, — велите подать лестницу! Тут мне никак нельзя быть!

И в самом деле, за спиною советника уже клубился дым и серым туманом тянулся из окна.

— А что, братец, — сказал Крылов брандмейстеру, — у тебя ведь должна быть лестница.

— Позабыли, ваше благородие, — виновато развел руками пожарный, — хотели взять, да впопыхах позабыли.

И снова заорал надворному советнику:

— Прыгай! сгоришь!

Видимо, жар в комнате становился нестерпим и надворный советник вылез на подоконник, он даже спустил ноги в шлепанцах, но вниз не глядел и прыгать не собирался. Толпа затихла, затаилась как зрительный зал. Дым все плотнее обвивал надворного советника. Он стал чихать и медленно отодвигаться в угол подоконника, прижался к нему, принялся шарить рукой по наружной стене, желая за нее уцепиться, и тут, наконец, сорвался и полетел вниз. Державшие внизу рогожу, видя, что советник не собирается прыгать, вместе со всеми засмотрелись на его проделки и как будто позабыли, что он может свалиться. И когда он соскользнул с подоконника, они все шарахнулись кто куда, а советник со страху так сильно брыкнул в воздухе ногами, что успел оттолкнуться от стены, описал кривую, перелетел через головы своих спасителей, врезался в землю и остался лежать недвижим.

И тотчас над крышею дома поднялся огненный желто-синий куст, затем крыша с треском провалилась внутрь дома, и густая дымовая завеса заколыхалась над пожарищем подобием театрального занавеса.

— Надо бы лестницу взять, — доверительно сказал Крылову брандмейстер. — Да маиор не велит. Опять, говорит, потеряете. А только раз и было, что потеряли...

Брандмейстер, видимо, собирался рассказать, как именно это случилось, что пропала лестница, но тут заметил, что Крылов глядит на него с какой-то безразличной пристальностью, и брандмейстеру расхотелось рассказывать. А Крылов молча повернулся и медленно пошел прочь, и толпа теснилась и расступалась перед ним. Шел он чуть сутулясь, и при этом его большая косматая голова заметно выдавалась вперед.

3

Тот, кто остается чужд житейских бурь, кто на страсти людей, благородные или пагубные, смотрит с улыбкою презрения, тот не должен иметь их слабостей, а еще менее их предрассудков. Но таковы несообразности в каждом из нас, такое несогласие бывает между рассудком и наклонностями, что не сыщется ныне человека, который бы более Крылова благоговел перед высоким чином или титулом, в глазах коего сиятельство или звезда имели бы более блеска.

Ф. Ф. Вигель Записки

Все видели и знали в нем не только литератора, но этого только литератора уважали и чтили не менее знатного вельможи. Крылов был принят и взыскан в самом высшем обществе, и все сановники протягивали ему руку не с видом уничижительного снисхождения, а как бы люди, чего-нибудь в нем искавшие, хотя бы маленького отблеска его славы.

М. А. Корф
Отрывочные заметки и воспоминания об И. А. Крылове

В доме Алексея Николаевича Оленина Крылов пользовался не меньшею свободой, чем ручные попугаи, которые прыгали по всей комнате и садились то на голову хозяину, то на блюдце с вареньем, то на занавеску.

Попугаев было двое — ее звали Полиною, а его — Полем. Полина была франтиха, модница, кокетка. Раза три или четыре на дню она купалась в миске с водою, после чего подолгу прихорашивалась, устроившись на жердочке. Все перышки у нее были вычищены и выглажены и уложены простеньким, но приятным узорчиком. Поль, напротив, был растрепа и грязнуля — высокий хохол его торчал, точно клок нечесаных волос, из боков там и сям высовывались клочки пуха, и весь его яркий костюм был в постоянном беспорядке. В миску с водой сожительница всякий раз загоняла его пинками и бранью. Он некоторое время качался на краю миски, словно думал, не утопиться ли, но потом, наскоро замочив живот и потрепыхавшись для виду, быстренько вспрыгивал на насест и по-собачьи отряхивался. Полина прихорашивала его и приглаживала, однако, высохнув, он опять становился распустехой. С появлением в доме Крылова попугай, помимо своего официального прозвания, получил еще секретное имя «Иван Андреевич».

Кроме попугаев у Алексея Николаевича Оленина жили в доме две гувернантки-англичанки и француз-гувернер, ходившие за детьми, три дальние родственницы-старушки и воспитанница юная немка Анета

Фурман. Девочка вся светилась каким-то золотистым оттенком, сквозившим и в ее русых волосах, и в голубых глазах, и на румяных щеках, и даже в нежном голоске.

Анета более всех в обширном семействе привязана была к доброй хозяйке дома Елизавете Марковне Олениной и к попугаям, а еще более к Крылову, который был здесь ежедневный посетитель, так что почти жил у Олениных. Анета выросла в Дерпте, среди тамошних немцев, и между светских, блестящих посетителей оленинской гостиной Крылов один напоминал ей родную простоту бюргерских нравов — Иван Андреевич казался Анете чрезвычайно похож на дерптского соседа толстого сапожника Мюллера. Мюллер был приятель ее отца пастора Фурмана и ее крестный отец. Оставшись вдовцом, сапожник все вечера проводил у них в доме. Пастор Фурман назначил сапожника Мюллера церковным старостой, хотя на это место претендовали пивовар Брейткопф и профессор зоологии Шульц. Пастор ввел Мюллера в дом бургомистра Гауфа, который с некоторых пор стал заказывать сапоги для себя и башмаки для жены и дочери только у Мюллера.

Подобным же образом Алексей Николаевич Оленин ввел и Крылова в свою семью и непременно хотел, чтобы Крылов был здесь как родной, — и Крылов не возражал. Оленин определил его на службу под свое начало — сперва чиновником в Ассигнационный банк, потом библиотекарем в Императорскую Публичную библиотеку — Крылов и тут не спорил. Оленин представил его императрице Марии Федоровне и старался, по возможности, приблизить ко двору — Крылов и на это соглашался. Алексей Николаевич заботился о том, чтобы устроить и упрочить жизнь Крылова, оградив его существование сплетением соответствующих общественных и личных связей. И Крылов как будто даже напрашивался на оленинскую заботливость, послушно и беспечно пристраиваясь к тому месту, к которому его пристраивали. Однако, пристроившись где бы то ни было, Крылов начинал вести себя совершенно как дома. Он преспокойно подремывал и посапывал, и даже по временам всхрапывал, сидя в углу оленинской гостиной, нисколько не смущаясь присутствием посторонних дам или каких-нибудь сиятельств. А, скажем, в Императорской Публичной библиотеке во время дежурства он мог улечься на диван и без церемоний захрапеть и, если случался посетитель, которому непременно нужно было получить какую-нибудь книгу, то тогда хочешь-не-хочешь приходилось идти искать сторожа — сторож являлся, будил Крылова и тот, кряхтя спросонья, принимался рыться в шкафу, причем не только в лице, но даже и в спине его выражалось горестное недоумение: не совестно ли поднять человека из-за такой чепухи? И нередко бывало, что бедный читатель начинал переминаться с ноги на ногу, краснел, бледнел и, видно было, сожалел уже и о том, что знает грамоте.

И точно так же сапожник Мюллер непременно укладывался вздремнуть после обеда и кто ни стучался к нему в это время, все уходили ни с чем, потому что стучи-не-стучи, а он наваливал себе подушку на ухо и ничего не слышал — можно было весь дом разнести, он все равно бы не проснулся.

В довершение сходства и Крылов, и крестный Мюллер, оба целыми днями дымили — правда, крестный курил трубку, а Иван Андреевич маленькие сигарки. И еще крестный никогда не вставал из-за стола, не попробовав каждого поданного блюда, и точно такой же хороший аппетит был и у Крылова, который даже и в царском дворце всегда ел за троих и с таким азартом, с такой лихостью, что к концу обеда обыкновенно ел уже только он один, а все другие с любопытством наблюдали, как он это делает.

Когда крестный Мюллер, расфрантившись, по воскресеньям шел в церковь, то матушка Анеты, фрау Фурман, всегда осматривала все ли пуговицы пришиты к его сюртуку и сама повязывала ему галстук. Когда Крылов вместе с Алексеем Николаевичем Олениным собирался во дворец, то его с ног до головы оглядывал сперва сам Алексей Николаевич, а потом Елизавета Марковна пробовала, крепко ли держатся пуговицы его мундирного фрака. В обычные дни Иван Андреевич приходил в засаленном сюртуке, который цветом своим и пятнами смахивал на фартук крестного Мюллера, когда тот садился кроить подметки; что же касается жилетки, то крестный вовсе ее не носил, а у Крылова она всегда съезжала как-то на бок. Но отправляясь с визитом во дворец, Иван Андреевич всякий раз напяливал парадный чиновничий мундир, к которому полагались белые перчатки и черная треуголка с плюмажем.

— Иван Андреевич, а где твоя шляпа? — спрашивал Алексей Николаевич, когда лошади уже стояли у крыльца и пора было отправляться.

— Шляпа?

Крылов осматривался по сторонам и морщил лоб. Оленин тоже вертел головою, а потом кричал:

— Петрушка!

Появлялся Петрушка.

— Сыщи шляпу Ивана Андреевича.

Петрушка обходил гостиную, заглядывал под столы и стулья и даже смотрел по стенам.

— Погляди в прихожей.

Петрушка выходил, потом возвращался и докладывал:

— Нигде нет.

Приживалки, старшая дочь Олениных Варинька, Анета и лакей Петрушка заглядывали во все углы.

— А может, вы без шляпы приехали?

— Да помнится, что была при мне...

Попугаи прыгали по клетке, хлопали себя крыльями по бокам и тоже недоумевали, куда девалась шляпа. Полина что-то бормотала — верно, насчет мужской безалаберности...

— Пора ехать! — говорил Алексей Николаевич.

— Как же без шляпы, — возражал Крылов, — это будет не по форме.

— Возьми мою.

Однако шляпы коротышки Оленина едва могли держаться на крыловском темени.

— Петрушка!

Входил Петрушка.

— Погляди на лестнице.

— Глядел.

— У подъезда.

— Глядел.

— Тогда в нужнике, в чулане, на чердаке, в подвале, у черта в ступе! Чтоб через две минуты была шляпа!

— Где же я ее возьму?

Крылов, наконец, вместе со всеми принимался искать свою шляпу и, когда он вставал с кресла, Анета, всплеснув руками, кричала:

— О, майн гот! Вы на ней сидели!

И все смотрели на большой черный блин, из которого торчали поломанные перья.

Шляпу кое-как приводили в порядок, и Крылов с Алексеем Николаевичем уезжали во дворец. Садясь в коляску, Крылов видел стоящую у окошка Анету — он улыбался ей и, прощально приподняв треуголку, церемонно кланялся.

4

В деяниях Крылова, в его разговорах был всегда один только расчет... Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостоивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел.

Ф. Ф. Вигель Записки

Никогда не замечено в нем каких-либо душевных томлений, он всегда был покоен. Не имея семейства, ни родственных забот и обязанностей, не знал он ни раздирающих иногда душу страданий, ни сладостных, упоительных восторгов счастия семейственной жизни. Сытный, хотя простой обед и преимущественно русский, как, например: добрые щи, кулебяка, жирные пирожки, гусь с груздями, сиг с яйцами и поросенок под хреном, составляли его роскошь. Устрицы иногда соблазняли его желудок, и он уничтожал их не менее восьмидесяти, но никак не более ста, запивая английским портером. По окончании трапезы дома или в Английском клубе, который он постоянно посещал более тридцати пяти лет, или в знакомых домах, он любил по русскому обычаю, отдохнуть и вздремнуть... Домой возвращался он в прежние времена поздно ночью.

Бедности, крайних нужд во вторую половину жизни он не испытывал, всегда имел достаточно для своего содержания, даже по временам достаточно для выполнения некоторых своих фантазий, и чуждый, как нам известно, семейственных обязанностей, он проводил безбрачную, беззаботную, грустную в глазах доброго семьянина, но, по его образу мыслей, счастливую и спокойную жизнь.

М. Е. Лобанов
Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова

Уже четвертый год почти с того времени, как ее двенадцатилетней девочкой привезли в Петербург и она всякое воскресенье молилась в лютеранской церкви, Анета Фурман была влюблена в пастора Альбануса. Пастор был уже немолодой, высокий, плотный,

розовощекий, в прекрасно сшитом пасторском сюртуке и произносил воскресные проповеди таким светлым голосом, что Анета всегда плакала, слушая его, потому что душа ее проникалась от его слов неземной тишиною и взлетала к небесам, где обнималась и целовалась с душою покойной маменьки.

Мать умерла, когда Анете едва минуло одиннадцать, и с того дня Анета в мыслях своих постоянно рассказывала маменьке, что тут делается без нее.

В той самой церкви, где они с отцом плакали над гробом, отец через полгода обвенчался с соседкой фройлен Гебгард и она от этого стала называться так же, как прежде называлась маменька, фрау Фурман. Уже и то, что к фройлен Гебгард попали некоторые маменькины вещицы, например колечко с зеленым камешком, которое маменька носила на среднем пальце, а фройлен Гебгард стала надевать на мизинец, потому что пальцы у нее были толще, — было Анете неприятно, но куда обиднее показалось ей наглое бесстыдство, с которым фройлен Гебгард без спросу взяла и присвоила себе чужое имя и то, что отец на это согласился, а все в городе делали вид, будто верят обману, хотя прекрасно знали, что фройлен Гебгард — это фройлен Гебгард, а фрау Фурман — это фрау Фурман. Но теперь все стали называть соседку именем маменьки только потому, что маменька умерла и не могла всех их пристыдить.

А когда у фройлен Гебгард родилась дочь, бабушка Анеты госпожа Энгель, жившая в Петербурге, забрала Анету к себе. И вот тут-то Анета и увидала пастора Альбануса и стала всякий вечер перед сном подолгу молиться за него, и уже со среды ждала будущего воскресенья, чтобы увидать и услыхать его в церкви.

С бабушкой Анета прожила всего год. Старушка и прежде болела и не снесла беспокойства о судьбе внучки. Сперва она стала заговариваться, потом слегла, а однажды поутру подозвала Анету, погладила ее по головке, поцеловала, велела не плакать и сказала, что в следующий раз поцелует ее уже на небесах. Послали за священником. Анету взяла к себе давняя бабушкина подруга Елизавета Марковна Оленина, и девочка так и осталась жить в оленинской семье.

Когда Анета подросла, возле нее стали увиваться пригожие и ловкие молодые люди, но она не обращала на них внимания, а если замечала на себе слишком пристальный взгляд, то краснела и потуплялась. К ней сватались двое Семеновских офицеров и один поэт, но она всем отказала. Она могла бы, как ее маменька фрау Фурман, вести дом, смотреть за прислугой, угощать приятелей мужа и говорить с соседками о чем-нибудь насущном и дельном: о детях, о приготовлении моченых яблок, о блондах, которые стали носить в Париже. Но она не пела, худо танцевала и, главное, не умела весело болтать с незнакомыми людьми невесть о чем, да еще на хорошем французском языке, как это подобало светской даме, то есть не умела блистать, и оттого попросту робела и боялась Семеновских офицеров, записных аристократов, видя, что они принимают ее не за то, что она есть. Что же касается поэта, то он все твердил ей, что она будет его ангелом, а она отлично понимала, что это

тоже не ее ремесло. В оленинском доме она не встречала никого себе под пару, а потому ничто не омрачало ее влюбленности в умилительного, румяного пастора Альбануса.

Однако с тех пор, как в оленинской гостиной стал появляться Крылов, Анета, садясь неподалеку от Ивана Андреевича с шитьем или с книгой, всякий раз мысленно стирала, гладила и приводила в божеский вид неряшливый крыловский наряд. Хотя на первый взгляд это могло показаться не таким уж увлекательным занятием, но все-таки Иван Андреевич был если не самым важным, то самым почитаемым гостем оленинского дома. И то, что Анета чувствовала себя в силах улучшить его жизненный распорядок и поддерживать его в таком исправленном виде, наполняло ее гордостью. Иной раз ей приходило на ум, что если бы Иван Андреевич к ней посватался, то она, пожалуй, пошла бы за него. И хорошенько бы его причесала, умыла, чисто одела и стала бы готовить ему любимого его поросенка под хреном, гуся с груздями, сига с яйцами, гурьевскую кашу и свиные отбивные котлеты. И что если бы у них родилась дочка, то она назвала бы ее в память маменьки Кристиной...

Со временем эта мысль стала занимать ее все сильней и, в конце концов, она поделилась ею с горничной Глафирой. Та поглядела на Анету задумчиво и покачала головой.

— Нет, барышня, — сказала она, — не возьмет он вас. С молодою женой хлопот много, а они хлопот не любят. У них актерка есть.

Последнее замечание было для Анеты полной неожиданностью.

— Какая актерка?

— Такая, говорят, чернявенькая.

— Ты откуда знаешь?

— Буфетчик Федька на театре видал. Сказывал, больно шустрая.

Тут Анете припомнились кое-какие брошенные вскользь намеки и непонятные ей шуточки, припомнилось слетавшее с разных губ, но всегда при одной и той же многозначительной улыбке, вместе с именем Крылова имя какой-то Грушеньки.

Анета вдруг почувствовала ей самой непонятное огорчение и обиду, отчего сделалась почти больна, так что тетушка Елизавета Марковна даже напоила ее липовым чаем. Но Анете надобно было иное лекарство. Она теперь с пристрастием выспрашивала горничную Глафиру и через нее выведывала, что знали обо всем этом другие слуги (а они чего только не знали!), и прислушивалась с новым вниманием к разговорам в доме. И постепенно составила в своем воображении довольно подробную, хотя и несколько мозаическую картину похождений Грушеньки и трагической страсти, приковавшей к актерке Ивана Андреевича. Хотя отдельные краски и линии Анета время от времени стирала или добавляла, но в общих чертах доставленные ей лакейской и светской молвою пестрые осколки правды рисовали следующие события. Во-первых, еще в театральной школе Грушеньку заметил великий князь и наследник Константин Павлович. Говорили, что будто бы он нарочно поехал в манеж Ролленя, где учеников и учениц театральной школы, а также и молодых людей хороших фамилий обучали верховой езде и фехтованию,

чтобы удостовериться, так ли Грушенька мила вблизи, как кажется со сцены. Удостоверившись, он предложил ей апартаменты в своем дворце в Стрельне. Она с охотою переселилась из убогой комнатушки, которую занимала с двумя другими ученицами школы, в царские палаты. Во дворце она, как передавали, держала себя очень вольно и, главное, столь широко пользовалась кредитом великого князя, что, в конце концов, он сказал ей: «Ты, милочка, тратишь в месяц столько, сколько полковник гвардии получает в год». Но она ничуть не изменила своего беспечного поведения и тогда великий князь предпочел с нею расстаться, сняв ей в городе богатую квартиру. Она как будто не слишком была опечалена своей отставкой. Тут возле нее закружился рой молодых шалопаев, а потом ее взял на содержание генерал Сипягин, причем настаивали, что она «изменяет ему на каждом шагу». Иван Андреевич, как могла понять Анета, сблизился с Грушенькой за кулисами и, согласно молве, увлекся ею до беспамятства. Уверяли, что он ежедневно делает ей тысячные подарки, а деньги на это добывает, играя в картежных притонах и по ярмаркам...

Наглядно себе представив и пережив все услышанное, Анета не только не охладела к Ивану Андреевичу, но, напротив, прониклась к нему новым состраданием и, помимо прочего, решила, что ради него ей надлежит молиться не за него одного, но и за Грущеньку. Неожиданно возникшая тут помеха состояла в том, что ни «госпожу Бельо», ни «Грушеньку» вставить в молитву ей казалось неудобно, а как полное имя актрисы она не могла добиться. В театральных афишках ставили «госпожа девица Бельо», а Глафира смогла узнать только адрес: в Малой Офицерской, в доме Трюхина. Однако, услыхав этот адрес, Анета вдруг неожиданно для самой себя почувствовала неодолимое желание побывать у Грушеньки, поглядеть, как она живет, услыхать ее голос и рассмотреть ее вблизи.

Улучив подходящую минуту, Анета взяла извозчика и поехала.

Госпожа Бельо сидела на диване, с головы до пят укутанная в белую с цветастой каймою кашмирскую шаль.

— Вы кто? — спросила Грушенька.

— Я Анна Фурман, я живу в доме господина Оленина.

— Вы ихняя воспитанница?

— Да.

— Тогда я об вас знаю. Говорят, что будто вы ангел. У меня ангелы редко бывают. Садитесь, я на вас погляжу.

Грушенька смотрела на Анету. Анета смотрела на Грушеньку.

— Сударыня, — сказала Анета, — я пришла, чтобы спросить ваше имя.

— Какое еще имя?

— Полное ваше имя. А то одни говорят Аграфена, а другие — Агафья.

— Мой покойный батюшка был француз, — сказала Грушенька, — покойный батюшка назвал меня Агриппиной в честь бабушки, урожденной де Брессо. А вам это на что?

— Я теперь стану за вас молиться.

Грушенька помолчала.

— А это зачем еще?

Анета потупилась, но потом взглянула с чрезвычайной серьезностью.

— Оттого, что я думаю, что вы несчастливы.

— Вот как! Почему вы это думаете?

— Потому что я о вас много думала. Все о вас дурно говорят, а я решила, что это, должно быть, неправда. И теперь вижу, что так и есть.

— Что есть?

— Что неправда.

— Да как же вы догадались?

— Это сразу видно.

— Ну вот вы и ошиблись, — сказала Грушенька. — Правду говорят. Я очень дурная. Просто черт знает какая гадкая.

— Неправда, — улыбнулась Анета.

— Сущая правда, — засмеялась Грушенька.

И потащила Анету пить кофей. И только расспросив ее в подробности, откуда она родом, где жили ее отец и мать, сколько лет ее мачехе и чем торговал дед, отпустила домой.

Сидя по вечерам в оленинской гостиной возле Ивана Андреевича, Анета теперь все вглядывалась в его лицо и пыталась угадать, знает ли он о ее разговоре с Грушенькой. Но за всегдашним, неизменным, непроницаемым, железным крыловским добродушием ничего невозможно было разглядеть.

5

Бельо отличалась замечательной красотой..., хотя фамилия ее указывает на французское происхождение, но особенности ее красоты напоминали вполне тип азиатский, она походила скорее на грузинку или черкешенку; притом она была необыкновенно легка в движениях, грациозна и пламенна, подобно им. Особенно отличалась она в цыганских плясках: когда она плясала на сцене, искры огня, одушевлявшего ее, сообщались и зрителям... Иван Андреевич часто посещал кулисы и сцену во время репетиций; в это время он познакомился и сблизился с Бельо. Ментор нашего юношества, по-видимому, не был огражден от стрел Амура тою непроницаемостью, которою отличался Ментор Телемака. Иван Андреевич убедил Бельо перейти из балетной труппы в драматическую на роли субреток и бойких барышень; и действительно, во многих комедиях она выполняла их очень удачно и даже хорошо, потому что при разучивании ролей руководителем ее был сам Иван Андреевич.

А. П. Глушковский Мои воспоминания

Еще во дворце великого князя Константина Павловича капризница Грушенька пристрастилась пить шампанское, как воду, и так и не отстала от этой привычки. Но она никогда не пила ни с генералом Сипягиным, ни с его адъютантом поручиком Скворцовым, ни тем более со статским советником Ржевским. Единственный, кого Грушенька в этом случае принимала в компанию — если ей хотелось компании — был Крылов. Потому что он, еще не выпив ни капли,

уже был актером настолько же великим, насколько она становилась великой актрисой, лишь отхлебнув из второго или даже третьего бокала. Вино служило костюмом и гримом для души, которая с каждым глотком все доверчивее принимала новое обличье и, наконец, вступала в игру с самозабвением и смелостью, недоступными ей на обычном театре. Она изображала самое себя, то есть обворожительную и капризную прелестницу, способную отхлестать по щекам — и очень даже просто! — хоть бы и великого князя, только чтобы выказать чувство собственного превосходства. Но она изображала прелестницу, которая не то закаялась грешить, не то устала прельщать, и чем сильнее пьянела, тем более тянулась к благопристойности.

— А что, мон принс (со времени знакомства с Константином Павловичем она всех своих покровителей называла «мон принс»), — спрашивала она Крылова, — не хотели бы вы на мне жениться?

Если она задавала этот вопрос генералу Сипягину. или его адъютанту поручику Скворцову, или даже женатому статскому советнику Ржевскому, то каждый из них на свой лад, но одинаково неловко и бездарно, уверял ее, что, разумеется, готовы хоть сейчас, словно она спрашивала их об этом лишь потому, что была слегка пьяна. Они вели свою роль так фальшиво, что портили весь спектакль и ничего другого не оставалось как только прогнать их прочь со сцены. Они думали угодить ей, а вместо того бесили ее и в физиономию им выплескивалось шампанское или летели бокалы — так что дело кончалось скандалом; и потому-то она зареклась когда-нибудь пить и с генералом, и с адъютантом, и с советником, вообще с кем-нибудь кроме Крылова. Иван Андреевич никогда не брал ни выше, ни ниже истинного тона, то есть в жизни при всех обстоятельствах играл только самого себя, тогда как генерал, или адъютант, или советник вовсе этого не умели, а ей требовалось полбутылки Клико, чтобы набраться отваги для явления в истинном своем виде.

— Нет, душа моя, — отвечал на ее вопрос Крылов, — если бы я хотел жениться, то выбрал бы только вас, но я для женитьбы совсем непригоден.

Она, однако, просила его не отказывать ей сразу, а еще подумать, и принималась расписывать ему, как славно зажили бы они вдвоем. Она обещала ему вычистить и прибрать его комнаты, выгнать оттуда голубей и воробьев, для которых у него круглый год было раскрыто окно и рассыпано зерно на ковре, отчего всю мебель покрывали птичьи отметины; она высказывала намерение несколько причесать его и умыть и одеть немного опрятнее, а также бралась следить за кухаркою, чтобы та всякий день пекла его любимые пироги с сиговиной; что же касается детей, то девчонок она намеревалась отдать во фрейлины, а мальчишек — в пажи. Крылов на это возражал, что он отнюдь не в тех чинах, чтобы дети его могли быть взяты ко двору.

— Вот уж это, как хотите, — не соглашалась Грушенька, — я желаю, чтобы наши дети перед всеми могли задирать нос!

— Вот и следует, что вам лучше выйти за генерала, — советовал Крылов.

— Уж позвольте мне знать, — обижалась наконец Грушенька.

— Будто я ни при чем? — пожимал плечами Крылов.

— Вам стоит только сказать государыне — вас тотчас произведут.

— Да хоть бы и произвели — мне все равно нельзя жениться.

— Отчего же?

Крылов вдруг взглядывал на нее очень светлыми, очень голубыми глазами, от которых обыкновенно шло немного света из-под густых бровей и сильно набрякших век, и говорил, что, во-первых, ему нельзя жениться из-за того, что он ужас как храпит по ночам, а во-вторых, потому что он в юности, будучи несчастливо влюблен, поклялся своей суженой, что если женится, так только на ней, и ему не хотелось бы оказаться обманщиком. Грушенька, конечно же, требовала, чтобы он рассказал ей историю своей роковой страсти — и он рассказывал, но только всякий раз по-иному. То у него выходило, что его возлюбленная была помещичья дочка пятнадцати лет, которую он повстречал в Брянском уезде и родители которой положили не отдавать ее за жениха, не имеющего хоть тысячи душ. А то он рассказывал, будто влюбился в молодую гречанку, и та решилась бежать с ним, бросивши мать и отца, но побег не удался из-за ключницы, увидавшей, как барышня садилась в извозчичью карету. Иной раз гречанка вдобавок бросала малолетних детей и старого мужа, и Крылов с жаром описывал рыдания бедных малюток, а однажды даже утверждал, что похитил свою возлюбленную из султанского сераля и что полиция принудила ее воротиться в Стамбул к султану как к законному ее супругу.

Грушенька от этих крыловских рассказов становилась печальна, гладила Крылова по голове и в утешение ему вспоминала собственную первую любовь — и тоже всякий раз вспоминала по-новому, хотя видно было, что из всех вариантов больше других нравится ей история, касающаяся молодого кавалергарда, сходившего по ней с ума, понапрасну приревновавшего ее к танцовщику Огюсту (брату известной актрисы мадам Шевалье, любовницы Кутайсова) и в припадке умоисступления застрелившегося. Впрочем, вне зависимости от того, какие изгибы сюжета приходили ей на ум, Грушенька всегда оканчивала свое повествование горестным монологом, который произносила с рыданием в голосе и глубокой тоской во взоре. Она сперва сетовала по поводу попранной добродетели, а в конце восклицала:

— Ах, мой милый друг! Мне невозможно ни говорить, ни молчать! Да и чего стоит молчание, когда вопиет совесть! Весь мир укоряет меня в моем проступке! Свой позор я читаю на всех окружающих предметах и чувствую, что задохнусь, если только не изолью душу перед твоей душою!

И нередко она и в самом деле начинала задыхаться, то есть кашлять от непосильного душевного напряжения, потому что у нее была слабая грудь; и когда, тяжело дыша, она отнимала от губ платочек, на нем обыкновенно оставалось темное пятнышко крови. Крылов звонил, появлялась горничная мадемуазель Дюпре и укладывала Грушеньку в постель.

— Постойте-ка, мон принс, — спрашивала Грушенька уже в спальне, — вас как звать-то?

— Да вы меня знаете, — говорил Крылов, — я — Крылов.

— Нет, не обманывайте меня, — качала головой Грушенька, — вы не Крылов, вы лекарь Рейнбот.

И с улыбкою засыпала. И в ее улыбке было то же очарование, что и во всех ее движениях. Какая-то особенная свобода, которой нельзя научиться, которую можно только получить в дар от судьбы и которая потому так и радует, что в ней чудится небесное благоволение...

И во всех игранных Грушенькой ролях легкомысленных ingénue coquette, что вечно водят за нос доверчивых любовников, проглядывала та же отчаянная веселость. Однако в жизни эта веселость давалась Грушеньке только после двух-трех бокалов шампанского, — иной раз требовалась даже и бутылка вина, потому что в жизни не было явной нелепицы всех этих театральных ухищрений, здесь все было проще. Здесь все было очень обыкновенно и просто.

Генерал Сипягин, который снимал для Грушеньки квартиру и платил ей ежемесячное жалование, нередко сам посылал к ней с какими-нибудь поручениями своего адъютанта Скворцова. А Скворцов просто по долгу службы всегда знал, где генерал проводит вечер и где будет ночевать, так что поручик никогда не опасался столкнуться с ним у Грушеньки. Что же касается статского советника Ржевского, то он, будучи женат, приезжал к Грушеньке только поутру, до обеда, и то лишь в среду и в пятницу, когда в департаменте у него были неприсутственные дни. Статский советник полагал, что это он снимает для Грушеньки квартиру, которая ему стоила несколько дороже, чем генералу, но зато никакого жалованья Грушенька от него не брала. Только ему приходилось порою расплачиваться за подарки, которые делал Грушеньке поручик Скворцов.

А Иван Андреевич по утрам (кроме среды и пятницы) разучивал с Грушенькой театральные роли, а если приезжал к ней вечером, то назывался доктором медицины Рейнботом. Генерал иногда советовался с Иваном Андреевичем по поводу ломоты в пояснице и тот, расспросив, как ломит и куда отдает боль, неизменно советовал растирать поясницу водкой с уксусом.

Однажды, проезжая мимо книжной лавки Плавильщикова, генерал увидал выставленный в окне портрет Крылова.

— А знаете ли, сударь, — сказал он Крылову, встретивши его у Грушеньки, — у вас большое сходство с этим сочинителем... забыл прозвание... просто одно лицо...

— Ваше превосходительство, верно, имеете в виду баснописца Крылова, — сказал Крылов. — Мне многие это говорят.

А в театре, видя Крылова в первом ряду кресел, генерал всегда спрашивал у кого-нибудь: «Кто это там, Крылов или Рейнбот?» — «Крылов», — отвечали ему. — «Одно лицо», — говорил генерал и удивлялся странным причудам натуры.

6

Истинный свой талант г. Крылов явил в баснях и стал в первом ряду литераторов своей отчизны. Внимание, которое привлекает к себе столь отличный писатель, возбуждает желание узнать его самого, и вот подробности, сообщенные мне некоторыми путешественниками, сведшими с ним знакомство в Петербурге. Г-н Крылов высок ростом, полон лицом и телом; походка его небрежна; простое и открытое его обращение внушает к нему доверие. Ни от кого не завися и не быв женат, он не избегает ни игры, ни удовольствий. В обществе он больше замечает, нежели говорит; но когда его взманят, то разговор его бывает весьма занимателен... Под тучною его наружностию кроется ум тонкий и быстрый, вкус разборчивый, сердце человеколюбивое и доброхотное, и все качества превосходного друга. В одном только его укоряют, — и это, к сожалению, есть господствующая черта его характера, он перенес под 60 градус широты беспечность неаполитанскую и предается той роскошной лени, которая взлелеяла гений Лафонтена и Шолье. Муза его уступает только настойчивым просьбам друзей.

П.-Э. Лемонте
Предисловие к парижскому изданию басен Крылова на французском и итальянском языках

Он был беспечен и не скрывал от меня этой слабости. «А я, мой милый, ленив ужасно... Да что, мой милый, говорить... И французы знают, что я лентяй».

И. П. Быстров
Отрывки из записок моих об Иване Андреевиче Крылове

Советник прусского посольства в Петербурге Карл Крафт с детства жил в Риге и хорошо понимал по-русски. Будучи склонен к литературным занятиям, советник задумал составить очерк современной русской словесности и напечатать его в Берлине. Крафт предполагал обрисовать национальную физиономию России, основываясь на деятельности двух главнейших и известнейших русских писателей — Николая Карамзина и Ивана Крылова. Советник имел в виду отыскать в трудах и в жизни этих величайших, по мнению их соотечественников, представителей русского духа некоторый общий знаменатель, который бы и указывал на истинный характер народа.

Советник стал приглядываться издали к обоим сочинителям, встречая их в петербургских салонах, а иногда и за малым столом у императрицы Марии Федоровны. Он стал расспрашивать о них в столичном обществе. Само собою, он прочел их сочинения.

Сперва советник пришел в отчаяние от того, что среди разительных особенностей Крылова и Карамзина он видел только резкие черты различия — словно природа нарочно позаботилась о том, чтобы создать одного из них как совершенную противоположность другому. В самом деле, Карамзин был худощав, с лицом бледным и тонким. Крылов, напротив, толст, и круто вырубленная физиономия его была вывеской натуры сильной и здоровой. Карамзин

говорил всегда веско и любил стройные умозаключения. Крылов всегда шутил и, по большей части, изъяснялся анекдотцами, примерами и забавными сравнениями. Карамзин жил замкнуто, на людях показывался редко, однако образ мыслей его был всем известен. Крылова, напротив, постоянно видели то в гостях, то в Английском клубе, но каков его взгляд на тот или другой предмет за постоянными шутками разглядеть было невозможно. Карамзин в своих литературных занятиях последовательно и терпеливо шел к одной цели — он искал душевной независимости и находил ее в поэзии, в тех простых и изящных формах, в которые облекал свои представления о жизни. Представления эти с годами все расширялись, пока не охватили жизнь целого народа. Тогда-то Карамзин взялся писать «Историю государства Российского».

Карамзин поэзию боготворил. Между тем Крылов как будто видел в ней одну забаву. В ранней молодости он достиг немалой известности своими сатирами, потом вдруг все бросил, уехал в провинцию, сделался картежником, пропадал где-то лет десять, а то и больше, потом также внезапно вернулся, написал несколько комедий и несколько басен, издал первые свои басни отдельной книгой, а затем стал каждые три-четыре года их перепечатывать, прибавляя понемногу новые. Басни его, как и все басни, имели вид поучений, но уверяли, что дело идет вовсе не о поучениях, а что под видом басен он выпускает эпиграммы на какое-нибудь известное лицо. Говорили также, что пишет он от случая к случаю, иногда годами не берется за перо и тогда приятели запирают его дома на ключ и не выпускают, пока он не сочинит десяток новых басен. Вообще, о Крылове рассказывали пропасть забавного. Например, как он однажды потерял жилетку из-под фрака: «Где это, братец, твоя жилетка?» — «Как где? она на мне!» — глядь, и в самом деле нет жилетки... Или как его однажды на Невском проспекте окликнул приятель: «Здорово, Иван Андреевич!» — «Здорово, братец! ты куда?» — «В Москву, не хотите ли со мной?» — «Отчего же?» — и с Невского проспекта укатил в Белокаменную... Или как однажды в Павловске императрица Мария Федоровна увидала, что Крылов пришел взглянуть на развод караула; она послала привести его, но он извинился тем, что не прибран; императрица велела привести его каков есть — и что же видят? — один сапог у него дырявый, носки позабыл надеть и палец торчит наружу!.. Или в другой раз он подошел поцеловать императрице ручку, а вместо того чихнул ей на руку...

Советник Карл Крафт раза два или три сам наблюдал Крылова и Карамзина за малым столом вдовствующей императрицы.

Карамзин мало ел и много говорил. Советник только хлопал своими прозрачными немецкими глазами, слушая, как решительно и прямо Карамзин возражал ее величеству по поводу новейших мистических увлечений, веры в чудеса и сиюминутное действие молитвы. Потом советнику объяснили, что Карамзин не придворный, что у него иная роль, в которой он может говорить очень вольно, — он представляет у трона русские чувства. Уверяли, что еще свободнее Карамзин держит себя с самим царем, которому будто бы однажды сказал: «Ваше величество, у вас много самолюбия — у меня ника-

кого. Мы равны перед Богом. Я люблю только ту свободу, которой ни один тиран не может меня лишить».

Крылов же, по-видимому, представлял здесь русский ум — оттого он ничего не говорил, но вел себя также по-домашнему — лакеев, которые разносили блюда, придерживал за пуговицу и накладывал себе полную тарелку еды; когда кусок был не по нем, наказывал лакею: «Вот так порежь и принеси сюда!» Императрица глядела на Крылова с улыбкой умиления, его простодушие казалось ей трогательно. Советник Крафт пытался угадать, знает ли императрица, что некоторые крыловские басни в обществе находят нелестными изображениями императора Александра. Не было ничего невозможного в том, что императрица не только это знала, но даже и сочувствовала крыловским насмешкам, потому что ее отношения со старшим сыном оставались весьма двусмысленными с 11 марта 1801 года — с той самой минуты, когда она увидала Александра в кругу убийц его отца...

После обеда всегда бывали литературные чтения: Карамзин выбирал что-нибудь из очередного тома своей «Истории», а Крылов читал две-три басни.

И вот тут-то, когда советник Крафт услыхал историографа и баснописца, друг за другом читающими свои сочинения, ему пришло на мысль, что если русский ум и русское чувство во всех проявлениях своих столь несхожи и супротивны, как эти живые их представители, то, может быть, эта противоположность, это резкое противоречие ума и чувства и есть тайная пружина русского характера (так же как, скажем, явное преобладание ума над чувством есть особенность характера французского, а обратное соотношение заложено в характере немецком). И вот на этом-то контрасте натур двух писателей, якобы знаменующем собою некую изначальную двойственность славянской души, последователь немецкой метафизики, выросший на овсяной каше и логике Канта, и задумал построить свое сочинение о современной русской литературе. Крылов и Карамзин уже рисовались ему двумя живыми полюсами, двумя ходячими антиномиями носившейся в его воображении России. Они и отрицали, и дополняли друг друга и при том каждый из них, в сущности, был только перелицовкою другого. Крылов был как бы вывернутым наизнанку Карамзиным, а Карамзин был Крыловым навыворот. Карамзин всем непостижимым, пестрым, страшным, нелепым и величественным происшествиям отечественной истории давал достойный вид в волшебном зеркале своей просвещенной, утонченной, благородной чувствительности. Крылов, напротив, вперял в поэтическое зеркало собственную физиономию, и там являлись на потеху публике свет и мрак, смех и грех российской жизни.

Советник стал делать наброски к своему очерку о Крылове и Карамзине, начав с удивительного и показавшегося ему весьма знаменательным пристрастия первого из них к большим пожарам. Люди совершенно надежные рассказали советнику, будто бы пожары составляют любимое зрелище баснописца. Уверяли, что Иван Андреевич, известный своей ленью и сонливостью, посреди ночи вскакивает с постели, если узнает, что где-то в городе горит и что якобы он не

пропускает ни одного значительного происшествия такого рода. Между тем пожары в Петербурге случались часто, и нередко в самом центре города выгорали целые кварталы — в особенности те, где селились извозчики и хранились запасы сена, дегтя и сала. Немецкому воображению странное влечение русского поэта к жестокому зрелищу бунтующего огня показалось каким-то тайным и символическим знаком. Словно бы приоткрывалась завеса вечной крыловской шутливости, и под нею обнаруживалась жадность к впечатлениям жизни, бескорыстное наслаждение мудреца, отшельника или дикаря при виде роскошного пламени, которое, подобно чистой, величественной и гибельной страсти, охватывает жалкую людскую рухлядь. Тут советник думал ввернуть что-нибудь насчет того, что сплошная насмешливость, то есть абсолютная ирония, так же, как любовная страсть, освобождает человека от всех гнетущих его вещей и условностей, оставляя один на один с Природой. Метафизическая фантазия советника улавливала некоторую связь между крыловской любовью к огню и его равнодушием к внешней, показной стороне существования. Советник думал по этому поводу привести рассказанный ему кем-то анекдот о том, как однажды сильный пожар случился по соседству с тем домом, где жил Крылов. Люди вбежали с криком и принялись выносить вещи, а Крылова просили поскорей собрать самые нужные бумаги. Но он, против обыкновения, не торопился взглянуть на пожар и, несмотря на крики и слезы, не одевался, а велел поставить самовар. Напившись чаю, он закурил сигару, потом стал не спеша одеваться, а выйдя на улицу и поглядев, что и как горит, сказал только: «не для чего перебираться», вернулся к себе и лег спать.

Это крыловское равнодушие или даже, скорее, сочувствие в отношении Природы, бунтующей против людских установлений, советник Крафт предполагал сравнить с тем отвращением, которое, как он знал, испытывал на этот счет крыловский антагонист. Хладнокровный и бесстрашный Карамзин, как говорили, бледнел при слове «пожар» после того, как в 1812 году в Москве сгорела его библиотека, множество редкостных старинных манускриптов и чуть не погибла в огне рукопись первых томов его «Истории».

Замечательно казалось и то, что в начале войны Карамзин записался было в ополчение, а Крылов, который был и моложе и куда здоровее, не думал идти воевать. Зато он, как уверяли, летал на воздушном шаре. Когда советнику сказали об этом, он стал расспрашивать всех знакомых о подробностях, но никто не мог сообщить ничего определенного. Не было даже согласия в том, в Москве происходил полет или в Петербурге. Одни утверждали, что Иван Андреевич летал вместе с известным воздухоплавателем Робертсоном, другие, что он летал один, но никуда не улетел, потому что не было ветра. Наконец, некоторые определенно заверили советника, что Иван Андреевич летал вместе с актрисою Бельо, которая играла первые роли в его пьесах. Встретив как-то Ивана Андреевича в доме графа Лаваля, советник напрямик спросил его, правда ли, что он летал на шарльере вместе с госпожою Бельо. Крылов посмотрел на советника очень приветливо и сказал:

— Ах, мой милый, это так давно было, что я уже и позабыл.

Тогда советник, не долго думая, решился съездить к актрисе и расспросить ее, как было дело.

У Грушеньки в тот вечер сидел генерал Сипягин. Вопрос немецкого сочинителя его озадачил.

— Простите, сударь, — сказал он, — с чего это вы взяли, что госпожа Бельо куда-то летала с господином Крыловым?

— Я, сударь, — отвечал советник, — взял это со слов самого господина Крылова.

— Это недоразумение, — холодно возразила Грушенька.

— В таком случае прошу меня извинить.

Советник встал и поклонился. Генерал засмеялся.

— Есть доктор Рейнбот, — сказал он, — который имеет большое сходство с господином Крыловым. И помнится, доктор, точно летал на шаре.

— Нет, сударь, — улыбнулся советник. — Я знаком с доктором Рейнботом. Он совсем не похож на господина Крылова.

— Как не похож! — захохотал генерал. — Да я думаю их бы родная мать не различила.

Советнику тоже было смешно.

— Хороши близнецы, — сказал он. — Один высок, толст и здоров, а другой мал, худ и еле ноги волочит.

— Кто еле волочит? — изумился генерал.

— Доктор Рейнбот. Я рос вместе с его внуками. Он и тогда уж был не молод.

— Вы, должно быть, говорите о другом докторе Рейнботе.

— О том, который служит при театре.

Тут генералу пришло на ум, что его морочат. Что этот молодой фатоватый немец со всеми своими рассказами явился в дом только для того, чтобы познакомиться с молоденькой актрисой.

— Ступайте, сударь, — сказал он. — И рассказывайте свои сказки где-нибудь в другом месте.

— Не советую вам, сударь, так со мной разговаривать, — оскорбился советник.

— Я с вами так разговариваю, как вы того заслуживаете.

— Если бы не ваши преклонные лета, я бы знал как вам отвечать.

Последнее замечание подтвердило худшие подозрения генерала.

— Мои лета не помешают мне продырявить вам башку, — сказал он.

— Попробуйте.

Через два дня генерал и советник стрелялись за Строгановой дачей.

Советник был ранен в руку и, немного оправившись, уехал в Германию на воды. В Петербург он больше не вернулся и очерк его о характере русского народа остался неоконченным.

7

Читателям интересно будет узнать, как принял И. А. известие о кончине своего брата. Смерть, постигающая хотя по родству и близкого, но вдали живущего и давно не виданного человека, разлука с которым уже вошла в привычку, конечно, не может так поразить, как утрата тех, с кем сближают ежедневные личные сношения и одинаковые интересы. Однако же от В. А. Олениной мы слышали, что внезапное известие о смерти брата сильно подействовало на И. А-ча. Он сделался молчалив и мрачен, хотя не изменил ни в чем своего образа жизни: по-прежнему он посещал клуб, проводил вечера у Олениных. Друзья его терялись в предположениях, но не решались спрашивать. Елисавета Марковна была единственное существо, имевшее право на его откровенность; но и она выжидала удобного случая. Так прошло недели три. Наконец И. А., по-видимому, стал приходить в свое нормальное состояние. Елисавета Марковна, улучив минуту, спросила его: «Что с вами было, Крылочка? Вы на себя не походили!» — «У меня, Елисавета Марковна, было на свете единственное существо, — отвечал Крылов, — связанное со мною кровными узами; у меня был брат. Недавно он умер. Теперь я остался один».

В. Ф. Кеневич
Материалы для биографии И. А. Крылова

Хотя братья Крыловы жили на большом расстоянии один от другого, Иван Андреевич — в Санкт-Петербурге, а Лев Андреевич — в городе Виннице, но существование Крылова-младшего было столь незамысловато, что все целиком и без труда умещалось в его ежемесячных письмах к Крылову-старшему и Иван Андреевич во всякую минуту дня и ночи знал, чем сейчас занимается за две тысячи верст от него Лев Андреевич.

Жизнь Ивана Андреевича была накрепко привязана к жизни Льва Андреевича. С того самого времени, как Левушка уехал служить в Херсон, старший брат всякую треть или даже четверть, то есть всякие три или четыре месяца, посылал ему когда пятьдесят, когда сто, а когда и двести рублей. Разумеется, без этих денег у Левушки не было бы ни теплой шинели, ни исправных сапог, потому что офицерского жалования едва хватало на харчи да на самонужнейшее обзаведение: мундир, исподнее белье и прибор, — и Левушка давно бы уже помер от простуды либо попросту от огорчения, что никому на белом свете до него нет дела. Но вместе с тем, по причине такой зависимости от него младшего брата Крылов, будучи человеком холостым и вовсе одиноким, все происшествия Левушкиной жизни должен был очень горячо принимать на свой счет. То, что происходило с ним, происходило только с ним, но то, что случалось с Левушкой, случалось с ними обоими. И Левушка видел, что события, протекавшие в тех местах, где он обитал, чрезвычайно занимали и беспокоили Крылова. И всякий день, сидя перед сном в одной рубахе у себя на постели, Левушка представлял себе, что вот сейчас и братец Иван Андреевич у себя в Петербурге вот так же в одной рубахе сидит на своей постели и тоже, должно быть,

мечтает о том, какой славный урожай получат они нынче осенью в огороде и в саду. У Левушки под самой Винницей был маленький хуторок, который они с Иваном Андреевичем надумали купить, потому что и птица мало-помалу свивает себе гнездо. Скитаясь целый век по чужим домам и по чужим людям, Левушка всегда мечтал иметь хотя бы маленькую лачужку, где б он был полным хозяином. До сих пор на всем свете ему принадлежал только братец Иван Андреевич, а теперь у него появился еще и свой собственный кров. И к тому же Левушка надеялся, что теперь у него масло, молоко и сыр будут свои, и гуси, утки, яйца тоже будут не купленные (а для гусей и уток было большое раздолье, так как хуторок стоял у воды), и что зелени и овощей станет на целый год, потому что работника искать не надо, имея казенного денщика, взятого еще из армии. Иван Андреевич входил во все подробности этих хозяйственных забот, и у них вышел спор — надо ли покупать лошадь. Иван Андреевич не советовал, а Левушка не послушался и купил. Но вышло, что Иван Андреевич был прав, потому что случилась засуха и спалила огород и сенокос, и пришлось лошадь продать. А на другой год денщикова дочь, девяти лет, выйдя в сени с огнем взять прядева, нечаянно зажгла хату. Сгорела лачужка, две повозки, пятнадцать кур да десять гусей. Лев Андреевич и Иван Андреевич, впрочем, радовались тому, что уцелели коровы — их успели вывести, только шерсть на них опалилась, — а также и сено, которое хоть и стояло у самой хаты, но не загорелось, потому что ветер был в другую сторону. По весне Лев Андреевич поставил новую хату, и хозяйство стало налаживаться, но тут приключилась беда другого рода.

Батальонный командир подполковник Бурнашев сделал смотр инвалидам, которыми командовал Левушка, и нашел, что люди совсем не обучены строю, а также, что мундиры их сшиты из немоченого сукна, что было против правил. Рассердившись, подполковник отрешил Левушку от начальства над инвалидной командой и передал начальство прапорщику другой команды — впредь до исследования дела. Иван Андреевич, узнав об этом, едва не лишился сна и аппетита и тотчас написал Левушке, чтобы тот съездил к батальонному командиру и попросил у него прощения. Левушка отвечал, что ездить ему незачем, так как батальонный командир его службу знает и он ему изъяснялся в своей неумышленной вине. Иван Андреевич не успокоился и укорял Левушку, зачем он не учил солдат и построил мундиры из немоченого сукна. Левушка на это отвечал, что сукно прислано было из батальона и потому он полагал, что оно моченое; что он спрашивал старых унтер-офицеров, мочат ли сукно при команде, и ему сказали, что не мочат, а кроят так, как присылают из батальона; что и в прочих командах он узнал, что сукон не мочат. И прибавлял, что подполковник воображает, будто он очень много интересуется от команды, а он вовсе не имел намерения насчет постройки интересоваться какими-нибудь десятью аршинами толстого серого сукна, и что вообще ни на грош не интересуется от команды и почитает за грех пользоваться чем-нибудь непозволительным. А по поводу неучения солдат возразил, что уче-

ние происходило, но много было препятствий: армейские стояли в лагере и инвалидные занимали по всему городу караулы, а также провожали арестантов, так что очень мало оставалось людей налицо. И что батальонный командир все думает, будто он в армии, и не видит, что мучить учением старых изувеченных людей все равно, что убивать и укрощать последний остаток их жизни.

Однако же Ивана Андреевича очень беспокоило, донесет ли батальонный командир высшему начальству о Левушкиной неисправности. Но Левушка уверял его, что батальонный командир об нем худых мнений сердечно не имеет, что он ему всегда был покорен, потому что, служа с малолетства, научился повиноваться начальству и всегда был начальством любим, что подполковник просто горяч, а горячие люди вообще все добрее и рассудительнее людей спокойных, и что подполковник непременно ему простит, и просил Ивана Андреевича не беспокоиться, говоря, что это беспокойство для него всего будет мучительнее. Но тревоги Ивана Андреевича улеглись лишь тогда, когда Левушка стороною узнал, что батальонный командир не думает давать делу формальный ход. Вскоре за тем инвалидная команда была возвращена под начало Льва Андреевича. И тут снова пошли разговоры об огороде, о телятах, курах, гусях и утках, и прибавились еще разговоры о заведенных Левушкой пчелах, которые также подавали хорошие надежды.

А потом Левушка вдруг узнал из газет, что Иван Андреевич не только служит при Императорской библиотеке, но еще пишет басни, и что басни эти вышли уже пятым изданием, и что теперь Российская Академия постановила торжественно поднести господину Крылову вместе с господином Карамзиным — как первейшим отечественным писателям — большие золотые медали, и что в общем собрании Академии при рукоплескании всех ученых людей сам президент поднес Ивану Андреевичу медаль. Левушка попросил братца тотчас срисовать для него что изображено на медали, какая надпись и объяснить, на какой ленте ее надевают, а также прислать книгу сочиненных им басен.

Левушка понимал, отчего брат прежде молчал о своих баснях — пока не было золотой медали, известность Ивана Андреевича была еще сомнительна. Теперь же, когда ее признала и Академия, она сделалась бесспорна.

Иван Андреевич получил медаль, а Левушка получил знаменитого брата.

Брат, конечно, и прежде был из редких, который имел о Левушке такое попечение, какое немногие и отцы имеют о своих детях. Но прежде он был редкий только для одного Левушки, а теперь оказалось, что он драгоценен для всех. Чем дальше, тем чаще в газетах выхваляли братца Ивана Андреевича как единственного в своем роде писателя. Даже и французы напечатали, что всякая нация за честь себе поставит иметь согражданином такого писателя, как Крылов. Левушка неожиданно для себя сделался обладателем такого братца, до которого всем было дело, который всех занимал и привлекал. Даже племянник командира Уфимского полка, стоявшего в Виннице, прапорщик Ляхович, уезжая в Петербург, попросил у Ле-

вушки каких-нибудь поручений к Ивану Андреевичу, дабы иметь только повод взглянуть на великого человека. И все приятели, и даже начальники теперь прониклись к Левушке новым уважением из-за того, что он имеет такого брата. Некоторые прежде незнакомые офицеры Уфимского полка нарочно захотели с ним познакомиться, а один усатый маиор сказал ему:

— Читал я баснописца господина Измайлова, но, в сравнении с вашим братом, как небо от земли. Читал и сочинения господина Жуковского, но он пишет только для ученых и более занимается вздором, а потому слава его весьма ограничена. Но как ваш брат пишет, то это для всех, и басни его — не басни, а апостол!

Глядя теперь на молодых офицеров, Левушка думал: «Ты, может быть, голубчик, и далеко пойдешь, да уж братца-то у тебя такого не будет! такие братцы, может быть, раз в сто лет родятся, а я вот имею! зато мне и густых эполет не нужно!» И в самом деле, Левушка теперь перестал мечтать о маиорском чине и даже сам подал рапорт подполковнику Бурнашеву, чтобы тот удалил его от командования инвалидами и приискал ему какое-нибудь местечко поспокойнее, но на этот раз подполковник Бурнашев ни за что не соглашался уволить Левушку от начальства. А Левушка, получив, наконец, от брата книгу его басен, некоторые из них вытвердил наизусть и любил в разговоре, щегольнув каким-нибудь счастливым стихом, прибавить: «как говорит мой единокровный братец» или: «как говорит мой голубчик-тятенька».

Левушка приосанился и даже значительно потолстел, так что ему пришлось строить новый мундир. Однако покрасоваться в этом мундире ему не удалось. В октябрьское ненастье, переправляясь через реку Буг — Левушкин хуторок был как раз на другой стороне реки против города, — Левушка сильно озяб и вымок под дождем, потому что волны на реке ходили страшные и лодку снесло далеко от пристани и, когда, наконец, пристали к берегу, то пришлось еще версты две идти пешком до дома. Левушка простыл.

Пять дней он лежал в жару и, чувствуя приближение конца, думал все о братце Иване Андреевиче и так ясно вообразил сожаление старшего брата о том, что вот он, Левушка, помер тут совсем один, без него, что Левушке тоже стало нестерпимо жаль и себя, и братца Ивана Андреевича, и он заплакал, и попросил дать ему портрет Крылова, поцеловал его и сказал: «Прости, голубчик. Я перед тобою виноват и неблагодарен, мне бы не надо было помирать».

В начале ноября Иван Андреевич получил из Винницы письмо, писанное незнакомой рукой. «С душевным прискорбием берусь за перо, — писал Левушкин приятель маиор Колтовский, — чтобы начертать Вам несколько строк о потере брата Вашего Льва Андреевича. Он оставил сей свет по кратковременной болезни, октября 25, поутру в 8 часов. Пять дней был он болен сильною горячкою, а в шестой скончался. Последнее письмо Ваше он получил 22 октября, но не мог уже оного читать и попросил прочесть оное находящегося при нем штаб-лекаря Уфимского полка и, наконец, поцеловав портрет Ваш, сказал в слезах: «Ах, любезный брат, ты не знаешь, как я болен!» Тело покойного предано земле в ограде Благовещенского девичьего монастыря, и при погребении покойному отдана последняя

воинская почесть тремя ружейными залпами, возвестившими конец всем мирским суетам».

Читая письмо, Иван Андреевич представил себе десяток хмурых инвалидов, стреляющих в серое, дождливое небо, и стоящих над могилою Левушки его денщика Гаврилова, денщикову жену, денщикову дочку, а еще штаб-лекаря Уфимского полка, унтер-офицера Усатова, маиора Колтовского и вдову подпоручика инвалидной команды Марью Ступикову, находившуюся при Левушке во все время болезни. И под кротовым холмиком, куда был воткнут свежевыструганный крест, лежал братец Левушка, которому Иван Андреевич принадлежал без малого сорок лет — с того времени, как они оба остались круглыми сиротами после Марьи Алексеевны. А теперь Иван Андреевич уже никому не принадлежал и сделался окончательно, совершенно свободен.

8

Он был чрезвычайно скромен и стыдлив до конца жизни; легко можно было его заставить краснеть. Ненавидел непристойных женщин. От души уважал женщин с хорошими правилами и скромными и любил женское общество. Несравненно выше ставил женщин в сравнении мужчин касательно добродетели.

А. А. Оленина Иван Андреевич Крылов

Мадам Дюпре, называвшаяся обыкновенно просто «тетушкой», доводилась госпоже Бельо родственницей по отцу. Она родилась в Париже в семье скрипичного мастера, училась музыке, пела в опере, года два состояла под покровительством маркиза д'Обиньи, а когда началась революция и маркиз бежал в Англию, вышла замуж за актера Дюпре. Еще до казни короля они с мужем нанялись на русскую службу и отправились в Петербург. В Петербурге мадам Дюпре то ли от сердечных невзгод, то ли от свирепых морозов потеряла голос, а мосье Дюпре вскоре умер и, хотя Театральная дирекция назначила мадам Дюпре пенсию, но пенсия была грошовая, так что вдове приходилось искать заработков.

Когда дочь покойного Бельо (сына двоюродной тетки мадам Дюпре) сделалась фавориткою наследника цесаревича Константина Павловича, мадам Дюпре попросилась к ней в камеристки, а после так и осталась у ней в доме под именем «тетушки».

Проживши двадцать пять лет в России, мадам Дюпре сумела не выучиться по-русски, и приятельницы ее почти все были француженки, а ближайшею подругой была мадам Тастю, содержавшая на Васильевском острове пансион благородных девиц. С нею-то по воскресеньям за кофеем мадам Дюпре перебирала Грушенькиных поклонников, понемногу сплетничая обо всех, но более других занимаясь Грушенькиным учителем декламации мосье Карлофф (как мадам Дюпре называла Крылова), чьи отношения с Грушенькой не на шутку ее изумляли и беспокоили.

Наблюдая через щелку двери все их беседы, мадам Дюпре, хотя и не понимала смысла русских слов, очень скоро стала подозревать, что мосье Карлофф серьезно поврежден в уме и своим умопоме-

шательством уже успел заразить и Грушеньку. Так, мадам Дюпре своими глазами видела, как после довольно оживленной и веселой болтовни мосье Карлофф и Грушенька вдруг оба враз умолкали и с прежним участием глядя друг на друга, а не так, как люди, занятые каждый своими мыслями, оставались сидеть молча, но не просто сидели, а словно бы молча продолжали свою болтовню, по временам кивая или улыбаясь, а то начинали неизвестно чему смеяться или, что выглядело еще удивительней, совершенно молча ссорились, так что Грушенька обижалась до слез, в ответ на что мосье Карлофф только выпячивал губу и поводил плечами и будто что-то молча говорил ей, и они, в конце концов, все также молча мирились или же, если Грушенька все-таки, несмотря на все немые доводы мосье Карлофф, продолжала сидеть надувшись, он, кряхтя, вставал, брал ее маленькую ручку в свою медвежью лапу, подносил к губам и нежно целовал, отчего Грушенька начинала тихо и долго смеяться.

Не раз мадам Дюпре уговаривала Грушеньку прогнать этого неряшливого и пузатого мужлана и найти себе другого наставника в декламации, но Грушенька этими советами только потешалась и говорила:

— Как же его прогнать? Ведь я вам объясняла, тетушка, что он моя смерть, а смерть не прогонишь!

И этот ответ еще более пугал мадам Дюпре, потому что ей и самой казалось, что постоянные визиты учителя декламации чем-то угнетали Грушеньку и отзывались во всей ее натуре опасным равнодушием к самой себе, и будто в самом деле медленно убивали ее.

Иной раз после говорливой или молчаливой беседы с мосье Карлофф Грушенька брала гитару и пела отчаянные, надрывные цыганские песни, которые у нее выходили на залихватский, хмельной манер, оттого что и тут слышалась ее обыкновенная капризная насмешливость, и слышно было, что она не хочет, не умеет тосковать, то есть жалеть себя, а, жалея, непременно над собою же и смеется. Но при такой ее беспощадной, жестокой легкости все-таки казалось, что душа ее в глубине своей горько укоряет то, что когда-то любила, и, уходя прочь, все-таки с болью оглядывается на то, что любила. И тут вдруг проглядывала в ее пении самая простенькая, совсем несчастная, даже какая-то детская обида, так что мадам Дюпре, подсматривавшая и подслушивавшая за дверью, зажимала нос платком, чтобы не зарыдать и не выдать себя нечаянным всхлипом. А мосье Карлофф в ответ на убийственную, почти уже мертвую легкость Грушенькиной души, напротив, как-то весь застывал, становился особенно неподвижен и безразличен ко всему, наливался мертвой тяжестью, точно душа в нем коснела и каменела, на глазах становясь массивнее и весомее. Однажды дошло до того, что ореховое кресло, на котором сидел мосье Карлофф вдруг сухо хрустнуло, подломилось и рухнуло, так что мосье Карлофф, охнув, завалился назад и упал навзничь, задрав кверху ноги. Мосье Карлофф барахтался на полу как перевернутый жук, а Грушенька, глядя на него, хохотала во все горло и не могла успокоиться пока не обессилела от смеха и уже только тихонько стонала, утирая катившиеся по щекам слезы...

— Тут, милочка, дело в том, — объясняла мадам Тастю мадам Дюпре, — что они друг перед другом откровенничают.

— Как же? эдак-то молча?

— Вслух, милочка, только врут. А откровенничают всегда тишком, и чем откровеннее, тем тише. А уж когда совсем начистоту, так тут слов вовсе не надо.

— Это, душенька, непонятно. Я кого чужого увижу — ведь я молчу. Что ж из того?

— Чужие тут ни при чем. Ты хотя перед ними и молчишь, да для чужих у тебя всегда самые приличные слова наготове. Слова, милочка, как платье — мы ими наготу прикрываем. И платье-то не перед всяким скинешь, а душу-то голую и подавно не всякому покажешь. Стало быть, Грушенька твоя этого Карла не так боится, как других мужчин. Да только и ему зря она душу открывает. Душа этого не любит, чтобы ее голышом выставляли, без одежки. Она простыть может.

— Вот и я вижу, — говорила мадам Дюпре, — что Грушеньке при нем точно холодно, она все в шаль кутается, а зачем-то себя мучит.

— Обыкновенное дело, — говорила мадам Тастю, — простудит душу, да и конец.

Видя, что Грушенька день ото дня худеет и что по утрам лицо ее бывает чрезвычайно бледным и припухшим, мадам Дюпре упрашивала Грушеньку позвать лекаря, однако Грушенька всякий раз возражала, что к ней уже ходит лекарь, который пользует ее таким лекарством (мадам Дюпре понимала, что Грушенька тут разумеет шампанское), от которого она непременно должна выздороветь, а если ей и это не поможет, то нечего и лечиться.

Вскоре, однако, Грушенька уже с трудом волочила ноги и как-то не в воскресенье, а на неделе, в неурочный день мадам Дюпре прибежала к мадам Тастю и сообщила, что накануне вечером Грушенька померла и мосье Карлофф тоже помер вместе с нею. Мадам Дюпре рассказала, что за ужином Грушенька, против обыкновения, ничего не пила, а после ужина взяла было в руки гитару, но бросила, сказав, что ей что-то нездоровится и встала, чтобы идти в спальню, но вдруг пошатнулась, ухватилась за край стола, но не удержалась и повалилась на пол. Они с мосье Карлофф положили ее на постель и послали за доктором. Во все это время Грушенька была без чувств, а когда приехал доктор, то не нашел уже в руке у нее пульса. Поднесли зеркальце к ее рту и увидели, что она уже не дышит. И вот тут и мосье Карлофф, который сидел возле Грушенькиной постели совершенно как неживой, внезапно весь вздрогнул, лицо его перекосилось, и он тоже упал замертво, громко стукнувшись об пол своей большой головой.

Доктор вместе с извозчиком погрузили его на дрожки и отвезли домой.

— Вот, — сказала мадам Тастю, — что значит душу-то морозить!

Правда, через неделю выяснилось, что мосье Карлофф не вовсе помер, что его только хватил легкий удар, от которого он уже немного оправился и уже даже будто ходит по комнате.

— Обыкновенное дело, — сказала мадам Тастю, — у него-то душа покрепче, потолще, а у ней-то вовсе нежная, тоненькая — вот она и не снесла.

9

Известный анекдот насчет Крылова повторю оттого, что он сам мне его рассказывал, и что Фенюшку (отвратительную его кухарку) я лично знала. Один раз, обедавши, был он поражен дурным вкусом пирожков, открыл крышку кастрюли, и что же видит: что она вся подернута зеленью. «Я, — говорит, — и подумал: ведь я восемь их съел и ничего, дай я попробую и остальные восемь съесть, увидим, что будет. Съел и до сих пор живу».

В. А. Оленина Записные книжки

Сам он, по тучности и естественной лености, не мог смотреть за хозяйством, а наемные, простые бабы, удовлетворяя только первейшим потребностям человеческим, ни о чем не радеют, да и не разумеют, что такое чистота и порядок. Их дело истреблять и портить все то, что господин их, выведенный уже из терпения, заводит и по временам устраивает. Так, одна из них, Фенюша растапливала печи греческими его классиками.

М. Е. Лобанов
Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова

Замечательно, что он свою Фенюшку выучил узнавать греческих авторов, может быть, по тому, что они от времени, а больше от неопрятности, были, каждый отличительно от другого, испачканы и засалены. «Подай мне Ксенофонта, «Илиаду», «Одиссею» Гомера», — говорил он Фенюшке, и она подавала безошибочно.

В. М. Княжевич
Из заметок, писанных в 1820 году

Читая или просто сидя в размышлении (я не заставал его ни разу за работою у письменного стола, которого и не было у него), или принимая у себя посетителей, он обыкновенно курил, прекомодно расположившись на диване... Все вокруг него: столы, стулья, этажерки, вещи на них — покрыто было пылью, так что не без затруднения надобно было ухитриться, чтобы сесть перед ним, не дав ему почувствовать неприятного своего ощущения.

П. А. Плетнев Иван Андреевич Крылов

В одежде и в прическе И. А. Крылов был небрежен и не любил, чтоб в комнатах его шарили, или, как говорят, убирали комнаты; оттого порядка в них было не много и пыль лежала повсюду. Такой же вкус имел Гете!

Ф. В. Булгарин
Воспоминания об Иване Андреевиче Крылове

Крылов никогда не был женат, но имел дочь.

М. А. Корф
Отрывочные заметки и воспоминания об И. А. Крылове

Господин Крылов был красивее, но господин Собакин был лучше. Собакин любил поговорить, и Фенюша в короткое время узнала от него всю историю его жизни. Рассказывал он, как пятнадцати лет

от роду начал службу в присутственном месте и как товарищи невзлюбили его за набожность и благонравие, потому что он стыдился вступать в непристойные беседы, что они вели, и являлся в присутствие без опоздания, и, перешагнув порог, никогда не забывал перекреститься и сотворить троекратно поклон образу Пресвятыя Богородицы Казанския, а затем уже тихонько садился в своем углу переписывать порученную от повытья бумагу и писал, не зыркая глазами в окно на хорошеньких девок, и оттого писал безошибочно, за что всегда был хвалим от начальства, а если не было никакого дела, то и тогда не сидел в праздности, а чинил перья, чтоб иметь порядочный запас, и при том каждое перышко пробовал на подкладном листе, дабы почерк постоянно оставался ровен и чист, без клякс и крючков, каковых начальники в его время вовсе не терпели и строго за то с писарей взыскивали. А еще он рассказывал про покойницу-жену Авдотью Никитичну (при имени которой обязательно всякий раз прибавлял: «царствие небесное и вечная память») — как она бивала его палкою и кидала в него горячими утюгами за всякое прекословие и особенно за неприятие богопротивных подношений от просителей и тяжущихся. Все это господин Собакин описывал весьма подробно, сидя на креслах у окна, тогда как Фенюша в это время стояла в дверях, держа в одной руке ополовник либо ухват, а другою рукою подперши щеку, и слушала со вниманием. Хотя рассказы повторялись многократно и всегда одними и теми же словами, и скоро Фенюша наперед знала, что будет сказано, но она не скучала воспоминаниями господина Собакина (которого во всех случаях называла просто «барин») — напротив, ей было весело и приятно оттого, что вот такой благородный человек, чиновник, и даже с крестом, ищет ее внимания и сочувствия к своей прошлой жизни.

До господина Собакина года три Фенюша служила в кухарках у вдовы флотского капитана, и к Фенюше сватался тамошний дворник, но она за дворника не пошла, а, подумавши, стала искать себе место у вдовца-чиновника, не слишком старого и не очень пьющего, чтобы быть хотя и не чиновницей, но хозяйкою в порядочном доме. Месяца не прошло с того дня, как Фенюша поступила к господину Собакину, а он уже перевел ее из маленькой конурки возле кухни в чистую светелку. Придя со службы и отобедав, господин Собакин садился у окна и глядел на улицу — не случится ли там чего-нибудь особо примечательного и достойного внимания, и если, к примеру, затеется собачья свара или извозчики подерутся, то он тогда тотчас кликал Фенюшу, чтобы вместе поглядеть, чем кончится дело.

На второй год совместного житья Фенюши с господином Собакиным у них родился мальчик, названный Тихоном, которому Собакин стал крестным отцом и к которому так привязался, что не отходил от колыбельки. Когда Тихон подрос, то господин Собакин начал с ним забавляться и, между прочим, учил Тихона петь песни. Если по праздникам приходили Иван Васильевич и Семен Ильич, служившие в том же департаменте, что и господин Собакин, то Фенюша ставила на стол большую миску щей с завитками, горшок каши с рублеными яйцами и мозгами, сосиски с горошком и большой

решетчатый пирог с яблоками, а господин Собакин после обеда выводил к гостям Тихона и говорил: «А теперь, господа, послушайте моего певчего», и Тихон старательно пищал: «Нас рано мати будила и говорила: ну теперь, дети, пора вставати», — и Иван Васильевич, Семен Ильич и господин Собакин покатывались со смеху. Но на шестом году Тихон заболел корью, и Фенюша с господином Собакиным его похоронили.

Господин Собакин очень убивался, начал почасту прикладываться к чарочке — чего прежде не бывало — и, выпивши, плакал. Или от непривычки к вину, или от огорчения его хватил паралич и он вскоре тоже помер.

Фенюше пришлось искать новое место, и тут-то она и нанялась к господину Крылову.

Господин Крылов был красивее, то есть выше и толще господина Собакина, но не имел ни того благонравия, ни тех чувств. От него Фенюша уже не слышала ни занимательных рассказов, ни ласковых слов. Он и вообще мало с нею говорил и, в отличие от Собакина, нисколько не вникал в ее ежедневные домашние заботы, даже никогда не заказывал ей обеда, а равнодушно ел то, что она ему подавала и, должно быть, и не замечал, что ест, потому что за едою всегда читал. Если Фенюша вдруг вовсе не сготовит обед, то он и тогда ее не ругал, а только говорил: «экая ты беспечная» и сам шел в чулан, накладывал себе из бочки миску квашеной капусты и ел капусту с черным хлебом и запивал квасом. Нередко господин Крылов и вовсе обедал не дома, а на стороне. В таких случаях он обыкновенно возвращался домой поздно, иной раз под утро, и Фенюша могла только гадать, где он пропадал. Нередко бывало, что, придя из должности и отобедав, господин Крылов раздевался и укладывался спать как бы на ночь — и спал до вечера, а там одевался и куда-то уходил со двора. Господин Собакин был домосед, а господин Крылов, напротив, гулена.

Гостей Крылов также принимал совсем иначе, чем Собакин. У него гости являлись во всякие дни, а не только по праздникам, являлись и утрами, и вечерами, без предупреждения и без торжественных приготовлений — Крылов никого никогда ничем не угощал, а только с гостями разговаривал, так что Фенюша и в этом случае оказывалась ни при чем. И разговоры тут были не те, что у Собакина, — там все больше перебирали товарищей по службе насчет награждений и производства в чины и кого жена поколачивает, а кто жену бьет. И Фенюше занимательно было все это слушать, поскольку от Собакина она знала про тех людей, про которых Собакин теперь говорил с Иваном Васильевичем и Семеном Ильичем. А Крылов со своими приятелями всегда говорили такое, чего Фенюша совсем не разумела и даже не могла понять, о чем они говорят, хотя и говорили по-русски.

Вечерами, сидя у ворот, Фенюша не раз плакалась на своего нового барина соседской кухарке старухе Пелагее:

— Все ему хорошо, все ладно. Была бы капуста да квас, а там хоть печь не топи.

— Чего же ты, дура, плачешь? — спрашивала Пелагея. — Ты радуйся, что барин попался не привередлив.

Но, хотя господин Крылов никогда ее не обижал, от его полного равнодушия ко всем ее заслугам и способностям Фенюша чувствовала ежечасную обиду.

Она думала, что господин Крылов более привяжется к дому, когда в доме появится ребенок, и ей казалось, что это будет мальчик совсем такой же, как ее Тиша. Но она во всем ошиблась — родилась девочка, и к тому же господин Крылов ни в чем не переменил своих привычек и девочкой, хоть и захотел быть ей крестным отцом, не занимался. Правда, если Фенюша уходила из дому, а ребенок на кухне начинал плакать, то Крылов садился к люльке, качал ее и прибаюкивал, но только Фенюша появлялась, он тотчас возвращался в залу на диван — читать и курить свои сигарки. Когда девочка подросла, то стала забегать в комнаты. Он ее не гнал, но и не приваживал. Только когда сигарка у него потухала, он звонил в колокольчик, и Саша — так назвали девочку — уже знала в чем дело и несла ему свечку. До восьми лет Саша жила на кухне, а потом господин Крылов отдал ее в пансион, куда надо было ежегодно платить двести рублей. Фенюша никак не хотела отдавать, но тут господин Крылов первый и единственный раз заговорил с нею пространно и ласково — описал в самом жалостном виде, что сделается с Сашей, если не дать ей благородного воспитания, как она должна будет выйти замуж за простого мужика, который станет ее тиранить, и как сама Фенюша тогда спохватится, что своими руками приготовила дочери мучение, начнет плакать и рвать на себе волосы, да уж будет поздно — и Фенюша от одних этих слов зарыдала, махнула рукой и согласилась.

Сперва Фенюша навещала дочь в пансионе, но потом подруги начали насмехаться над Сашенькой, что у нее такая мать мужичка, и она стала прятаться от Фенюши, а потом просто прогнала ее и не велела больше приходить.

И уж с этого времени Фенюша окончательно забросила домашние дела, комнаты сплошь заросли пылью и паутиной, а медвежья шуба Ивана Андреевича, которую он как-то велел проветрить на чердаке, оказалась там позабыта и провисела без малого год — пока ее нашел лазивший зачем-то на чердак дворник Федотыч — и была изрядно поедена молью. Из множества прежних своих занятий Фенюша теперь предавалась лишь одному — но зато предавалась сосредоточенно, страстно и постоянно — она занималась стиркою. Собрав по всему дому белье, платье, половики и даже всякую рвань, она отправлялась с утра на канал, устраивалась на плоту среди прачек и до самого вечера махала вальком — валяла, била и колотила податливое, безответное тряпье. Болтовня товарок, разнообразные всплески и всхлипы воды, а более всего это размашистое шлепанье куда и во что попало, эти сердитые, во всю мочь удары, в которые она вкладывала все накипевшие на сердце неудовольствия и досады, утешали ее и успокаивали.

Однако, облегчая душу стиркою до одурения, Фенюша так пристрастилась к портомойным занятиям, что, в конце концов, позабыла всякую меру и осторожность.

Как-то в октябре, в холодную погоду, когда уже и вода сделалась очень холодна, и резкий ветер с мокрым снегом разогнал остальных прачек по домам, Фенюша допоздна не уходила с портомойни и сильно простыла. На другой день она слегла и лежала в жару, среди дня размышляя о том, о чем обыкновенно размышляла только перед сном — как Саша ее выйдет замуж за большого барина, как у них пойдут детки и как она станет ходить за внучатами. Случилось так, что господин Крылов не хватился Фенюши ни в тот день, ни назавтра, потому что дома не обедал и возвращался поздно, и лишь на третий день заметил, что Фенюши что-то не видать, прошелся по квартире и обнаружил, что она лежит в своем закутке в совершенном беспамятстве.

— Экая ты беспечная! — сказал он ей по привычке и послал за лекарем. Лекарь пощупал ей лоб, приложил ухо к груди, прописал какое-то питье, велел обложить больную льдом и уехал. От льда Фенюша несколько очнулась и увидала, что возле нее суетится соседская кухарка старуха Пелагея, а рядом стоит господин Крылов. Это было в первый раз, что господин Крылов ею занимался, и Фенюша, хотя мысли ее мешались от лихорадки, все же почувствовала, что отношение к ней господина Крылова переменилось. Он был нахмурен, озабочен ее хворью и, указывая на Фенюшину постель, просил о чем-то старуху Пелагею, та что-то ему отвечала, и Фенюша слышала их разговор, но уже не имела сил понять его. Однако она видела, что господин Крылов наконец-то ее заметил, заметил ее болезнь, озаботился тем, что она помирает, — как никогда не был озабочен тем, что она живет возле него, — и Фенюша увидела, что она на верном пути, что для того, чтобы завоевать полное расположение господина Крылова, чтобы раз и навсегда добиться его внимания к себе, ей следует помереть вовсе...

Когда маленькую Сашу привели из пансиона, чтобы она простилась с матерью, та постояла на кухне, исподлобья глядя на гроб, потом побежала в комнату к Крылову, помолчала, уставясь в пол, и, наконец, спросила:

— Крестный, ты теперь возьмешь другую кухарку?

— Что же делать, — вздохнул Крылов, — возьму.

— И она тоже будет мне маменькой?

— Нет, — покачал головой Крылов, — она уж будет просто кухаркой. Маменька твоя померла.

— Вот и слава богу, — сказала девочка и сказала эти слова точно тем же тоном, каким говаривала их Фенюша, — вот и слава богу, а то я не хочу, чтобы кухарка была моей маменькой!

10

Нрав имел кроткий, ровный, но был скрытен, особенно если замечал, что его разглядывают. Тут уж он замолкал, никакого не было выражения на его лице, и он казался засыпающим львом.

В. А. Оленина Записные книжки

Он почти не говорил, но слушал — блестяще, если можно так выразиться, ибо его молчание сопровождалось чем-то вроде внутрен-

ней улыбки, как будто, наблюдая, он делал про себя много замечаний, которые, однако, никогда не собирался поведать миру.

И. С. Тургенев Крылов и его басни

Кто бы вы думали идет теперь мне навстречу? Это И. А. Крылов вместе с какими-то двумя военными, которые смеются, и немудрено, ибо Крылов большой весельчак, в беседе приятен и компанию оживляет. Судя по басням его, вы, верно, рисуете его в воображении вашем человеком ловким, легким и даже резвым. Если так, то вы ошибаетесь. Он росту несколько больше среднего, широкоплеч и толст. Ему лет за сорок пять. Лицом черняв, несколько важен, впрочем, в физиономии имеет больше веселого и располагающего в свою пользу, вообще что-то заключает в себе оригинальное и без дальних церемоний. Одет просто, не совсем чисто, фрак на нем по большей части серого цвета.

В. Г. Маслович Из записок

Трудно найти человека, которого жизнь была бы до такой степени обогащена анекдотическими событиями, как жизнь Крылова. По своему характеру, привычкам и образу жизни он беспрестанно подвергался тем случаям, в которых выражаются резкие особенности ума, вкуса, добродушия или слабостей. Если бы можно было собрать в одну книгу все эти случаи и сопровождавшие их явления, она составила бы в некотором смысле энциклопедию русского быта и русского человека — в виде Крылова.

П. А. Плетнев Иван Андреевич Крылов

Купец Перов, владевший в Колокольной улице каменными хоромами, первый этаж своего дома отдавал внаем лавочнику, торговавшему табаком, и мастеру-гробовщику; второй этаж, где квартиры были отделаны довольно богато, — солидным, достаточным людям: сенатскому столоначальнику, помещику из Новгородской губернии и вдове-полковнице; а третий этаж, где понаделано было много маленьких квартирок, набивал неважными чиновниками с женами, детьми и прислугой, селившимися несколько тесно. И вдобавок в подвале дома устроил род ночлежки, куда дворник за полкопейки пускал ночевать пришлых мужиков, спавших там вповалку на соломе. То ли мужики как-то забросили искру в солому, то ли подмастерья гробовщика заронили огонь в сухие стружки, служившие им постелью, но только однажды сентябрьскою ночью дом проснулся словно бы в жестокой горячке, что-то забормотал как в беспамятстве, заголосил, застонал, внутри его все загудело и он уже не мог избавиться от пламени, как от смертельной болезни, которая не выходит из тела, пока не изгонит из него все живое.

После пожара многих обитателей дома не нашли вовсе. Среди прочих не досчитались жильцов из третьего этажа — чиновника Коммерческого банка коллежского асессора Паршина с женою Софьей Ивановной и дочерью Оленькой. Сослуживец Паршина титулярный советник Квашнин три дня рылся на пепелище, думая отыскать хоть следы пропавшего семейства, но ничего не нашел. Квашнин собирался жениться на дочери коллежского асессора,

уже был обручен с нею и внезапное исчезновение Оленьки повергло молодого человека в ужасное недоумение и нестерпимое беспокойство. Он не смел надеяться, что его невеста как-нибудь спаслась, но в то же время не мог поверить, что больше никогда ее не увидит. Его воображению рисовались картины случайного спасения Оленьки, которая, быть может, одна только и уцелела из всего семейства и, обезумев, кинулась бежать прочь от проклятого дома, заблудилась в дебрях ночного города и подверглась каким-нибудь запутанным и таинственным приключениям на манер тех, что описывали в новейших французских романах (надо сказать, Квашнин был охотник до романов и даже немного поэт и два своих стихотворения за подписью «Н. К.» поместил в «Сыне Отечества» и одно за подписью «К-н» в «Соревнователе просвещения и благотворения»), и почти всякую ночь Оленька являлась ему в тревожных грезах так осязаемо, что всякий раз ему во сне становилось совершенно очевидно, что это он не спит, а видит ее наяву и, проснувшись, он все-таки не мог отделаться от убеждения, что если даже Оленька и вправду сгорела, то все равно не может быть, чтобы ее теперь совсем нигде не было, что тут какой-то обман, какая-то ошибка и что она все же где-то должна быть и, если получше поискать, то есть если день за днем ходить по городу, повнимательней всматриваясь в толпу и заглядывая во всякие закоулки, то, в конце концов, непременно ее встретишь — ведь встречаются же все герои в романах, даже когда приходит известие о смерти одного из них, которое после всегда оказывается ложным.

И отныне после службы и по воскресным дням Квашнин часами бродил по городу и вглядывался в лица и особенно в спины прохожих барышень, и очень часто ему казалось, что он видит свою Оленьку, и, холодея, он кидался следом за барышней, но либо она оказывалась другой барышней, либо он не успевал нагнать ее, и она терялась в толпе.

Слоняясь по улицам, Квашнин теперь часто попадал на пожары, а вскоре стал даже нарочно приглядываться, нет ли сигнальных шаров или фонарей на ближней каланче и если узнавал, что в какой-то части города горит, то брал извозчика и ехал туда, где горело.

В толпе, что всегда роилась возле горящих домов, как мошки возле фонаря, он постепенно стал отличать нескольких завсегдатаев, присяжных зрителей, пожарных театралов. Это все была публика низшего разбора — мужики, мещане, отставные солдаты да еще долгобородые старообрядцы, чаявшие, видимо, великого, всесветного пожара и Второго Пришествия. Среди любителей ужасных и ослепительных картин только один, подобно самому Квашнину, принадлежал образованному обществу. То был известный баснописец Крылов. И это явление прославленного поэта на фоне бестолкового, бессмысленного ужаса уличного происшествия странным образом подтверждало и усиливало роковые подозрения, которыми титулярный советник жил во все эти последние недели — со времени исчезновения Оленьки.

Квашнин и прежде не любил крыловских басен, а нынче его особенно раздражала простонародная затейливость крыловских оборотов и лубочная вульгарность шуточек вроде «ай, Моська! знать

она сильна» или «а философ без огурцов». Сам он сочинял стихи нежные и мечтательные, и мысли и чувства имел возвышенные, и никогда еще не опускался до серьезного рассмотрения прозаических, пошлых мелочей жизни. И только теперь, оглушенный этим гудящим, как огонь, беспокойством, наполнявшим всю его душу, которая совсем недавно была так свободна и независима и вдруг сделалась сама не своя от какого-то, по всей видимости, совершенно ничтожного, жалкого обстоятельства, он начал пристально всматриваться в лица людей, собиравшихся на пожар, как на балаганную потеху, и при этом неотступно думал, что ведь не могло же и вправду случиться, чтобы на глазах у бессмысленных мужиков такое вот сотканное из полуулыбок, недоговоренных желаний, нечаянных признаний и робких, милых порывов божественное создание, то и дело наматывавшее на пальчик свой шелковистый локон, его Оленька, так внезапно, безо всякой осмысленной причины превратилась во что-то никакого отношения к ней, прежней, не имеющее, отвратительное и пугающее, чему здесь нет ни места, ни даже мыслимого названия.

Чем пристальнее и мучительнее всматривался титулярный советник в окружающую жизнь, тем яснее ему становилось, что подобное превращение противоречило бы всем человеческим понятиям и всякому вероятию, а потому его, конечно же, не должно было и не могло быть.

Жизнь просто лгала.

Жизнь морочила.

И когда титулярный советник в один прекрасный день решился и вывел дело на чистую воду, он даже рассмеялся и просиял — впервые с тех пор, как исчезла его невеста. Потому что, взглянув на происшедшее трезво, он тут же обнаружил, что понапрасну все это время тревожился и страдал. Собственно, само это невыносимое беспокойство заставило его набраться смелости, которой ему прежде не хватало, и совершить новое коперниково открытие, заключавшееся в том, что все вокруг стоит на обмане и держится обманом, и куда ни оборотись, куда ни кинь — везде вещи несуществующие прикидываются существующими, и наоборот. Взять, к примеру, хоть сам небесный свод, который в любом, даже очень отдаленном уголке Земли виден совершенно отчетливо, — а между тем ведь его и нет вовсе. Или, скажем, удивительно белые и крепкие зубы мадам Шредер, его квартирной хозяйки, которая то и дело выказывала их в широкой улыбке, так что никто не мог бы подумать, что у ней нет зубов, а в то же время титулярный советник через случайно приоткрытую дверь как-то заметил эти зубы лежавшими в стакане на ночном столике. Или опять же огромный, совершенно в греческом вкусе храм не то Посейдона, не то Нептуна, выстроенный недавно французом Тамоном на глазах всего города — на оконечности Васильевского острова, далеко выходящей к середине реки и потому видимой со всех сторон, — ведь и храма тоже не было, а совершенно напротив, было торжище, гнездо голого практицизма, то есть Купеческая биржа. Или вот еще, если угодно, был будочник — мимо которого Квашнин столько раз ходил по Сергиевской улице, — будочник в бакенбардах и с алебардою, совершенно такой, как и

все другие будочники, а на деле не было и будочника, а был разбойник, который по ночам грабил и убивал прохожих. Соображая все это, титулярный советник Квашнин вполне проникся убеждением, что в действительности не существует ни мужиков, ни пожаров, ни пронзительных трещоток на сбруе принадлежащих к пожарному поезду лошадей, ни даже древнего, грубого лошадиного запаха, ни нагих обугленных трупов, ни баснописца Крылова и что смешно полагаться на очевидность в тех случаях, когда речь идет о спокойствии и счастье и вообще какой бы то ни было устойчивости этой жизни, потому что очевидность-то больше всего и врет. И даже знаменитый баснописец Крылов тоже врет!

Впрочем, относительно баснописца Крылова титулярный советник поначалу оставался в некотором сомнении. Крылов грозил было сделаться камнем преткновения для всей его уверенности в пустоте, глупости и лживости окружавшей призрачной суеты, но после как раз послужил непреложным доказательством полной правоты титулярного советника. Дело в том, что, будучи сам до некоторой степени литератором, титулярный советник Квашнин свел знакомство кое с кем из числа известных писателей, например с журналистом Гречем, с журналистом Измайловым, с издателем альманаха бароном Дельвигом, которые, по их словам, все ждали от Крылова новых его басен, а последний даже служил вместе с Крыловым в Императорской библиотеке и нередко встречал его у Жуковского. Так что выходило, что Крылов все-таки есть. Но тут надо было взять в соображение, что, скажем, какой-нибудь Гомер, не менее именитый сочинитель, чем Крылов, по утверждению ученых немцев, определенно никогда не существовал. Многие точно так же уверяли, что не было и знаменитого Шекспира. И что касается славного шотландского барда Оссиана, песни которого переводил покойный Державин, то и насчет него докопались, что и он был выдумкой, мистификацией и игрой воображения. И отчего же тогда не быть выдумкой и Крылову?

Титулярный советник критически перебрал в голове слышанное когда-либо о Крылове и даже подивился, как это никто не замечает совершенно откровенной и, можно сказать, дерзкой невероятности Крылова.

Во-первых, что касается его басен, то теперь даже и в журналах иногда писали, что крыловские басни — это что угодно, но только не басни, то есть не поучения, а, наоборот, едкие сатиры и эпиграммы. А простонародное лукавство его выражений — об этом в журналах не смели писать, но титулярный советник сам это знал — имело вид явной издевки над всякими поучениями, то есть над нравственностью, а также и над святой поэзией. Во-вторых, что касается его поведения, то в нем также нельзя было отыскать ни следа какой-либо основательности и откровенности, а одну только насмешливую уклончивость и скрытность. И вокруг этой странной скрытности плодились и множились бессчетные россказни, подобно облаку окутывавшие крыловское имя, так что невозможно было разглядеть, что прячется и прячется ли что-нибудь за завесою анекдотов и всяческих шутейных подробностей. Припоминая все приписываемые

Крылову забавные приключения, среди которых больше всего было таких, где Крылов учинял какие-нибудь проказы над известным графом Хвостовым (к примеру, напрашивался к графу на обед якобы с намерением послушать его стихи, а когда доходило до чтения, то, завалившись на диван, засыпал и храпел до вечера; или, встретивши графа в Летнем саду, выпрашивал у него только что отпечатанные в типографии новые его стихи и, выпросивши целый пук, тут же бежал с ними в нужник; или не соглашался слушать стихи Хвостова иначе как за сто рублей, а, получив деньги, норовил поскорее улизнуть — и все в том же роде), припоминая все эти совершенно неправдоподобные истории, которые тем не менее рассказывали в Петербурге везде, от великосветских гостиных до толкучего рынка, титулярный советник Квашнин и набрел на тайну мнимого крыловского существования. Титулярного советника вдруг осенило, и он постиг, что Крылов есть не что иное, как только олицетворенный упрек, приговор и мысленная казнь, свершаемые над старой литературой от имени новой. Верно, титулярный советник не сделал бы своего открытия, если бы все дело не обнаруживалось само собой в этой явно преднамеренной игре значащими прозваниями поэтов: при том, что оба они слыли баснописцами, один был Хвостовым, а другой — Крыловым, то есть первая фамилия откровенно намекала на то, что обладатель ее привержен стародавним, дедовским понятиям и тащится в хвосте нынешней словесности, тогда как вторая говорила о певце (недаром же взяты были фамилии именно птичьего толка), который летает, то есть высоко парит, на что указывал возвышенный оттенок слова «крыло». И, соответственно, первый поэт был особой важной, титулованной — да еще не просто российским графом, а, как говорили, не то сицилийским, не то сардинским, — а второй был простак, чуть ли не мужик в своих манерах и в своих прибаутках, и, конечно же, этот забавник по всем литературным канонам должен был дурачить и объегоривать сиятельного соперника.

Постоянно встречая на пожарах Крылова, титулярный советник всегда протискивался к нему поближе и, всматриваясь в крыловское лицо, всякий раз находил там новое подтверждение своих домыслов. На широкой, добродушной и до неподвижности спокойной физиономии Крылова по временам скользила странная, тоже неподвижная и убийственно спокойная усмешка, которая тут же растворялась в чуть колыхавшихся волнах крыловских щек. При теперешней необыкновенно обостренной восприимчивости своих нервов титулярный советник явственно ощущал в этой молчаливой усмешке то же ревнивое равнодушие ко всему на свете, которое слышалось ему и в крыловских баснях, — не злое, не жестокое, но какое-то жадное равнодушие — точно такое, какое было сутью этой простой, грубой и жадно бесчувственной окружающей жизни, особенно отчетливо являвшей свой истинный вид при неровном свете пожара. Титулярный советник мысленно вглядывался в то, что скрывалось за располагающей, бесцеремонной крыловской усмешкой, и не находил там ни проблеска надежды, а за одною усмешкой лишь другую, точно такую же, как и предыдущая, а за самой последней —

вовсе ничего, пустоту, отсутствие чего бы то ни было, в том числе и самого Крылова...

Разумеется, не одно убеждение в невероятности существования Крылова внушило титулярному советнику Квашнину презрение ко всему явному и очевидному. Не только оно побудило его радикально изменить свои понятия и образ жизни. Но это убеждение все-таки немало помогло ему в его победе над собственным здравым смыслом.

Кончилось все тем, что титулярный советник бросил службу, съехал от мадам Шредер в маленькую конурку и уже вовсе не помышлял ни о чем низменно-житейском. Полуголодный и в сильно потрепанной шинели целыми днями ходил он по городу, все вглядываясь во что-то, все что-то высматривая и выискивая.

Вскоре затем он куда-то пропал. Среди обыкновенных посетителей пожаров на этот счет поползли разные толки. Одни говорили, что будто бы он вошел в горящий дом и, хотя его удерживали, но он никого не слушал, а только твердил, что, дескать, нечего бояться, потому что пожаров не бывает,— и сгорел. Другие рассказывали, что он якобы в трактире говорил против властей, кричал, что никого не признает и за это был взят в полицию. Третьи слышали, что, напротив, он сам пришел в полицию и объявил, что теперь не солнце крутится вокруг земли, а земля вокруг солнца, и за это, по освидетельствовании его полицейским врачом, был посажен в желтый дом.

Впрочем, все это были только слухи, а куда на самом деле девался титулярный советник Квашнин и что с ним стряслось, этого никто так и не узнал.

11

Я был во дворце с дочерьми, выходил на Исаакиевскую площадь, видел ужасные лица, слышал ужасные слова и камней пять-шесть упало к моим ногам... Милая жена моя, нездоровая, прискакала к нам во дворец около семи часов вечера. Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятежа.

Н. М. Карамзин — И. И. Дмитриеву 19 декабря 1825 года

По естественному любопытству отправились мы с Иваном Андреевичем на Исаакиевскую площадь. Видели государя на коне перед Преображенским полком, потом прошли по бульвару, взглянули издали на мятежников, и тут-то Иван Андреевич исчез. Вечером того дня, собравшись в доме А. Н. Оленина, мы передавали друг другу виденное и слышанное, каждый новый человек приносил какие-нибудь слухи и известия. Является Иван Андреевич. Подсевши к нему, я спрашиваю: «Где вы были?» — «Да вот, я дошел до Исаакиевского моста..., пошел к Сенату и поравнялся с их толпою. Кого же я увидел? Кюхельбекера в военной шинели и с шпагою в руке».

М. Е. Лобанов
Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова

Крылов 14 декабря пошел на площадь к самым бунтовщикам, так что ему голоса из каре закричали: «Иван Андреевич, уходите, пожалуйста, скорей».

В. А. Оленина Записные книжки

Утром 14 декабря 1825 года Николай Михайлович Карамзин шел быстрыми шагами, направляясь от Зимнего дворца к Сенатской площади. Шуба его была распахнута и под нею виднелся парадный мундир тайного советника и голубая лента. Тонкие ноздри взахлеб вбирали морозный воздух, жидкие седые волосы развевались по ветру. Услыхав о мятеже, Николай Михайлович так заторопился, что позабыл где-то на дворцовом подоконнике свою парадную с белым плюмажем шляпу, и теперь мелкие снежинки таяли на его лысине и на высоком, узком челе.

Николай Михайлович уже более двадцати лет состоял придворным историографом, занимаясь беспримерным делом: поэтическим, изящным, но строгим слогом он рисовал картину прошедшего России, рисовал с возможной тщательностью и точностью, занимаясь этим, однако, не просто во славу поэзии, но ради своей веры. Давно потеряв привычку молиться и бывая в церкви лишь по обязанности, он свято чтил то, что именовал словом «честь»: независимое расположение духа и на нем основанную способность самоотвержения. И дивную панораму минувших веков он проходил своей мыслью лишь затем, чтобы прояснить неизменный и вечный смысл Истории: важнее завоеваний и поражений — добродетель, важнее жизни и смерти — сердечная свобода. И что ни попадало под его перо — злодейства, усобицы, казни,— вся тяжкая бессмыслица житейских неурядиц получала новое объяснение и оправдание, когда сквозь нее и благодаря ей открывалась сила людского духа, сопротивляющегося бессмыслице существования...

И теперь, поспешая на Сенатскую площадь, Карамзин шел туда, чтобы перед лицом свершающихся страшных событий смело исполнить свой долг летописца: увидеть и понять, кто в роковой час был славен, а кто бесчестен.

Несколько не доходя площади, а именно на Адмиралтейском бульваре, ему попался в толпе Крылов. Прежде Карамзин никогда не видал Крылова в толпе, на улице. В те утренние часы, от девяти до одиннадцати, когда Карамзин гулял по Фонтанке, Крылов еще спал — либо дома, либо в должности, а в те часы, когда Крылов шастал по городу, Карамзин сидел за своим столом и работал — от завтрака до обеда и еще после обеда до ужина, разбирая, сличая и дополняя воображением противоречивые свидетельства древних хартий.

Крылов внезапно оглянулся и увидал Карамзина. Они раскланялись. С площади доносились крики и выстрелы.

— Отчего это вы, Николай Михайлович, вышли без шляпы? — поднятые брови Крылова выразили сугубое удивление; из всего происходящего вокруг отсутствие шляпы на Карамзине явно поразило его сильнее прочих неожиданностей. — Оно и не по форме, и не по погоде. Легко прозябнуть.

Карамзин рассеянно провел рукой по голове.

— В самом деле, — сказал он, — я и не заметил.

Тут шальная, бегущая толпа их разъединила. Однако было уже поздно, заряд крыловской серьезности угодил в цель. Безмерно преувеличенное крыловское недоумение было сочувствием, неотличимым от насмешки. И сам ленивый взгляд Крылова, теперь, верно, наблюдающий за ним откуда-нибудь издали, забавляющийся его странным положением в этой кишащей толпе, становился для Карамзина вызовом, который он принимал с новой охотою и задором ввиду свершавшихся исторических событий. Потому что случайная на первый взгляд встреча была, конечно же, следствием хорошо продуманного плана Судьбы — в самый опасный и, быть может, последний свой час (невдалеке постреливали, у виска свистели камни, бросаемые чернью, а ведь волнение еще только закипало) ему и вправду надлежало встать лицом к лицу с тем, с чем он спорил и чему противостоял всю жизнь. То были русский холод и крыловская насмешливость.

Карамзин давно уже мучился душевной усталостью. Врачи посылали его в теплые края, но он не ехал. Пока он занимался русской историей, он должен был дышать русским воздухом, который своей суровостью то и дело вгонял его в жестокие лихорадки и не раз ставил на край могилы. И сейчас голову Карамзина овевал не только холод роковых мгновений, но и студила морозная сырость невского ветра. Нет, ему невозможно было уйти с площади, потому что в том ведь и состоит роль поэта, чтобы никогда не прятаться, а, напротив, оберегать собою других, принимая все мятежи в свою грудь (шуба — нараспашку), чтобы затем найти мир и тишину в собственной душе — найти ту гармонию, которой нет в жизни и которую поэту назначено нести в мир. И холод — что он, как не изначальный образ бунта? — переворот естественного хода жизни — сани по снегу, как лодка по воде — а вон карета по реке, как по дороге — жгучий воздух — каменная вода — перемена всех состояний — революция природы. Тогда как прообраз мировой гармонии — кабинет поэта — царство покоя и любви (жена, дети, друзья, мечты) — уютный, теплый уголок — земной рай. В свои шестьдесят лет он все еще мечтатель, и поэзия для него по-прежнему единственная область истинной свободы. А всякий выезд в свет был чуть не жертвой, всякое появление при дворе — чуть не пыткой. Нет, он никогда не терпел и не принимал пустого дома, улицы, многолюдства, беспорядка — всего того, чем был жив Крылов.

Карамзин пробирался вдоль длинного забора, за которым подымалась строящаяся огромная Исаакиевская церковь, как черновой эскиз расчерченная сеткой дощатых лесов. Он поравнялся с Сенатом и оттуда вышел к Исаакиевскому мосту. Голове уже не было холодно, ее только стянул тугой обруч. Но лютый воздух сделался прозрачной издевкой над привычным и понятным. Если бы можно было вернуться во дворец или хотя бы надеть шляпу — все встало бы на свои места. Но покуда почтенный историограф с непокрытой головою расхаживал по морозу среди ошалелой толпы, до тех пор городом владела нелепость. Мужики волокли куда-то и били по

зубам полицейского пристава, который обыкновенно сам бил их по зубам. Император, вместо того чтобы отдавать приказания своим поручикам, вел с ними переговоры через генералов, великого князя и митрополита, а поручики не соглашались на условия императора. Уличные мальчишки, которые вечно шныряли под ногами прохожих, тут, наоборот, облепили деревья и фонарные столбы. Генерал-губернатор Петербурга, герой Швейцарского похода и всех наполеоновских войн граф Милорадович лежал раненный на снегу у ног своих солдат, и ни один из тех, кто готов был бы умереть, вынося его из жаркого сражения, теперь не пошевелился, чтобы донести его до извозчичьих саней, — адъютанту графа пришлось кулаком увещевать каких-то наглых мужиков, чтобы помогли оттащить в сторону умирающего полководца. Между тем перед солдатским строем стоял в военной шинели, накинутой поверх фрака, со шпагою в одной руке и с пистолетом в другой небезызвестный Карамзину поэт и критик, помимо прочего переводивший на немецкий язык карамзинскую «Историю», долговязый Вильгельм Кюхельбекер. Во главе колонны матросов на площадь прибежал в продранном мундире с одним оторванным эполетом офицер морского экипажа Николай Бестужев, чья проза чрезвычайно нравилась Карамзину. Вдоль фронта мятежных войск прохаживался младший брат этого Бестужева, издатель «Полярной звезды». Должно быть, тут же был и другой издатель альманаха господин Рылеев. В домашних разговорах эти господа шли у него под именем Рыцарей Полярной Звезды. По части альманашной они были прямыми наследниками его «Аонид» и его «Аглаи». Да только ли по этой части! Все они с материнским молоком всосали его, карамзинскую, мечтательность, все они кадетами и лицеистами выучивали наизусть его повести и у него учились чувствовать. И вот теперь молодая литература вознамерилась шагнуть далее наставника, она захотела произвести мечты в действие. Мальчишки вообразили, что делать историю легче, чем писать ее. Он говорил им... Карамзин не успел повторить того, что он им говорил. В ответ на его мысли императорские войска расступились, и на сцену выкатились две пушки. А в другом углу площади показались еще две. Это значило, что сейчас юные безумцы лягут в утоптанный грязный снег, разодранные в клочки картечью.

Обруч, стягивавший голову, постепенно сжимался, становился нестерпимо тесен. От этого лобную кость резко ломило, особенно в надбровьях, и ломота ложилась тяжестью на глаза, так, что болезненно чувствовалась вся нежная округлость глазного яблока, и зрение теперь сделалось досадной неприятностью — очень хотелось смежить веки и не глядеть на свет, не видеть больше этого половодья шляп всех видов и фасонов (не считая глади солдатских киверов и касок и офицерских треуголок, площадь заполняла толчея мужицких кашников, верховок, шпильков, но также бабьих платков, поповских широкополых шляп, цилиндров, и только он один стоял с непокрытой головой, словно над покойником) и, главное, не видеть этих напряженно уставившихся в сторону мятежа пушечных рыл... Разумеется, если иначе нельзя, если того требует трагическое обыкновение Истории, если без этого не обойтись согласно жестоким

правилам ее искусства, — тогда пусть грянут пушки. Но только скорее — чтобы все уже было позади: и мятеж, и студеный ветер с Невы, и вопли раненых, и эта жуткая головная боль, от которой нет средств кроме тепла, тишины и домашнего покоя. Стреляйте же! Не медлите, черт возьми! Но возле пушек какая-то суета, возня и замешательство.

Кто-то рядом с Карамзиным говорит, что нету зарядов. Подвезли пушки, а заряды забыли, то есть взяли, но холостые, как для учений, потому что не сообразили, что можно в городе — и боевыми, по своим — и картечью. Не сообразили, что тут надо будет убивать. Но двое офицеров уже поехали на извозчике на Выборгскую сторону за боевыми зарядами. Сейчас привезут. Теперь уже скоро.

От свиты императора отделился молоденький адъютант, подскакал к Карамзину и, наклонившись, словно сообщал секрет, тихо сказал, что сейчас будут палить и попросил Карамзина уйти с площади — видно было, как он горд тем, что, быть может, в эту минуту спасает Карамзина для России. Карамзин кивнул и отошел. В самом деле, теперь можно было вернуться во дворец, забрать дочерей-фрейлин и ехать домой. Карамзин стал пробираться сквозь толпу. Кругом сновали, галдели, кричали.

Карамзину казалось, что с площади кто-то зовет его, он оглянулся и явственно различил в толпе мощную спину Крылова. Руки за спиной и к пояснице прижата толстая палка. Всем своим видом эта чрезвычайно благоразумная спина как будто говорила: «А я так, Николай Михайлович, как еду во дворец, шляпу от себя ни на шаг не отпускаю. Всюду с нею в обнимку. Стоит только отпустить — тотчас и позабудешь. И уж домой едешь с голой головой. И сколько этих шляп дворцовая челядь за мной подобрала — не счесть. После-то они их шляпникам сбывают. Я в лавках свои шляпы не раз видал. В них, я думаю, теперь полгорода щеголяет. Да вот, если приглядеться, то и тут господа все больше в моих шляпах: вот и на этом чиновнике будто моя, и на том...» И все встречные чиновники с крыловским изумлением поглядывали на развевающиеся по ветру седые пряди карамзинских волос.

Историограф еле шел.

Он все оглядывался. Он все ждал громовых раскатов с неба. Он ждал чего-то вроде весенней грозы, которая бы перекрыла глухой гул мороза. Но небо молчало.

Когда Карамзин уже вошел во дворец, где у окон застыли женщины и старцы, кто-то невидимый вдруг стеганул по воздуху тугим, здоровенным бичом — как это делает пастух, гонящий домой свое стадо, — и в ответ послышалось словно бы протяжное мычанье, рассыпалось жалобное блеяние, и шарахнулись еще какие-то нечеловеческие голоса; эти звуки, однако, не умиротворили душу, не успокоили ее, и все еще чудилось, будто рядом кидаются поленьями и булыжниками и в толпе недвижно маячит Крылов, заложив за спину суковатую палку и лишь медленно поворачивая тяжелую голову то направо, то налево, и ни удивления, ни досады, ни радости на его широком лице, а только равнодушное внимание.

Впервые в жизни Карамзин не мог справиться с волнением в собственной груди, потому что эта очередная историческая трагедия — сколько он их вообразил, пережил и описал! — никак не хотела вмещаться в позолоченную раму искусства. История управляла им, а не он историей. Впервые события не укладывались в слова, ломая и корежа фразы. И вместо изящной мысли выходила несуразица. Вместо душевной свободы — холод в груди. То ли безнадежность, то ли простуда. С непривычки то и другое было одинаково опасно.

Даже в 12-м году, когда горела Москва, а с нею книги и рукописи, не было такой безнадежности. Потому что тогда свои не целили в своих, как теперь. Эти юнцы в офицерских мундирах — они восприняли его уроки. Все, кроме одного: они не поверили, что свободным можно быть только самому по себе, отдельно, в одиночку, вне толпы. Они не поверили, что свобода мыслей и чувств требует большего мужества, чем бунт на площади. Они возжелали свободы общедоступной, явной и внешней — и взбудоражили толпу, и произвели насилие, и святую мечту опозорили кровавым бичом палача...

А рядом стоял баснописец Крылов и всем своим видом уверял, что ничего особенного не случилось, что это так всегда было, есть и будет, потому что вовсе нет и не может быть никакой свободы — ни тайной, ни явной — кроме свободы из-за угла посмеиваться надо всеми, а заодно и над собой.

Но во что же тогда верить? И как жить в ледяном безверии? Ведь ничего не может быть бесчувственнее и безбожнее этого окончательного осмеяния самого себя и всего божьего творения в самом себе! Да, господа, тут бунт, возмущение почище площадного, но ведь зато — вместе с тем — и казнь похуже площадной: вечный холод, жгущий огнем Дантова ада.

Честный человек не должен подвергать себя эшафоту. Тем более — безнадежности. Но его надежды сделались смешны там, где Крылов небрежно прогуливался подле Сената — словно нынче в Петербурге не было важнее происшествия, чем оплошность знаменитого историографа, позабывшего надеть шляпу?..

Недели три после 14 декабря Карамзин не мог избавиться от мучительной тоски. А потом вдруг открылось воспаление в груди. Призвали лучших докторов, и болезнь удалось кое-как смягчить, но не излечить. Врачи снова заговорили о поездке в теплые края, почитая перемену климата единственной надеждой на спасение. Карамзин уступил. Согласился года два провести в Италии. Император уже распорядился приготовить для Карамзина корабль. Но позабыли поторопить весну. Морозы все не кончались, больная душа Карамзина все коченела, силы ее слабели и их не хватило, чтобы дотянуть до лета.

Как-то раз, вскоре после декабрьского мятежа, император застал Крылова за малым столом у императрицы, разговорился со стариком и, между прочим, спросил, как это его угораздило в самый день бунта забрести на Сенатскую площадь.

В ответ Крылов беспечно усмехнулся, глядя ясными глазами в прозрачные глаза царя: — Я, ваше величество, думал, что пожар.

ЭПИЛОГ

...Ох, басни — смерть моя!

А. С. Грибоедов. Горе от ума.

...Не имея никаких родственников, никому не состоя по актам и без актов по сие число должным, и видя всегдашнее полное уважение, преданность, искреннее ко мне и всегдашнее усердие и услуги во всем до меня относящемся, Штаба его императорского высочества главного начальника военно-учебных заведений аудитора Каллистрата Савельева, сим моим духовным завещанием завещаю: в вечную его собственность и владение все благоприобретенное мною имение, движимое и недвижимое, состоящее как то: петербургской части 2 квартала под № 487-м каменный дом, со всеми при нем строениями и землею, а равно капитал, состоящий в банковых билетах и по каким-либо другим актам и без актов в долгах, все, что окажется; сверх того: находящиеся в квартире моей все вещи, как то: серебро, всякого рода посуда и все без исключения вещи, экипажи, лошади, а также написанные мною в продолжение жизни басни и прочие сочинения, с правом издавать в продолжении двадцати пяти лет со дня моей смерти; одним словом все, что состоит в моей собственности и моем владении, я, Иван Крылов, после смерти моей предоставляю в полное распоряжение и вечное владение Каллистрата Савельевича Савельева, но при жизни моей, в случаях какого-либо неуважения его ко мне, предоставляю себе право сие мое духовное завещание или изменить, или переменить, или совершенно уничтожить, а после подписи оного духовным моим отцом и свидетелями — прошу хранить оное до смерти моей его превосходительство генерал-майора Якова Ивановича Ростовцева.

Писал со слов завещателя Белевский купеческий сын Михаил Иванов сын Щукин.

Подпись: Статский Советник и кавалер Иван Андреев сын Крылов.

Что духовное сие завещание писано завещателем Иваном Андреевичем Крыловым в здравом уме, светлой памяти и чувствах о том свидетельствую — духовный его отец Морского собора протоиерей Тимофей Никольский.

У сего духовного завещания свидетелем был и руку приложил — коллежский советник и кавалер Сергей Сергеев сын Шилов. У сего духовного завещания свидетелем был и руку приложил — коллежский асессор и доктор медицины Фердинанд Яковлев сын Галлер. У сего духовного завещания свидетелем был и руку приложил — почетный гражданин опочецкий 2-ой гильдии купец и кавалер Василий Михайлов Калчин.

Когда Сашенька — дочка Ивана Андреевича — пятнадцати лет была выпущена из пансиона, то поселилась у крестного отца, то

есть у Ивана Андреевича. Год спустя Иван Андреевич выдал Сашеньку замуж за чиновника ведомства военно-учебных заведений Каллистрата Савельева. Еще через год появилась на свет Наденька. С этого времени Иван Андреевич стал почасту заглядывать к дочери, чтобы поглядеть на Наденьку, вскоре он заезжал сюда уже всякий день и кончилось это тем, что Иван Андреевич переселил Наденьку вместе с ее родителями и нянькой к себе на квартиру...

Постепенно дедушка Иван Андреевич сделался постоянным Наденькиным занятием наряду с ее любимой куклой Глашею, которая была просто маленьким тряпичным чучелом. Лишь оттого, что дедушка вырос гораздо выше и толще куклы, Наденька не могла обращаться с ним точно так, как с Глашею,— он был ужасно как тяжел и неповоротлив. Глашу девочка нянчила, баюкала, расчесывала ей веревочные волосы и вплетала ей ленточки в косы. Дедушку она привязывала за ногу к столу или к креслу и запускала гребень в его седые кудри. Он морщился и кряхтел, но не противился и в награду иной раз украшался косичкою.

При всем различии между дедушкой и куклой существовало, однако, удивительное сходство в том, что ни у него, ни у нее не было никакой определенности во взгляде. У дедушки по лицу словно все время проходили облака. А кукле лицом служила розовая тряпочка, где когда-то наведены были черной краской глаза и нос и красной краской рот, но от времени краска слиняла и стерлась и теперь Глаша глядела на Наденьку, улыбалась ей и сердилась на нее подслеповатыми разводами, накрепко въевшимися в розовую ткань и уже не боявшимися губительного действия будущих лет. При этом Глаша раз и навсегда была обтянута зеленым в цветочек замызганным ситцевым платьицем, которое Наденька при всем желании не смогла с нее содрать просто потому, что оказалось, что вся Глаша заключалась именно в этом платьице, то есть ситцевом лоскутке, набитом колкою паклей. Другое дело дедушка. У него было три совершенно различных наряда, и в зависимости от того, в какой наряд он облачался, заметно менялось и его лицо.

Самым привычным и не страшным было то дедушкино лицо — мягкое, сонное, улыбчивое,— которое он надевал вместе со своим старым дырявым халатом. Этот халат дедушка надевал и по утрам, встав от сна, потом надевал его днем, вернувшись с прогулки, а если отправлялся обедать в Английский клуб, то по возвращении из клуба. Уезжая в клуб, дедушка всякий раз наказывал, чтоб тотчас послали за ним как только Наденька проснется и попросит чаю. Тут дедушка приезжал, они с Наденькой садились к самовару, а кухарка Фекла подавала им только-только испеченные ватрушки — теплые, нежные и румяные... Великорослый дедушка и крохотная Наденька сидели друг против друга и тянули чай с блюдца. Глотнув чаю, Наденька обращалась к ватрушке и ее носик все глубже уходил в нежные недра пирожной пещеры. Наденька действовала с увлечением. Дедушка сочувственно подливал чай. Дедушка, надо думать, знал, что лакомая ватрушка была для Наденьки не просто куском печеного теста с творогом, но необходимым торжеством: очередным избавлением от несносной тревоги, которая под видом

голода вновь и вновь подступает к маленькому животику. Еще не вполне освоившись (по причине своего малолетства) с разнообразием и роскошью впечатлений бытия, что внушаются зрением и слухом, Наденька могла утолять подступавший к детской душе страх лишь той божественной гармонией, которую позволительно было пробовать на ощупь либо на язык. И потому-то, уплетая ватрушку, она при этом сама отдавалась ватрушке с восторгом, достойным высокой страсти. Тут было самозабвение. Слегка подсоленное сдобное тесто и замешанный на ванильном сахаре творог вступали между собою в спор, который подхватывали кисловатые переливы цукатов и ярко-сладкое пение изюминок, что тянули основную мелодию, и спор этот разрастался, пронзительно отдавался во всем Наденькином существе и разрешался тихим покоем в Наденькиной душе, печально-светлым воспоминанием о съеденной ватрушке...

По-иному сладостной была расслабляющая, отнимающая все силы, теплая, томительная нега подушки и перины. Они погружали Наденьку в легкий сон своей бесконечной податливостью, этим плавным покачиванием кроватки — вверх-вниз, вверх-вниз — и качающимся напевом колыбельной песни, которую тянула над нею нянька Василиса, а на берегу уносившей ее невесть куда дремы Наденька привычно видела старый дырявый дедушкин халат и глубокие морщины, и толстые складки дедушкиного лица, раздвигавшегося в улыбке: всякий вечер дедушка непременно приходил поцеловать Наденьку перед сном. Дедушка наклонялся над нею и ворот его халата распахивался на груди, будто занавес в балаганчике, и словно бы от восхищения у девочки перехватывало дыхание от смешанного запаха табачного дыма, кофея, кислой капусты, стоптанных шлепанцев и свежевыглаженного голландского полотна (дедушка имел привычку всякий день менять сорочку) и еще десятка менее явственных ароматов, из которых каждый изображал перед Наденькой какой-нибудь угол квартиры — кто прихожую, кто буфетную, кто кабинет, кто кухню, кто людскую,— и словно бы на маленькой сцене девочка в один миг видела весь дом, все его закоулки и связанные с каждым из них происшествия минувшего дня.

И уже совершенно игрушечным балаганчиком — даже забавнее настоящего ярмарочного, потому что Наденька была тут разом и зрителем, и паяцом — становился дедушкин халат, когда нагулявшись и набегавшись по двору вместе с маленьким братцем (который был на два года младше Наденьки), исходив вдоль и поперек все лужи, намокнув и перепачкавшись, как цыплята, дети прибегали домой, кидались стремглав в дедушкин кабинет, и Наденька шептала с веселым ужасом:

— Дедушка, миленький! Спасите нас! Спрячьте!

И покоившийся в своем огромном кресле Иван Андреевич тонко подмигивал, распахивал широчайшие полы халата и накрывал ими детей, которые, устроившись под дедушкиным креслом, делались невидимы для няньки Василисы,— а она-то бегала, она-то кудахтала, как курица, она-то искала и кликала их по двору и по всему дому и, наконец, нигде не найдя, заглядывала в кабинет и спрашивала дедушку, не видал ли он озорников.

— Я в толк не возьму, Василиса, — пресерьезно отвечал ей Иван Андреевич, — о ком это ты говоришь?

— Известно о ком, — ворчала Василиса, — о барчуках-проказниках.

— Ну, Василиса, — нарочито громко возражал дедушка, — во-первых, они не проказники, а очень милые и послушные дети, а, во-вторых, отчего ты вздумала их у меня искать? Они, должно быть, в детской. А не то в кухне помогают Егоровне пироги печь. Ты поди-ка там погляди...

Если дедушка отправлялся куда-нибудь из дому, то надевал длинный темно-серый сюртук.

Такого халата, как у дедушки, не было больше ни у кого в городе — во всяком случае, Наденька ни на ком ничего похожего не видела — а сюртук был точным подобием всех других сюртуков, без конца мелькавших на людной улице. Надев сюртук, дедушка притворялся одним из этих чужих господ, только лицо у него оставалось дедушкино, хотя и делалось несколько более жестким и суконным, чем бывало без сюртука. И когда на дедушке был сюртук, то Наденьку всегда очень забавляло и вместе пугало, что можно было вообразить себе, что это не чужой сюртук надет на дедушку вместо приличного дедушке халата, а на чужого господина надето дедушкино лицо.

В конце зимы — на Масленой неделе — и потом весною — на Пасху — дедушка, случалось, брал Наденьку с собой на прогулку и тогда они вместе шли под балаганы.

Большие дощатые сараи, над которыми вились пестрые флаги, стояли либо на льду Невы, либо на площади перед Адмиралтейством, либо на пустынном Царицыном лугу. Раздольные заснеженные равнины реки и петербургских площадей напоминали издали белые скатерти, на которых цветасто разукрашенные балаганы, высоченные катальные горы, всевозможные качели и карусели расставлены были, словно угощение на праздничном столе. И от этого стола за версту тянуло горячими блинами и калачами, пирогами с капустой и гречневой кашей, медовыми пряниками и медвяным сбитнем. И весь толпившийся здесь народ без церемоний угощался — хоть с себя заложить, а масляну проводить! — всякий что-то кусал, жевал, пил, прихлебывал, лузгал, грыз, обсасывал и облизывал.

И вместе с едой — с тем же точно аппетитом, что и всякую ярмарочную снедь — народ вкушал и пряные балаганные зрелища: плясуны прыгали на канате так, как на полу, штукари глотали яйца и вытаскивали изо рта живого гуся, слоны щеткою чистили свои ноги, платком смахивали пыль со спины и звонили в колокольчик. И по лицам, и по всему поведению простолюдинов можно было заметить, что от лакомств, которые глотали они глазами и ушами, удовольствие получалось совершенно того же рода, что и от лакомств, которые клали в рот. Все это гудящее, галдящее, вскрикивающее, выкликающее и зазывающее празднество посвящено было именно насыщению, и нельзя было разобрать — калачами и пряниками насыщаются души или шутовскими проказами утешаются животы? Видно было только, что челюстями всякий действует сам по

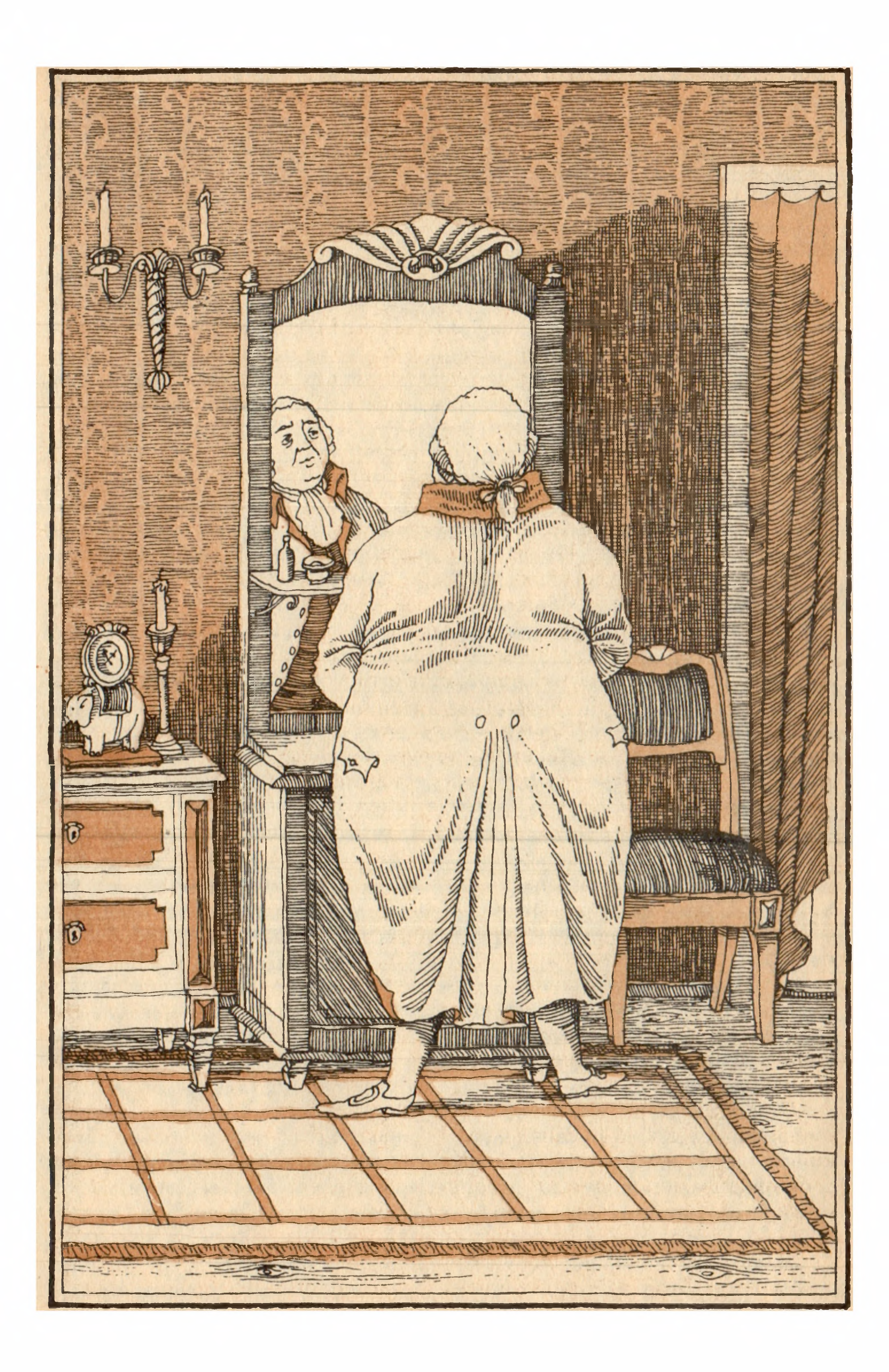
себе, отдельно и порознь, а слушают и глазеют все вместе. Вся толпа разом и сообща упивалась этими простыми и доступными до съедобности балаганными забавами — словно бы не куча зрителей, а один огромный Здоровяк-Объедало, имя которому было также Зевака и Ротозей, пришел похохотать в веселой пирушке и попировать в обильном увеселении. И Наденька в этой слитной толпе чувствовала, что и она тоже играет тут свою роль, а дедушка, который накупал ей ярмарочные сласти — баранки, пряники, леденцы, маковки — и сам ел вместе с нею, дедушка в его мимохожем, в его случайном сюртуке изображал тут именно зрителя и был, видимо, самым главным из всех любопытствующих и глазеющих, потому что балаганные «деды», фокусники и гаеры, завидев его в толпе, начинали со своих балкончиков наперебой зазывать его как никого другого:

— Иван Андреевич, пожалуйте! Иван Андреевич, взойдите к нам! Милостивые государи, потеснитесь — дорогу Ивану Андреевичу Крылову!

И полицейские в черных мундирах и треугольных шляпах, прохаживавшиеся между балаганами для порядку, все отдавали дедушке честь. И Наденьку это не удивляло, потому что по рассказам няньки Василисы она знала, что важнее дедушки только сам царь, но что и царь любит дедушку, жалует его и что дедушка ездит к царю в гости. Наденьку тут занимал вопрос: умеет ли царь делать то, что умеет дедушка? Дедушка умел пускать дым ровненькими колечками, которые догоняли друг друга и словно бы нанизывались на нитку, как баранки. Дедушка умел представляться волком, медведем и картавой вороной, и так похоже, что, когда он по-волчьи щелкал зубами, Наденька визжала со страху, но тут же просила его еще немножко поволчиться. И если Наденька вдруг говорила: «хочу леденца», то дедушка преспокойно опускал руку в карман и давал леденца, а если она ни с того ни с сего просила: «дедушка, вынь котеночка», то дедушка шарил поглубже за пазухой и вытаскивал рыжего котенка. Наденька была уверена, что дедушка может достать из кармана или из рукава хоть телегу с лошадью, но боялась просить, потому что маменька бранила ее и за котенка. А как-то раз, когда Наденька с дедушкой видели в балагане индуса, бросавшего в воздух светящиеся мячики и помыкавшего ими так, что они начинали крутиться возле его головы, дедушка где-то достал себе таких же мячиков и месяца через два, когда Наденька уже позабыла про факира, тихонько поманил ее в кабинет и, усевшись на пол, точно как индус, стал кидать и ловить мячики, которые летучим венком заплясали возле его большого лба...

Представления о дедушкином чудотворстве странным образом смешивались с доходившими до Наденьки отзвуками великой дедушкиной известности и славы, и все это почему-то виделось Наденьке с окончательной ясностью именно при взгляде на дедушкин чиновничьий мундир, который сам по себе был очень наряден, но стоило дедушке надеть его, как становился на диво неказист.

Наденька видела на дедушке мундир не чаще, чем раза два или три в году. Выбитый и вычищенный камердинером Петром, мундир был светло-зеленый, разукрашенный золотыми нашивками, блестев-



ший большими медными пуговицами с орлом и сверкавший на груди, чуть выше живота лучистой орденской звездой. И вся эта мундирная торжественность и красота топорщилась, кособочилась и уморительно норовила стать торчком, когда ей приходилось облегать дедушкино халатное добродушие.

От няньки Василисы Наденька знала, что дедушка надевает мундир всякий раз, когда едет во дворец к царю, к царице и к царским деткам.

Судя по тому, как деревянно и вместе очень важно выглядел дедушка в своем парадном мундире, Наденьке представлялось, что в царский дворец дедушка едет затем, чтобы делать там что-то очень забавное и очень удивительное — что-то вроде того, что делают ярмарочные штукари в балаганах. Наденька пыталась вообразить себе, какие именно коленца откалывает дедушка в царских палатах — становится ли он на голову и болтает в воздухе ногами, или ходит по канату, держа в руках длинный шест, или подкидывает в воздух чайные блюдца, чашки, молочник и даже самовар и ловит их на лету (как это делал один ловкач в прошлом году у Адмиралтейства). Наденька была уверена, что дедушка, если захочет, по части всяких проказ и выдумок заткнет за пояс любого ярмарочного факира.

Наденька не раз просила дедушку, чтобы он взял ее с собой во дворец, но дедушка всегда отвечал:

— Нельзя, милая. Фрейлины заругают.

Но вот однажды — это было в начале зимы — все домашние стали вдруг говорить тихо, а маменька быстро проходила мимо детской на кухню и обратно, и глаза у нее сделались красны. Маменька была так озабочена, что несколько дней совсем не замечала Наденьки. Дверь в дедушкин кабинет была плотно притворена и Наденьке не велели туда входить. Но зато часто приезжал знакомый Наденьке доктор Галлер и еще какие-то чужие люди, а потом зачем-то приехал священник. Наденька сперва подумала, что дедушка заболел, но тут камердинер Петр вынес в людскую дедушкин мундир — долго чистил его щеткой и гладил утюгом, а затем понес дедушке. И Наденька решила, что дедушка должно быть здоров, раз он собирается ехать во дворец. Но в доме отчего-то было большое беспокойство, все ахали, шушукались по углам, бабы плакали, и пуще всех няня Василиса, которая подолгу крестила Наденьку и говорила про дедушку что-то жалостливое. И Наденька не знала, что и думать.

А через три дня рано поутру няня Василиса вдруг нарядила детей, маменька взяла за руку Наденьку, папенька взял за руку ее маленького братца, они сели на извозчика и поехали через мост и остановились перед большими воротами.

Первое, что увидела Наденька, спрыгнув на землю, были длинные высокие дроги, покрытые, словно стол, черной скатертью. В этот огромный стол впряжены были парами шесть лошадей, одетых от ушей до копыт в черные балахоны — совсем как паяцы в балагане. А по бокам колесницы стояли настоящие чучелы в мешковатых хламидах — и опять-таки черных. Они держали в руках зажженные факелы, которые днем ничего не освещали, но зато испускали тягучие дымы, окутывавшие окрестность кисейной мутью.

Идя за маменькой, Наденька вошла в богатые покои, где пахло ладаном и горели лампадки, как в приходской церкви, куда Наденьку водили всякое воскресенье. Но здесь было так нарядно и многолюдно, как в ярмарочном балагане. Наденька решила, что это, верно, и есть царский дворец, куда ездит дедушка. Маменька осторожно протискивалась вперед, кланяясь господам и дамам, от которых пахло такими красивыми запахами, каких Наденька никогда прежде не слыхала. И тут Наденька увидала — кого же? — дедушку, который на самой середине залы и как ни в чем не бывало лежал в довольно глубоком ящике, из которого чуть-чуть виднелось его лицо и живот в мундире. После необыкновенных лошадей и факельщиков дедушка, лежащий в ящике, Наденьку нисколько не удивил. Она догадалась, что происходит какое-то совсем особенное представление, в котором дедушка играет главную роль (даром, что лежит в ящике и притворяется спящим). А кособокий важный мундир, что дедушка напяливал, отправляясь в царский дворец, оказался и впрямь ненастоящей одеждой, а нарочной, шуточной.

Наденьке тотчас вспомнилось, что она однажды уже видела очень похожую игру, когда балаганного паяца спрятали, схоронили в ящике и ящик накрыли крышкой и стали гвоздями заколачивать, но не успели заколотить, как схороненный паяц спрыгнул откуда-то с потолка, а вся публика обрадовалась и загоготала, загудела и замотала головами.

Вообще в ярмарочных балаганах (их называли «балаганы под качелями») публика была совсем не та, что здесь. Здешняя тоже теснилась и любопытствовала, глазела по сторонам, переговаривалась и переходила с места на место, но там все были как дома, а тут глядели хмуро и, казалось, хотели поскорее уйти.

И когда ярмарочного паяца укладывали в ящик, то двое других громко над ним голосили — один тоненько и часто-часто, а другой протяжно и густо. И все вокруг смеялись.

А в царском балагане, когда вышли священник и дьякон, и священник стал тощим голосом читать молитвы, а дьякон отвечал ему зычным пением, никто даже не улыбнулся. У всех лица были скучные либо насупленные, а один старичок, стоявший возле Наденьки, еще и заплакал.

— А чего он плачет? — тихонько спросила Наденька.

— Дедушку жалко, — шепнула маменька.

— Почему жалко?

— Что дедушку схоронят.

Это было непонятно. Паяца тоже хоронили, но его никто не жалел.

— Ведь дедушка потом спустится.

Маменька не слушала. Наденьке очень захотелось опять поглядеть на дедушку, но его загораживали чужие спины. И только теперь Наденька вдруг отчетливо догадалась, что с дедушкой что-то неладно. Ей припомнилась заплаканная нянька Василиса и небывалая тишина в доме.

— А где дедушка?

Маменька перекрестилась.

— На небе.

Наденька поглядела вверх и увидала на потолке красиво нарисованную синеву и облака. Балаганный паяц тогда спускался с потолка на тоненьких качелях.

— А почему дедушка не спускается?

Маменька не слушала.

И тут где-то запел хор — громко, важно и горестно. И Наденька увидела, что уже не один старичок, но еще две-три старушки в толпе утирали слезы и что маменька тоже заплакала. И Наденька поняла, что этот балаган совсем не то, что под качелями, что этот устроен не для того, чтобы смеяться, а чтобы тут плакать, и что шутка, которую нынче играет дедушка, вовсе не весела, а, наоборот, жуть как печальна. И это было непривычно и странно. И Наденька заревела во весь голос.

В течение всей первой недели ноября 1844 года между левым берегом Невы и Васильевским островом, где по выходе в отставку поселился Крылов, не было никакого сообщения. Река встала и, как всегда в эту пору, наплавной мост был на несколько дней убран, лодки не ходили, а лед еще недостаточно окреп, чтобы можно было перебираться через реку пешком.

Первым сообщением, которое 9 ноября пришло в город с Васильевского острова, было сообщение о кратковременной болезни и смерти Ивана Андреевича Крылова.

Если бы баснописец занемог в другое время, то весть о его болезни тотчас сделалась бы общей городской вестью. Не только приятели и знакомые, но и тысячи посторонних людей с утра до ночи приходили бы к его дому справляться о его здоровье. Близкие приятели, без сомнения, не оставили бы его в торжественную минуту разлучения с жизнью и, вероятно, своим вниманием и заботливостью много докучали бы ему. Крылов словно нарочно выбрал самое удобное время, чтобы умереть спокойно, и словно бы заранее решил, когда это лучше сделать.

Такое предположение подтверждалось тем странным обстоятельством, что 10 ноября около тысячи особ в городе получили книгу басен Крылова в траурной обертке и с надписью, отпечатанной на заглавном листе: «Приношение. На память об Иване Андреевиче. По его желанию. Санкт-Петербург, 1844, 9 ноября, 3/4 8-го, утром».

В городе много было разговоров об этих загробных подарках. Некоторые даже полагали, что Крылов заранее назначил день и час своей кончины — даже с точностью до одной минуты — и сперва приготовил книги с дарственной надписью и назначил их к рассылке, а затем уже помер. Эта чрезвычайная распорядительность баснописца так взволновала умы, что начальнику Третьего отделения графу Алексею Федоровичу Орлову пришлось вмешаться и поручить своим агентам исподволь довести до сведения публики, что печальная надпись на экземплярах крыловских басен отпечатана была не самим автором, а уже после смерти Ивана Андреевича его душеприказчиком, начальником Штаба военно-учебных заведений генерал-майором Ростовцевым. У того под рукой были и типография, и посыльные,

отчего и произошла та невероятная быстрота в исполнении последней воли покойного, которая многих навела на мысль, что его прощальный поклон друзьям-читателям прислан был уже с того света, то есть что он сам извещает их о собственной кончине.

В то утро, когда Петербург внезапно узнал о смерти баснописца, граф Орлов был во дворце (где бывал почти всякий день) и слышал, как генерал-майор Ростовцев, нарочно для этого позванный к государю, рассказывал о последних минутах Крылова и, между прочим, о том, что роковая болезнь приключилась у старика от несварения пищи в желудке (он поел протертой каши из рябчиков) и о том, что всего лишь за несколько часов до печальной развязки Крылов по поводу протертой каши позабавил Ростовцева анекдотом о мужике, грузившем на воз рыбу и навалившем непомерную поклажу — чем, однако, не думал он обременить хилую свою клячу, потому что рыба была сушеная. «Так и я, братец Яков Иванович, — говорил Крылов, — вообразил, видно, что протертая каша вроде как сушеная, да и наклал ее себе свыше меры». И по этому поводу довольно долго говорили об известной всем неумеренности Крылова в еде, которой при богатырском своем здоровье он любил отчаянно щегольнуть. А на другой день граф случайно услыхал от лейб-медика Арндта, лечившего тогда наследника по поводу волдыря-карбункула, что баснописца Крылова сгубила не съеденная в избытке каша, а двустороннее воспаление в легких. Арндт на вопрос графа положительно утверждал, что знает об этом от лекаря, пользовавшего Крылова перед смертью.

Граф встрепенулся. Его отчего-то сильно поразило противоречие двух рассказов. Он заметил Арндту, что и Ростовцев слышал о болезни Крылова от такого лица, которого это дело весьма близко касалось — от самого Ивана Андреевича. И тотчас же приказал доставить из Физиката сведения, отчего умер статский советник Крылов. Было получено свидетельство, гласившее: «Дано сие в том, что состоявший на пользовании моем господин действительный статский советник и кавалер Иван Андреевич Крылов действительно страдал воспалением легких (Pnevmonia nota) и волею божию 9-го сего ноября нынешнего 1844 года помер от паралича в легких. В чем и удостоверяю. С.-Петербург, ноября 11-го дня 1844 года. Доктор медицины и коллежский асессор Ф. Галлер».

Граф Орлов не был деятелен, напротив, был известен своей леностью, но тут он сам приехал к Ростовцеву и еще раз в подробностях расспросил его об обстоятельствах смерти Крылова. Яков Иванович, между прочим, сказал графу, что Крылов, не обнаружив ни малейшего знака малодушия, легко покорился неизбежности и наотрез отказался следовать предписаниям врача, предлагавшего какие-то припарки и микстуры. Подумав, Яков Иванович согласился, что при несварении пищи потребно было бы скорее промывание желудка, а не припарки. Он также припомнил, что доктор в самом деле все выслушивал Крылову легкие и качал головой, но вместе с тем вновь дословно повторил покаяние Ивана Андреевича в необдуманном увлечении злосчастной кашей и анекдот о мужике и сушеной рыбе. Яков Иванович еще припомнил, что за несколько часов

до смерти Крылов велел перенести себя в кресла, но почувствовал удушие и, сказав: «тяжко мне!» — пожелал снова лечь в постель. Однако при этом с обыкновенной своей веселостью, хотя и уже прерывающимся голосом утешал ходившую за ним женщину — свою крестницу, — говоря: «Ты, милая, не плачь. Я стар, утомлен. Пора мне на покой. А ты и без меня проживешь. Если не богато, то и не бедно. Разумеется, с условием не играть... не играть... не играть в клубе».

Поскольку Крылов все пошучивал, не обращая внимания на свою уже чуть теплившуюся и угасавшую жизнь — точно собственная его смерть его не касалась, — натурально было предположить, что историю относительно каши и рыбы он рассказывал Ростовцеву просто из желания позабавить Якова Ивановича, а также прочих современников и, пожалуй, потомков, еще одним анекдотцем на свой счет, то есть теперь уже насчет своей смерти. Иван Андреевич, пожалуй, подыгрывал будущим шутникам. Ведь можно было предвидеть, что они станут прохаживаться по поводу комической причины его последнего недуга и потом, из рода в род, будут посмеиваться над мудрым поэтом, которого уложила в гроб каша с маслом.

И вот именно проглянувший во всей этой истории намек на то, что хваленые крыловские беспечность и добродушие есть только обман и личина, то есть замысловатая игра, и заставил шефа корпуса жандармов графа Орлова пуститься в исследования и расспросы о Крылове.

Самому графу Орлову было уже под шестьдесят. Прожив всю жизнь в свете и полжизни при дворе, он давно проникся убеждением, что откровенность и прямодушие — химеры, рожденные расчетом либо глупостью, ибо само устройство людской жизни основано на непрерывных и невольных предательствах и изменах по отношению к самому себе, поскольку всякий человек, играя в этой жизни свою роль (пусть даже самую ничтожную), все-таки ради этой роли, в угоду кем-то придуманным репликам и жестам (то есть обязанностям и приличиям), должен постоянно, хотя бы до некоторой степени отказываться от самого себя, становясь отчасти уже не собою, а своей ролью. И чем более граф выдвигался по службе и чем более заметное место занимал он в жизни (а он, в конце концов, сделался вторым лицом в администрации, так что государь называл его не иначе, как «брат Алексей»), тем определеннее граф чувствовал себя изменником и ему постоянно казалось, что он ведет себя по-свински, совершая поступки не то, чтобы дурные, а такие, которые за него совершает живущий в нем господин — должностное лицо или светский человек — холодный актер, лицедей, шут гороховый...

В незабвенный день 14 декабря, командуя Конногвардейским полком, граф был одним из самых рьяных усмирителей мятежа. Он, не колеблясь, вновь и вновь посылал свои эскадроны против бунтовщиков, действуя по долгу присяги и давней дружбы к великому князю Николаю. А несколько дней спустя после бунта граф узнал, что его родной брат Михаил, который тогда, по счастью, оказался в Москве, принадлежал к главарям Тайного общества и, будь он в это время в Петербурге, верно, возглавил бы мятеж. Единственно

из дружбы к Алексею император оказал снисхождение Михаилу Орлову, заменив ему Сибирь и каторгу ссылкой в родовое имение. Но ведь легко могло случиться, что 14 декабря на площади Алексею Орлову пришлось бы выбирать: рубить ли императора, своего названного брата, или рубить Михаила, своего родного брата. И в том и в другом случае выходила невозможность. Но и не рубить было нельзя, — не мог же командир конногвардейцев отсидеться за спинами своих рейтаров.

И с этого именно дня граф стал ощущать в себе явственные нелады. Между Алексеем и между графом Орловым уже словно бы не было прежнего единства. Алексей все вспоминал свои детские игры с младшим братом Михаилом, между тем как граф Орлов размышлял о долге гражданина и государственного человека.

Чем теснее граф сближался с императором, тем азартнее входил в роль сановника. И, в конце концов, после смерти Бенкендорфа — в сентябре 1844 года — император предложил Орлову занять место начальника Третьего отделения и шефа корпуса жандармов. И граф сперва отказался, потому что презирал роль сыщика, но, уступая настоятельным просьбам государя, согласился, потому что, как ни крути, дело было не в том, что одна роль хуже другой, а в том, что всякая роль в этой жизни, если приглядеться, оказывалась чревата братоубийством и от этого некуда было спрятаться...

Разбирая бумаги, оставшиеся в кабинете Бенкендорфа, граф среди оставленных без внимания доносов обнаружил пространное письмо, где речь шла о сочинениях знаменитого баснописца Крылова и доносчик — судя по слогу из литераторов — с горячностью доказывал, что басни Крылова следует запретить, а нераспроданные в лавках экземпляры изъять, поскольку под видом морали и благонамеренности баснописец позволял себе оскорбительные эпиграммы на покойного и нынешнего императоров, дерзкие сатиры на государственные учреждения и неприличные выпады насчет некоторых событий и лиц.

Донос этот попал в руки новому начальнику Третьего отделения примерно через месяц по его вступлении в должность и по странной случайности как раз 9 ноября, то есть в самый день смерти Крылова — и заставил графа живо заинтересоваться анекдотом о сушеной рыбе наряду с медицинским заключением о болезни баснописца и даже нарочно поехать на дом к Якову Ивановичу Ростовцеву.

При чтении наивного, со слезами писанного доноса и затем полученного из Физиката отзыва на запрос о причине смерти Крылова, графу припомнились давние придворные торжества — это было десятилетие 14 декабря, то есть восшествия императора на престол, — когда в большом царском маскараде, наряженный в долгополый кафтан и с подвязанной бородой, Крылов читал комические стихи, а также какую-то новую басню, причем графу тогда бросилось в глаза, что стихи и, в особенности, басня, сказанные в лицо императору, имели вид не только комический, но и явно двусмысленный: при желании можно было понять дело так, будто Крылов в глаза называет государя дураком. Разумеется, крыловская шутливость была весьма игрива, дерзость в ней сквозила хотя и отчетливо, но

совершенно неуловимо и, разумеется, ее мало кто заметил, а те, кто заметил, не посмели придать ей значения. Они благоразумно промолчали. А сам государь тогда похлопал Крылова по плечу и сказал: «Пиши, старик!»

Были еще и другие маскарады, в которых Крылов читал стихи,— к примеру, тот костюмированный бал у великой княгини Елены Павловны, где все гости вырядились древними богами и героями, причем мужчины взяли женские роли, а женщины — мужские, и где Крылов изображал музу комедии Талию, говоря что-то очень забавное насчет изящества и стройности своей фигуры. Ирония, дерзость и шуточки, как легкий ореол окружали тяжеловесную крыловскую глыбу, витали возле нее в воздухе, но мудрено было взять их в руки и подшить к обвинению.

И лишь теперь — на основании заверенного подписью начальника Физиката и снабженного полицейской печатью документа — представилась возможность бесспорно уличить Крылова в попытке обмануть и одурачить общее мнение.

Теперь налицо было доказательство.

Но не было Крылова.

...Стоя в церкви возле гроба баснописца, глядя на толпу министров и камергеров, светских дам и членов Государственного совета, собравшихся оплакать того, над кем они так любили посмеяться, граф думал о том, что в действительности старик не столько потешал всех этих господ, сколько сам потешался над ними, когда они воображали, что смеются над ним. А когда студенты университета, назначенные сопровождать покойника и по дороге от церкви до кладбища держать на бархатной подушечке его ордена, подняли гроб и понесли, шеф корпуса жандармов граф Орлов вдруг шагнул к ним, пристроился между студентами и понес гроб в головах.

Странное чувство испытывал шеф корпуса жандармов, провожая к могиле единственного из всех известных ему людей, кто в его глазах не раздваивался между самим собой и своей жизнью. Лет тридцать кряду встречая баснописца в Английском клубе, привыкнув к ленивому безразличию его физиономии и так и не привыкнув к топорной точности его суждений, граф только теперь, за эти последние три-четыре дня вдруг уяснил для себя тайну крыловской исключительности. Тут ни при чем были счастливые дарования и счастливая натура: старик просто-напросто ухитрялся всегда играть самого себя. Все дело было в том, что он играл даже тогда, когда не играл, шутил, когда был серьезен, и лукавил, когда был искренен,— и чем был искреннее, тем лукавее. Вот потому-то дерзость его оставалась неуловима, потому-то ему позволяли быть Крыловым. И так он сделался свободен: он мог никогда не изменять себе и не предавать себя. Правда, он не мог не играть. Но зато во всем остальном был волен...

Присланная графу книга крыловских басен в траурной обертке (повестка смерти или залог бессмертия?) так и осталась лежать у графа в кабинете на столе. Он по временам перелистывал ее и, будучи, впрочем, совершенно безразличен к литературе, многие крыловские басни вытвердил наизусть.

Особая закладка лежала у него на двести сорок третьей страни-

це, на басне «Свинья под дубом». Графу представлялось, что именно в этой притче забавнее и вместе страшнее всего была изображена нелепость людской жизни, потому что здесь могучий и гордый Дуб — образ прямой и твердой воли — губила грязная безмозглая Свинья — образ жадной и жестокой судьбы. Подобно тому, как дерево рождает плод, так в душе зреет свободная воля — семя будущих всходов, и питает, вскармливает собою судьбу, в то время как судьба методически подкапывает живые корни души своим тупым рылом: если, к примеру, свободное побуждение заставляет воина вооружаться против врага, то Хавронья-судьба непременно толкнет его обратить оружие против родного брата или первого друга.

В часы философских раздумий — обыкновенно после обеда — жизнь рисовалась графу непрерывной и неравной борьбой светлой души и темной судьбы. В этой борьбе нельзя было уступить, но и явная победа давалась только смертью. И оставался единственный разумный исход, который с годами казался графу все привлекательней: обмануть судьбу, притворно подчиниться ей и не перечить ее свинству и даже сделаться начальником тайной полиции и предводителем жандармов, но лишь для того, чтобы, по возможности, сдерживать усердие сыщиков и рвение стражей порядка, создавать видимость кипучей деятельности и при этом, по мере сил, уклоняться от каких-либо поступков. При дворе и в публике его укоряли в лености и высокомерии. Он и в самом деле, начальствуя над Третьим отделением, не сочинил ни одной бумаги, а лишь подписывал те, что заготовляли его чиновники, и вникал только в такие полицейские подробности, без которых уж никак нельзя было обойтись. Однако при всем том душа его не была вполне спокойна. Вполне овладев искусством избегать поступков, он все же опасался, не разоблачит ли подлая судьба его хитрости и не поставит ли когда-нибудь перед необходимостью совершить то, чего он по счастливой случайности избежал 14 декабря — перед непосильной необходимостью поднять руку на брата...

С некоторых пор граф уже не перелистывал басни Крылова — они лежали у него всегда открытыми на той странице, где была напечатана басня «Свинья под дубом».

Граф постоянно думал о Крылове, то есть о возможности достигнуть, наконец, душевного покоя, обманув судьбу наверняка и безусловно.

Постепенно стали замечать, что граф сделался весьма рассеян и бывал то чрезвычайно угрюм, то вдруг невесть отчего начинал громко смеяться.

Дошло до того, что однажды граф (который к этому времени уже получил княжеский титул) с торжествующей улыбкой выплеснул прямо на пол воду из серебряной лохани, в которой обыкновенно ополаскивал перед едой руки, влил туда принесенный лакеем суп и, поставив лохань на пол, опустился на колени и принялся, сопя, тянуть в себя жидкость и цеплять зубами красиво, фестончиками нарезанные овощи.

— Ваша светлость! — охнул старый лакей, — батюшка! встань!

— Тсс! — шикнул граф, — молчи! так мы ее скорей надуем! надо

только привыкнуть! Свинья привыкла — ей и ложка ни к чему, а братоубийство — Каинов грех — он не прощается!

Призванный в тот же день лейб-медик определил у князя Орлова умственное расстройство — манию скотообразия,— от которой тогдашняя наука не имела пособий. На все расспросы врач отвечал, что главная причина болезни коренится в чрезмерном напряжении нервов и наследственном предрасположении.

Лейб-медик не заметил лежавшего на столе в кабинете князя томика басен Крылова, сильно запылившегося на двести сорок третьей странице.

Навещая кладбище Александро-Невской лавры, Варвара Алексеевна Оленина всякий раз испытывала такое чувство, словно бы шла виниться перед теми, кого невольно покинула. Неподалеку от входа, налево, возле церкви, лежали маменька Елизавета Марковна, умершая в 1838 году, и батюшка Алексей Николаевич, умерший три года спустя, и рядом муж Варвары Алексеевны, скончавшийся следом за батюшкой. Поблизости поместились и старинные друзья дома — Сперанский, Блудов, Гнедич и бок о бок с ним, как когда-то в батюшкином кабинете — Крылов. А немного поодаль (он всегда держался особняком) — Николай Михайлович Карамзин.

С годами и квартира Варвары Алексеевны, как всякая квартира, наполненная семейными реликвиями, этими безвестными памятниками прошлого, сделалась подобием тайного некрополя. Вся эта мебель и разная утварь, все эти шкафы, столы, стулья, плошки и чашки, хотя с виду были точно те же, что и прежде, но потеряли себя, точно умерли, когда их выдворили из прежней жизни, из старинного оленинского дома на Фонтанке (который пришлось продать), из оленинского Приютина (именьица в двадцати верстах от Петербурга, которое тоже пришлось продать), и стояли теперь здесь, в чужой квартире, при этом неведомо ни для кого сделались надгробиями самим себе. И почти так же, как перед умершими людьми, Варвара Алексеевна чувствовала себя виноватой перед прошлыми вещами, которые разучились говорить, как живые: «вот и я», а лишь молча ждали, чтобы о них вспомнили — точно покойники. И Варвара Алексеевна, почти с тем же чувством, как на родные могилы, глядела иной раз на ветхую качалку, в которой любил отдыхать батюшка, Алексей Николаевич, на угловой диванчик, на котором имел привычку располагаться Гнедич, на вольтеровские кресла, в которых дремал Крылов...

Гнедич был сухой, бледный, кривой, с исшитым оспой лицом, но модник и педант. Крылов — толстый и обрюзгший, растрепанный, не завидной опрятности, при чужих бывал не словоохотлив (особенно если замечал, что его хотят слушать), зато со своими превеселый и забавный. Был главным участником во всех шарадах, живых картинах и подобных забавах, постоянно затевавшихся у батюшки. Также участвовали Гнедич, бывший посланник Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, князь Голицын, кузины Полторацкие, князь Сергей Трубецкой, потом Пушкин... Пушкин сватался к сестре Анюте, но ему отказали. Он писал ей стихи, восхищаясь ее красотой. А Варвару

Алексеевну, когда ей было лет тринадцать, поэт Батюшков однажды спросил: “Comment croyez-vous êtes-vous jolie?”*. Она отвечала: “Je crois non**. Он на это ей сказал: “Vous faites bien quand vous le deviendrez on vous le dira”***.

Девочкой она была слабонервна и часто печалилась и плакала. Крылов всегда умел рассмешить ее. Он всегда казался очень весел. Как-то она спросила его: «Дедушка, отчего вы не женились?». Он, подумавши, отвечал: «Ах, фавориточка, — он всегда ее так звал, она была его любимицей среди детей оленинского дома, — которую бы я хотел, та бы за меня не пошла, а которая бы на это решилась, ту бы я не взял».

До самой своей смерти Крылов оставался чрезвычайно мил и оригинален. И Варвара Алексеевна всегда глядела на него и думала о нем весело.

Но получив от него в подарок по случаю его смерти книгу его басен, Варвара Алексеевна после неизбежного испуга и сожаления вдруг почувствовала странное облегчение. Она не могла понять, что это значит.

В конце концов, Варвара Алексеевна догадалась, что она до сих пор сама не ведала, чего ей стоило сносить крыловское неряшество и грязь, его отвратительную Фенюшку, а после ее толстую дочку (про которую упорно говорили, что она также дочь Крылова), его храп в гостиной и, главное, то, что бывая у них в доме сорок лет кряду изо дня в день, Крылов, хотя и неизменно приветливый и добродушный, тоже оставался всегда немного в стороне от всех, то есть что бы он ни говорил, что бы ни делал, никогда нельзя было решить, что у него при этом на уме. Да, должно быть, она невольно тяготилась его скрытностью, которая, как ей теперь представлялось, происходила не от расчетов или боязни — боже упаси! — а только от какого-то тайного духовного недуга, подобного телесному недугу, при котором случается онемение членов и человек, держа руку над огнем или в студеной воде, уже не чувствует ни жара, ни холода и не чувствует никакой боли, хотя бы он при этом вовсе погибал. Варвара Алексеевна думала теперь, что при всем его спокойном и ровном нраве ему, верно, жилось томительно и тяжко, а она-то, как дура, повторяла за другими, что тут все дело в природной его беспечности. И чем отчетливее ощущала она, что смерть Крылова сняла с ее души какой-то привычный груз, тем безжалостнее казнила себя за слепоту и себялюбие.

Сразу после смерти Ивана Андреевича она пожелала непременно получить на память о нем какие-нибудь принадлежавшие ему вещицы — лучше всего фарфоровые бюстики и хрустальную кружку, когда-то подаренные Крылову матушкой Елизаветой Марковной. Она выкупила их у Фенюшкиной дочери, госпожи Савельевой, и поставила у себя в гостиной под портретом Крылова.

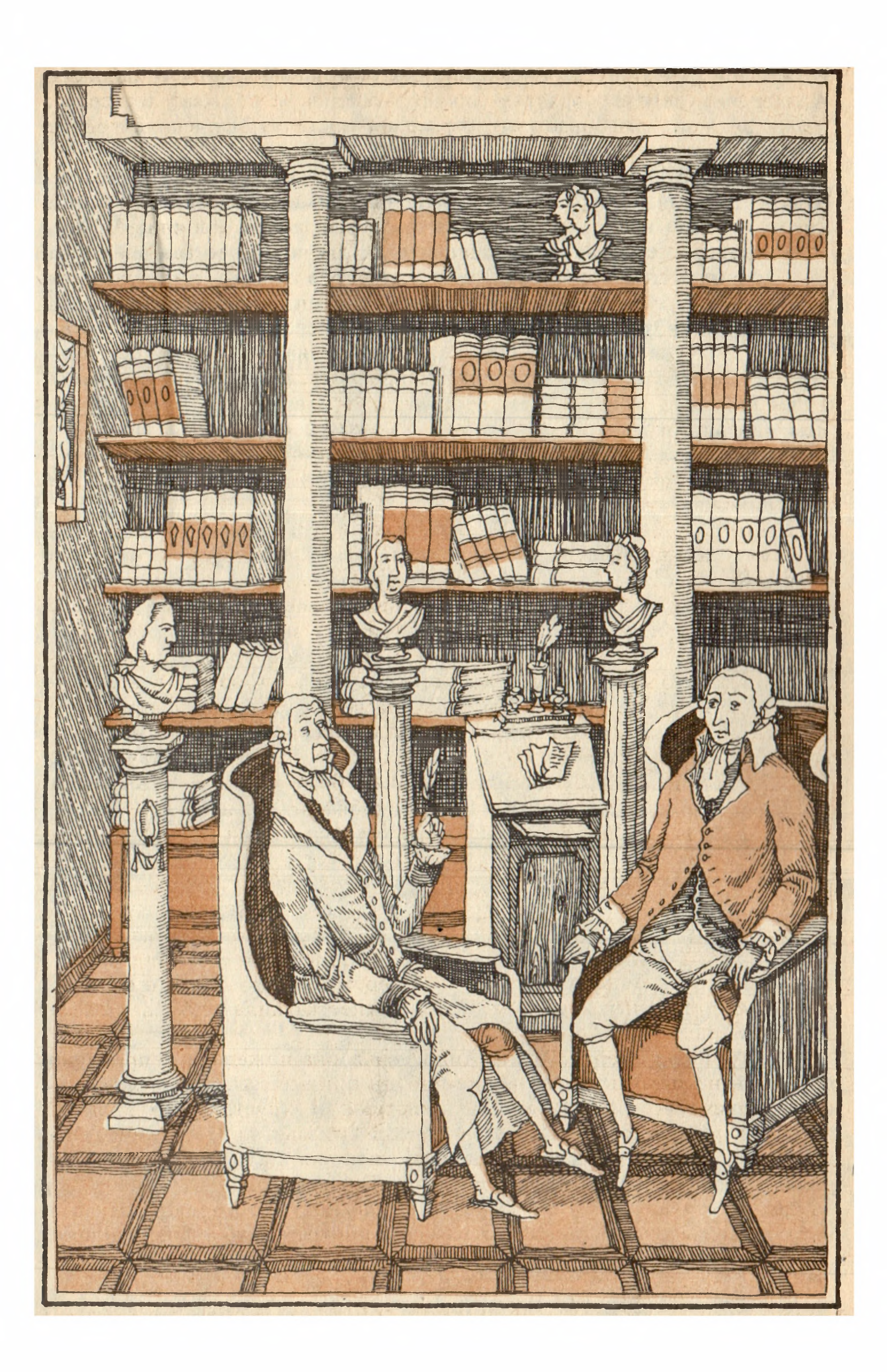
Но странное дело. Ей теперь стало казаться, что прежде важный и тихий, Крылов теперь глядит на нее с портрета как-то насмешливо.

---

* Как вы думаете, вы красивая? *(фр.)*.

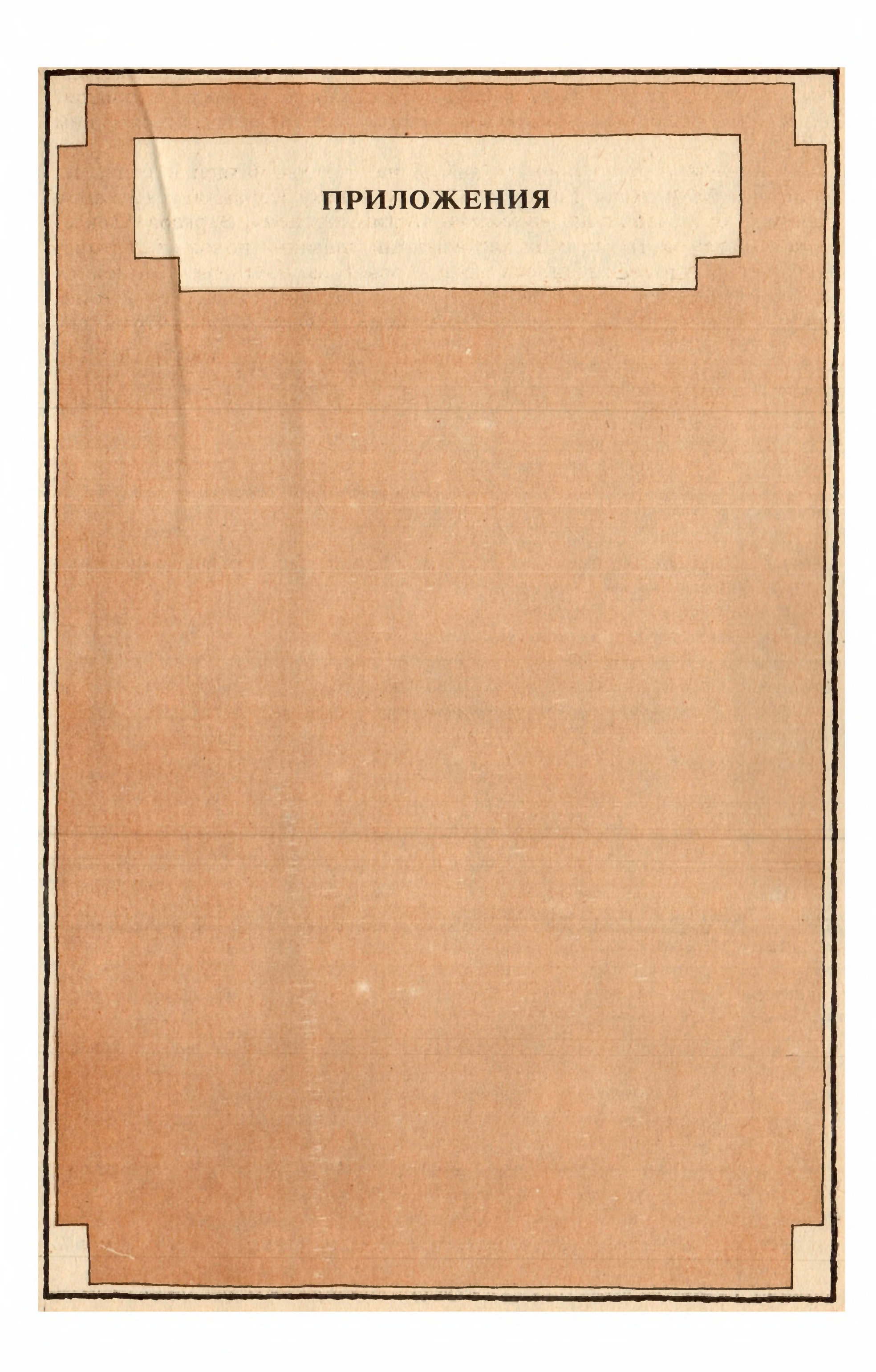
** Мне кажется, нет *(фр.)*.

*** И правильно, когда вы станете красивой, вам об этом скажут *(фр.)*.



Он словно бы укорял ее в притворстве. И кончилось тем, что Варвара Алексеевна велела убрать в шкаф бюстики и кружку, а портрет перевесить таким образом, чтобы можно было не встречаться с ним глазами.

И всякую неделю принося цветы на могилы матери и отца, нередко оставляя цветы Гнедичу, Блудову и даже Карамзину, на камне которого было написано «Блажени чистии сердцем», Варвара Алексеевна никогда не могла себя заставить ни травинки положить Крылову. Потому что ей чудилось, что в ответ на цветы ее Крылов со всегдашней своей приятной и лукавой усмешкой скажет ей что-нибудь вроде: «Это ты, фавориточка, меня поздравляешь, что я помер?» И в опасении крыловской насмешливости, Варвара Алексеевна никогда не носила Ивану Андреевичу цветов, но зато всегда сидела у него дольше, чем у других, и плакала над ним горше, чем над другими.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Предлагаемые читателю критические статьи и отзывы о сочинениях И. А. Крылова были напечатаны в русских периодических изданиях при жизни писателя.* Они отразили отношение к Крылову его современников-литераторов. Творчество Крылова предстает перед нами в ряду важнейших событий дня, и глазами современников мы видим его значительность и актуальность для тогдашней русской словесности, перед нами встает яркий и пристрастный портрет Крылова-писателя.

Вместе с тем, свод критических отзывов современников о Крылове открывает своеобразный срез литературной жизни эпохи: в горячих спорах о Крылове, пролагателе новых путей русского литературного языка и русской поэзии, видим мы Жуковского, Пушкина, Вяземского, Бестужева, Одоевского, Белинского...

Рассеянные по старым малодоступным изданиям, большинство критических отзывов современников о Крылове позднее не перепечатывалось. В настоящем издании воспроизводятся важнейшие из них.

Все материалы помещены в хронологическом порядке.

А. А. Шаховской

СУЖДЕНИЕ О МОДНОЙ ЛАВКЕ, КОМЕДИИ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ, СОЧ. И. А. КРЫЛОВА

Наши журналы мало или совсем ничего не говорили о сей комедии, которая достойна особливого внимания; но публика частно произнесла над нею приговор. Мы повторяем здесь мысли некоторых критиков; однако же не тех, которые после представления, рассеиваясь по разным углам города, без пощады раздирают на части и сочинения, и сочинителей.

Прежде, нежели приступим к суждению о сей пиесе, надобно познакомить с содержанием оной тех из наших читателей, которые ее не видели. Молодой офицер Лестов, стоя на квартире в городе Курске в доме помещика Сумбурова, приятеля своего отца и женатого на второй жене, влюбился в дочь его. Мачеха хочет выдать ее за родственника своего Недосчетова, промотавшегося на проектах, и старик, несмотря на хорошее расположение свое к Лестову, а угождая жене своей, ему отказывает. Огорченный любовник берет отпуск, скачет в Москву и входит в модную лавку. (Здесь начина-

* Исключение составляет статья В. Г. Белинского «Иван Андреевич Крылов» — непосредственный отклик на смерть баснописца.

ется действие.) Маша, крепостная девушка сестры Лестова, наперсница мадам Каре, французской торговки, узнает его горе. Сумбурова, приехавшая в столицу вместе с мужем и падчерицею для закупки приданого, приезжает в сию лавку тайком от своего мужа, ненавидящего французов и моды. Маша обещает помогать Лестову. Муж, проезжая мимо лавки, видит слугу своей жены, входит, бранится и уводит ее с собою. Но между тем молодой человек, чтобы поговорить с любовницей, которая дожидается отца своего в карете, дает деньги слугам его, и они напиваются пьяны. Во втором действии появляется новое лицо — Трише, француз, плут, ростовщик, доносчик и со всем тем богатый купец: он намекает о контрабанде, которая в модной лавке. Сумбуров, к удивлению всех, приходит опять в лавку, несмотря на свою ненависть к модам; но он только хочет нанять Машу, чтобы она, поехав в деревню, одевала там его домашних. Жена по следам его приезжает, старик, боясь ее ревности, смущается; Маша, пользуясь сим, клеплет на него, будто он приехал выбрать платья для нее и дочери; старик, боясь шуму, соглашается во лжи, и Маша навязывает на него кружево, тюли, петинеты и пр., которые он принужден взять. Входят мадам Каре и Трише; их ссора забавляет и зрителей, и Сумбурова. Маша отправляет отца и мачеху в комнату к мадам Каре и остается с дочерью. Приходит любовник и, пользуясь сею минутою, бросается на колени, подговаривая невинную Лизу бежать; отец возвращается и, увидя это, поднимает шум, прогоняет любовника и, проклиная модные лавки, уводит с собою жену и дочь. В третьем действии Трише донес о контрабанде, но она уже выбрана из лавки. Молодой человек посылает своего слугу к мачехе от имени мадам Каре сказать, что у нее есть запрещенные товары, которые она может купить за бесценок. Сумбуров приходит рассчитываться за забранные наряды. Чтобы выманить его, Лестов садится в карету с одной из девушек; глупый слуга, обманутый ими, уверяет Сумбурова, что дочь его убежала с Лестовым; он бросается из лавки, в которой забывает свою книжку с деньгами. Жена его, обманутая посланием Лестова, украдкою приезжает в лавку и просит Машу запереть двери, чтобы никто им не помешал. Старик, найдя что дочь его не только ни с кем не ушла, но даже и из дому не выезжала, возвращается с нею в лавку, чтобы взять забытые в оной свои деньги. Жена, услышав его голос, не знает куда деваться; ее сажают в шкап на место вынутой контрабанды. Входит Трише с полицейскими, которые везде обыскивают; старик намекает о шкапе, но Маша говорит ему на ухо, что там не контрабанда, а жена его; страх осрамиться при людях решает его согласиться на желание Лестова, который обещает вывести его из хлопот; почему и напоминает Трише, что он некогда был его камердинером и обокрал его. Трише, испугавшись, отказывается от своего доноса и уходит; бедную Сумбурову вынимают из шкапа и объявляют ей, что падчерица ее выходит за Лестова. Сумбуров кончит комедию, проклиная моды и модные лавки. — Вот содержание пиесы. Теперь представим замечания, которые на нее делают. Большая часть критиков находят, что характер молодого человека не довольно любезен, чтобы заставить зрителей за него бояться, когда он лишается невесты, и желать ему успеха

в предприятиях (к несчастью, почти всегда безрассудных); словом, они желали бы, чтобы и в самой его ветрености видно было доброе сердце и хороший нрав, которые обнадежили бы их, что Лиза, вышед за него, будет счастлива.

Сочинитель очень искусно заставил говорить между собой французов по-русски, под тем предлогом, что они сами хотят, чтобы Сумбуров слышал те ругательства, которыми они друг друга очерняли. Но сии ругательства иногда выходят почти из границ благопристойности, а, особливо, когда Трише говорит, что мадам Каре (которая стоит на сцене) за свое хорошее поведение гуляла в Париже на селитряный завод.

Строгие наблюдатели благопристойности не хотят простить автору некоторых французских слов, которые Маша говорит во втором действии, толкуя предложение степенного Сумбурова как модная торговка. Но не очень ли строго сие суждение, делающее, впрочем, честь благонравию критиков? Неподражаемый Мольер позволял себе гораздо большие вольности и в лучших своих комедиях; но в наш, как говорят, просвещенный век, гораздо менее прощают словам, нежели делам.

В третьем действии любовник, отчаясь получить руку своей возлюбленной, решается увезти ее мачеху и хочет держать ее военнопленною. Хотя автор сам заставляет сказать Машу, что сия мысль годится только в романах; но критики утверждают, что она и в романе была бы так же неуместна, как и в комедии.

Несмотря однако же на сии и еще некоторые замечания, все любители театра (исключая тех, которые не хвалят ничего, чтобы не показаться невеждами) находят ход, комическую цель, завязку и слог пиесы достойными похвалы. Хотя же в развязке любовник непростительною хитростию, кажется, принуждает отца выдать за него Лизу, и сцена сначала несколько порастянута; но комическое положение последнего явления, быв естественным следствием происшествий и характеров, заслуживает неумолкаемые рукоплескания, которыми партер ее удостоивает.

Множество острых слов, кои не только имеют связь с действием или разговором, но кажутся даже необходимыми и как будто без намерения сказанными, были чувствуемы и приносили удовольствие зрителям. Если бы я хотел приводить в пример все сии слова, а также и комические положения, которыми наполнена сия пиеса, то совершенно вышел бы из пределов, предложенных в сем издании, хотя уже и без того завлеченный желанием представить в настоящем виде одну из лучших наших комедий, которую можно причесть к роду комедий нравов (comédie des moeurs) я написал более, нежели хотел.

Игра актеров и их общее действие (l'ensemble), способствуя успеху пиесы, служат к показанию всех ее красот.

Впервые опубликовано: Драм. вестн., 1808, № 1, с. 9

В. А. Жуковский

О БАСНЕ И БАСНЯХ КРЫЛОВА

Всякий любитель русской поэзии, которая, надобно признаться, не весьма богата произведениями изящными, прочитав с удовольствием эти Басни, конечно, скажет: *для чего их так мало?* В самом деле, это, может быть, единственный или главный недостаток *Басен г. Крылова* — их не более XXIII. Все вообще написаны легким, простым, привлекательным слогом. Некоторые прекрасны. Поставляем обязанностию занять ими внимание читателей — тем более, что в нашей словесности подобные явления очень редки; но, чтобы дать яснее почувствовать истинное достоинство их, почитаем необходимым войти в некоторое рассуждение о сем роде поэзии вообще: такая материя не может быть неприятною для тех наших читателей, которые, любя словесность, желают иметь основательнейшее понятие о том, что им нравится.

Что в наше время называется баснею? Стихотворный рассказ происшествия, в котором действующими лицами обыкновенно бывают или животные, или твари неодушевленные. Цель сего рассказа — впечатление в уме какой-нибудь нравственной истины, заимствуемой из общежития и, следовательно, более или менее полезной.

Отвлеченная истина, предлагаемая простым и вообще для редких приятным языком философа-моралиста, действуя на одни способности умственные, оставляет в душе человеческой один только легкий и слишком скоро исчезающий след. Та же самая истина, представленная в действии и, следовательно, пробуждающая в нас и чувство и воображение, принимает в глазах наших образ вещественный, впечатлевается в рассудке сильнее и должна сохраниться в нем долее. Какое сравнение между сухим понятием, облеченным в простую одежду слов, и тем самым понятием, одушевленным, украшенным приятностию вымысла, имеющим отличительную, заметную для воображения нашего форму? — Таков главный предмет баснописца.

Действующими лицами в басне бывают обыкновенно или животные, лишенные рассудка, или творения неодушевленные. Полагаю, тому четыре главные причины. Первая: особенность характера, которою каждое животное отличено одно от другого. Басня есть мораль в действии; в ней общие понятия нравственности, извлекаемые из общежития, применяются, как сказано выше, к случаю частному и посредством сего применения делаются ощутительнее. Тот мир, который находим в басне, есть некоторым образом чистое зеркало, в котором отражается мир человеческий. Животные представляют в ней человека, но человека в некоторых только отношениях с некоторыми свойствами, и каждое животное, имея при себе свой неотъемлемый постоянный характер, есть, так сказать, готовое и для каждого ясное изображение как человека, так и характера, ему принадлежащего. Вы заставляете действовать волка — я вижу кровожадного хищника; выводите на сцену лисицу — я вижу льстеца

или обманщика — и вы избавлены от труда прибегать к излишнему объяснению. Второе: перенося воображение читателя в новый мечтательный мир, вы доставляете ему удовольствие сравнивать вымышленное с существующим (которому первое служит подобием), а удовольствие сравнения делает и самую мораль привлекательною. Третье: басня есть нравственный урок, который, с помощью скотов и вещей неодушевленных, даете вы человеку; представляя ему в пример существа, отличные от него натурою и совершенно для него чуждые, вы щадите его самолюбие, вы заставляете судить беспристрастно, и он нечувствительно произносит строгий приговор над самим собою. Четвертое: прелесть чудесного. На ту сцену, на которой привыкли мы видеть действующим человека, выводите вы могуществом поэзии такие творения, которые в существенности удалены от нее природою, — чудесность, столь же для нас приятная, как и в эпической поэме действие сверхъестественных сил, духов, сильфов, гномов и им подобных. Разительность чудесного сообщается некоторым образом и той морали, которая скрыта под ним стихотворцем; читатель, чтобы достигнуть до этой морали, согласен и самую чудесность принимать за естественное.

Напрасно приписывают изобретение басни рабству, а честь сего изобретения отдают в особенности какому-то азиатскому народу. Не знаю, почему рабам приличнее употреблять иносказания, нежели свободным. Если невольник, опасаясь раздражить тирана, принужден скрывать истину под маскою вымысла, то человек свободный, в угождение самолюбию — другого рода тирану и, может быть, еще более взыскательному — не менее обязан украшать предлагаемое им наставление формою приятною. В обоих случаях положение моралиста одинаково. Что же касается до изобретения, то басня, кажется нам, принадлежит не одному народу в особенности, а всем вообще, равно как и все другие рода поэзии. Вероятно, что прежде она была собственностию не стихотворца, а оратора и философа. И оратор, и философ, рассуждая о предметах политики и нравственности, употребляли, для большей ясности, сравнения и примеры, заимствованные из общежития или природы. От простого примера, в котором представляемо было одно только сходство идеи предлагаемой с предметом заимствованным, легко могли перейти к басне, в которой предлагаемая истина, выводимая из действия вымышленного, но имеющего отношение к действию настоящему и, так сказать, заступающему его место (ибо, для произведения сильнейшего впечатления, действие вымышленное должно быть принимаемо в басне (условно) за сбыточное, возможное и как будто в самом деле случившееся). Пример объясняет мысль, но он сливается с ее предложением и, так сказать, в нем исчезает. Басня есть нечто отдельное и целое, она заключает в себе действие для нас привлекательное — от сей отдельности и целости и самая мораль получает характер отличительный; а будучи выводима из действия привлекательного, сама становится для нас привлекательнее.

В истории басни можно заметить три главные эпохи: первая, когда она была не иное что, как простой риторический способ, пример, сравнение; вторая, когда получила бытие отдельное и сделалась

одним из действительнейших способов предложения моральной истины для оратора или философа нравственного — таковы басни, известные под именем Эзоповых, Федровы и в наше время Лессинговы; третья, когда из области красноречия перешла она в область поэзий, то есть получила ту форму, которой обязана в наше время Лафонтену и его подражателям, а в древности Горацию (Сатира VI, книга II). Древние философы (древних баснописцев надлежит скорее причислить к простым моралистам, нежели к поэтам) не сочиняли басен; они рассказывали их при случае, применяя их к обстоятельствам или к той истине, которую доказать были намерены; они хотели не нравиться своим рассказом, а просто наставлять и для того, употребляя басню как способ убеждения, менее заботились о форме ее, нежели о согласии своего вымысла с моральною истиною, из него извлекаемою, или тем случаем, заимствованным из общежития, которому он служил подобием. Следственно, отличительным характером басен древних должна быть краткость. Моралист, имея в предмете запечатлеть в уме читателя или слушателя известное правило практической морали, должен необходимо избегать всякой излишности в рассказе — следовательно, всякое украшение почитать излишностию. Язык его должен быть самый простой и краткий — следовательно, проза (Федр писал в стихах, но его стихи отличны от простой прозы одним только размером); наконец, заставляя действовать скотов и тварей неодушевленных, он должен употреблять их как одни аллегорические образцы тех характеров, которые намерен изобразить,— следовательно, в одном только отношении к сим характерам, а не давать каждому характера собственного, ему принадлежащего, неотносительного, что отвлекло бы внимание от главного предмета, то есть от морали, и обратило бы его на принадлежность, то есть на те аллегорические лица, которые входят в состав басни. Лучшим образцом таких басен могут быть, по мнению моему, Лессинговы. — Но, сделавшись собственностию стихотворца, басня переменила и форму: что прежде было простою принадлежностию — я говорю о действии, — то сделалось главным и столь же важным для стихотворца, как и самая мораль. Поэзию называют подражанием природе; цель ее — нравиться воображению, образуя рассудок и сердце, — следовательно, и баснописец-поэт необходимо должен, подражая той природе, которую берет за образец, нравиться воображению своим подражанием. Итак, в басне стихотворной я должен под личиною вымысла находить существенный мир со всеми его оттенками; животные, герои басни, представляют людей; следовательно, они должны для воображения моего сохранить не только собственный, данный природою им образ, но вместе и относительный, данный им стихотворцем, так, чтобы я видел! перед собою в одном и том же лице и животное, и тот человеческий характер, которому оно служит изображением, со всеми их отличительными чертами. — Баснописец-поэт составляет один фантастический мир из двух существенных: в одном из сих последних заимствует он характеры, свойства моральные и самое действие, в другом — одни только лица. Чего же я от него требую? Чтобы он пленял мое воображение верным изображением лиц; чтобы он своим

рассказом принудил меня принимать в них живое участие, чтобы овладел и вниманием моим и чувством, заставляя их действовать согласно с моральными свойствами, им данными; чтобы волшебством поэзии увлек меня вместе с собою в тот мысленный мир, который создан его воображением, и сделал на время, так сказать, согражданином его обитателей; и чтобы, наконец, удовлетворил рассудку моему какою-нибудь моральною истиною, которая не что иное, как цель, к которой привел он меня стезею цветущею. Таковы басни стихотворцев новейших, и в особенности Лафонтеновы.

Из всего сказанного выше следует, что басня (несмотря на Лессингово, несколько натянутое, разделение) может быть, естественно: или прозаическая, в которой вымысел без всяких украшений, ограниченный одним простым рассказом, служит только призрачным покровом нравственной истины, или стихотворная, в которой вымысел украшен всеми богатствами поэзии, в которой главный предмет стихотворца: запечатлевая в уме нравственную истину, нравиться воображению и трогать чувство.

Что же, спрашиваем, составляет совершенство басни? В прозаической — краткость, ясный слог, соответственность вымышленного происшествия той морали, которая должна быть из него извлекаема. Но стихотворная? Она требует гораздо более, и мы, чтоб получить некоторое понятие о совершенстве ее, взглянем на того стихотворца, который, первый показав образец стихотворной басни, остался навсегда образцом неподражаемым, — я говорю о Лафонтене. Определив характер сего единственного стихотворца, мы в то же время определим и истинный характер совершенной басни.

Нельзя, мне кажется, достигнуть до надлежащего превосходства в сем роде стихотворения, не имев того характера, который находим в Лафонтене, получившем от современников наименование добродушного. Баснописец есть сын природы, предпочтительно пред всеми другими стихотворцами. Самый обыкновенный ум способен украсить нравоучение вымыслом, вывесть на сцену скотов и дать язык вещам неодушевленным — но будет ли в произведениях его та прелесть, которую находим в баснях и вообще во всех сочинениях Лафонтена? Чтобы принимать живое участие в тех маловажных предметах, которые должны овладеть вниманием баснописца, и сделать их значительными для самого хладнокровного читателя, надлежит иметь сию неискусственную чувствительность невинного сердца, которая привязывает его ко всем созданиям природы без изъятия; сию полноту души, с которою бываем мы счастливы при совершенном недостатке преимуществ, доставляемых и обществом, и фортуною, с которою мы веселы в уединении и заняты, не имея никакого дела; сие расположение к добру, с которым все представляется нам и в обществе, и в природе прекрасным, потому что все бывает тогда украшено в глазах наших собственным нашим чувством; сию беззаботность, которая оставляет нам полную свободу заниматься с удовольствием такими вещами, которые для других как будто не существуют или кажутся презренными; сие простодушие, которое уверяет нас, что все имеют одинаковое с нами чувство и все способны принимать одинаковое с нами участие в тех предметах, кото-

рые для нас одних привлекательны; тогда вся природа наполнена для нас существами знакомыми и любезными нашему сердцу; все творения составляют наше семейство — мы трогаемся судьбою увядающего цветка, разделяем заботливость ласточки, свивающей для малюток своих гнездо, наслаждаемся, внимая пению пустынного соловья, и сожалеем о нем, будучи искренно уверены, что и он имеет свои потери; чувства сии живы, потому что душа, наполненная ими, будучи истинно непорочна, передается им с младенческою беззаботностию, неразвлекаема никаким посторонним беспокойством, никакою возмутительною страстию. Таков характер Лафонтена. Можно лишь удивляться, что басни его имеют для всех неизъяснимую прелесть? Лафонтен рассказывает нам о тех существах, которые к нему близки, и первый совершенно уверен в истине своего рассказа. Подумаешь, что натура наименовала его историком того мира, в который он переселился воображением; он рассказывает с чувством о своей родине; он хочет и вас заставить полюбить ту сторону, которая ему так мила и знакома; он говорит с вами не для того, чтоб быть вашим наставником, но для того, что ему весело говорить; не ищите в баснях его морали — ее нет — но вы найдете в них его душу, которая вся изливается перед вами в прелестных чувствах, в простых, для всякого ясных мыслях, без умысла, без искусства; вы слышите милого младенца, исполненного высокой мудрости; научаясь любить его, становитесь сами и лучше и довольнее собственным бытием и нечувствительно находите все вокруг себя прекрасным. Читая Лафонтена, замечаем в душе своей то чувство, которое обыкновенно производит в ней присутствие скромного, милого, совершенно добродушного мудреца, — она спокойна, счастлива, довольна и природою, и собою. С таким единственным характером Лафонтен соединял и дарования поэта в высочайшей степени. Что называю дарованием поэта? Воображение, представляющее предметы живо и с самой привлекательной стороны, способность изображать сии предметы для других приличными им красками, и так, чтобы они представлялись им с такою же истиною, с какою и нам самим представляются; способность (в особенности необходимая баснописцу) рассказывать просто, приятно, без принуждения, но рассказывать языком стихотворным, то есть украшая без всякой натяжки простой рассказ выражениями высокими, поэтическими вымыслами, картинами и разнообразя его смелыми оборотами. Таков Лафонтен в своих баснях. Никто не умеет столь непринужденно переходить от простого предмета к высокому, от обыкновенного рассказа к стихотворному, никто не имеет такого разнообразия оборотов, такой живописности выражений, такого искусства сливать с простым описанием остроумные мысли или нежные чувства. Найдите в басне: Ястреба и Голуби (Livre VII, Fabl. VIII) описание сражения; читая его, можете вообразить, что дело идет о римлянах и германцах, так много в нем поэзии, но тон стихотворца ни мало не покажется вам неприличным его предмету. Отчего это? Оттого, что он воображением присутствует при том происшествии, которое описывает, и первый совершенно уверен в его важности: не мыслит вас обманывать, но сам обманут. В этой же басне заме-

тите вы удивительное искусство Лафонтена: занимаясь одним предметом, изображать мимоходом предметы посторонние и приятные; он говорит о ястребах:

Certain sujet fit naître la dispute
Chez les oiseaux — non ceux que le printemps
Mène à sa cour et qui sous la feuillee,
Par leur exemple et leurs sons éclatants
Font que Vénus est en nous réveillée, *и проч.*

Вашему воображению представляются первые минуты весны: вы видите молодые деревья, под которыми поют птицы, и со всем тем ваше внимание не отвлечено от главного предмета, ибо эта прелестная картина естественно сливается с описанием главным. Далее, говоря о голубях, Лафонтен одною чертою изображает и их наружность и их характер:

...Nation
Au col changeant, au coeur tendre et fidèle.

В первом полустишии картина; в последнем трогательное нежное чувство; стихотворец, изображая предметы, сообщает вам и то приятное расположение души, с каким он сам на них смотрит. Таково неподражаемое искусство Лафонтена.

Из всего, что сказано выше, легко можно вывести общие правила для баснописца. Оставляя этот труд нашим читателям, мы обратим глаза на Басни Крылова, которые подали нам повод к сим рассуждениям (изд. 1809 г., в одной книжке). Чтобы определить характер нашего стихотворца, надлежит рассматривать басни его не с той точки зрения, с какой обыкновенно смотрим на басни Лафонтена. Лафонтен, который не выдумал ни одной собственной басни, почитается, не взирая на то, поэтом оригинальным. Причина ясна: Лафонтен, заимствуя у других вымыслы, ни у кого не заимствовал ни той прелести слога, ни тех чувств, ни тех мыслей, ни тех истинно стихотворных картин, ни того характера простоты, которыми украсил и, так сказать, обратил в свою собственность заимствованное. Рассказ принадлежит Лафонтену, а в стихотворной басне рассказ есть главное. Крылов, напротив, занял у Лафонтена (в большей части басен своих) и вымысел, и рассказ: следственно, может иметь право на имя автора оригинального по одному только искусству присвоивать себе чужие мысли, чужие чувства и чужой гений. Не опасаясь никакого возражения, мы позволяем себе утверждать решительно, что подражатель-стихотворец может быть автором оригинальным, хотя бы он не написал и ничего собственного. Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник. Вы видите двух актеров, которые занимают искусство декламации у третьего; один подражает с рабскою точностию и взорам и телодвижениям образца своего; другой, напротив, стараясь сравниться с ним в превосходстве представления одинаковой роли, употребляет способы собственные, ему одному приличные. Поэт оригинальный воспламеняется идеалом, который находит у себя в воображении; поэт-подражатель в такой же степени воспламеняется образцом своим, который заступает для него тогда место идеала собственного: следственно, переводчик, уступая

образцу своему пальму изобретательности, должен необходимо иметь почти одинаковое с ним воображение, одинаковое искусство слова, одинаковую силу в уме и чувствах. Скажу более: подражатель, не будучи изобретателен в целом, должен им быть непременно по частям; прекрасное редко переходит из одного языка в другой, не утратив нисколько своего совершенства: что же обязан делать переводчик? Находить у себя в воображении такие красоты, которые бы могли служить заменою, следовательно, производить собственное, равно превосходное: не значит ли это быть творцом? И не потребно ли для того иметь дарование писателя оригинального? Заметим, что для переводчика басни оригинальность такого рода гораздо нужнее, нежели для переводчика оды, эпопеи и других возвышенных стихотворений. Все языки имеют между собою некоторое сходство в высоком и совершенно отличны один от другого в простом, или, лучше сказать, в простонародном. Оды и прочие возвышенные стихотворения могут быть переведены довольно близко, не потеряв своей оригинальности; напротив, басня (в которую, надобно заметить, входят и красоты, принадлежащие всем другим родам стихотворства) будет совершенно испорчена переводом близким. Что же должен делать баснописец-подражатель? Творить в подражании своем красоты, отвечающие тем, которые он находит в подлиннике. А если он не имеет ни чувства, ни воображения того стихотворца, которому подражает, что будет его перевод? Смешная карикатура прекрасного подлинника.

Мы позволяем себе утверждать, что Крылов может быть причислен к переводчикам искусным и потому точно заслуживает имя стихотворца оригинального. Слог басен его вообще легок, чист и всегда приятен. Он рассказывает свободно и нередко с тем милым простодушием, которое так пленительно в Лафонтене. Он имеет гибкий слог, который всегда применяет к своему предмету: то возвышается в описании величественном, то трогает вас простым изображением нежного чувства, то забавляет смешным выражением или оборотом. Он искусен в живописи — имея дар воображать весьма живо предметы свои, он умеет и переселять их в воображение читателя; каждое действующее в басне его лицо имеет характер и образ, ему одному приличные; читатель точно присутствует мысленно при том действии, которое описывает стихотворец.

Лучшими баснями из XXIII, имеющих каждая свое достоинство, почитаем следующие: Два Голубя, Невеста, Стрекоза и Муравей, Пустынник и Медведь, Лягушки, просящие царя.

Два Голубя, басня, переведенная из Лафонтена, кажется нам почти столько же совершенною, как и басня Дмитриева того же имени: в обеих рассказ равно приятен; в последней более поэзии, краткости и силы в слоге; зато в первой, если не ошибаемся, чувства выражены с большим простодушием.

Два Голубя как два родные брата жили;
Друг без друга они не ели и не пили:
Где видишь одного, другой уж, верно, там;

И радость и печаль, все было пополам.
Не видели они, как время пролетало:
Бывало грустно им, а скучно не бывало.

В этих шести стихах, которые все принадлежат подражателю, распространен один прекрасный стих Лафонтена:

Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, но они, верно, не покажутся никому излишними. Можно ли приятнее себе представить счастливое согласие двух друзей? Вот то, что называется заменить красоты подлинника собственными. Вы, конечно, заметили последний, простой и нежный стих: Бывало грустно им, а скучно не бывало.

Ну, кажется, куда б хотеть
Или от милой, иль от друга?
Нет, вздумал странствовать один из них лететь.

И этих стихов нет в подлиннике — но они милы тем простодушием, с каким выражается в них нежное чувство.

Хотите ли картин? Вот изображение бури в одном живописном стихе:

Вдруг в встречу дождь и гром;
Под ним, как океан, синеет степь кругом.

Вот изображение опасности голубка-путешественника, которого преследует ястреб:

Уж когти хищные над ним распущены;
Уж холодом в него с широких крыльев дышит.

В Лафонтене этих стихов нет; но подражатель, кажется, хотел заменить ими другие два, несколько ослабленные им в переводе:

...Quand des nues
Fond à son tour un aigle aux ailes étendues.

Сожалеем также, что он выпустил прекрасный стих, который переведен так удачно у Дмитриева:

Le pigeon profita du conflit des voleurs —
Итак, благодаря стечению воров —

стих тем более важный, что в нем стихотворец мимоходом, одною чертою напоминает нам о том, что делается на свете, где иногда раздор злодеев бывает спасением невинности. Это искусство намекать принадлежит, в особенности, Лафонтену. Заключение басни прекрасно в обоих переводах, с тою только разницею, что Крылов заменил стихи подлинника собственными, а Дмитриев перевел очень близко Лафонтена и с ним сравнился.

Выпишем и те, и другие:

Кляня охоту видеть свет,
Поплелся кое-как домой без новых бед...
Счастлив еще: его там дружба ожидает!
К отраде он своей
Услугу лекаря и помощь видит в ней;
С ней скоро и беды и горе забывает. —
О вы, которые объехать свет вокруг
Желанием горите,
Вы эту басенку прочтите,

И в дальний путь такой пускайтеся не вдруг:
Что б ни сулило вам воображенье ваше —
Не верьте; той земли не сыщите вы краше,
Где ваша милая и где живет ваш друг.

Крылов

О вы, которых бог любви соединил,
Хотите ль странствовать? Забудьте гордый Нил
И дале ближнего ручья не разлучайтесь;
Чем любоваться вам? Друг другом восхищайтесь;
Пускай один в другом находит каждый час
Прекрасный, новый мир, всегда разнообразный.
Бывает ли в любви хоть миг для сердца праздный?
Любовь, поверьте мне, все заменит для вас.
Я сам любил — тогда за луг уединенный,
Присутствием моей любезной озаренный,
Я не хотел бы взять ни мраморных палат...
Ни царства в небесах... Придете ль вы назад,
Минуты радостей, минуты восхищений?
Иль буду я одним воспоминаньем жить?
Ужель прошла пора столь милых обольщений,
И полно мне любить?

Дмитриев

Последние стихи лучше первых — но должно ли их и сравнивать? Крылов, не желая переводить снова, а может быть, и не надеясь перевести лучше то, что переведено как нельзя лучше, заменил красоту подлинника собственною. Заключение басни его (если не сравнивать его ни с Лафонтеновым, ни с переводом Дмитриева) прекрасно само по себе. Например, после подробного описания несчастий голубка-путешественника, не тронет ли вас этот один прекрасный и нежный стих:

Счастлив еще: его там дружба ожидает.

Автор поставил одно имя дружбы в противоположность живой картине страдания, и вы спокойны насчет печального странника. Поэт дал полную волю вашему воображению представить вам все те отрады, которые найдет голубок его, возвратившись к своему другу. Здесь всякая подробность была бы излишнею и только ослабила бы главное действие. Посредственный писатель, вероятно, воспользовался бы этим случаем, чтобы наскучить читателю обыкновенными выражениями чувства, но истинное дарование воздержнее: оно обнаруживается и в том, что поэт описывает, и в том, о чем он умалчивает, полагаясь на чувство читателя. Последние три стиха прелестны своею простотою и нежностью.

Выпишем еще несколько примеров. Вот прекрасное изображение моровой язвы:

Лютейший бич небес, природы ужас, мор
Свирепствует в лесах: уныли звери;
В ад распахнулись настежь двери;
Смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор;
Везде разметаны ее свирепства жертвы;
На час по тысяче валится их;
А те, которые в живых,
Такой же части ждя, чуть ходят полумертвы.
Те ж звери, да не те в беде великой той:
Не давит волк овец и смирен, как святой;

Дав курам роздых и покой,
Лиса постится в подземелье;
И пища им на ум нейдет;
С голубкой голубь врозь живет;
Любви в помине больше нет;
А без любви какое уж веселье!

Крылов занял у Лафонтена искусство смешивать с простым и легким рассказом картины, истинно стихотворные:

Смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор;
Везде разметаны ее свирепства жертвы —

два стиха, которые не испортили бы никакого описания моровой язвы в эпической поэме.

Не давит волк овец и смирен, как святой;
Дав курам роздых и покой,
Лиса постится в подземелье.

Здесь рассказ стихотворный забавен и легок, но он не составляет неприятной противоположности с поэтическою картиною язвы. А в следующих трех стихах с простым описанием сливается нежное чувство:

С голубкой голубь врозь живет;
Любви в помине больше нет;
А без любви какое уж веселье!

Это перевод, и самый лучший, прекрасных Лафонтеновых стихов:

Les tourterelles se fuyaient:
Plus d'amour, partant plus de joie.

Какая разница с переводом Княжнина, который, однако, не дурен:

И горлицы друг друга убегают,
Нет более любви в лесах и нет утех!

Вот еще несколько примеров: мы оставляем заметить в них красоты самим читателям.

Пример разговора. Стрекоза пришла с просьбою к Муравью:

— Не оставь меня, кум милой;
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей.
«Кумушка, мне странно это!
Да работала ль ты в лето?» —
Говорит ей Муравей.
— До того ль, голубчик, было:
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило! *и проч.*

Лягушки просили у Юпитера царя — и Юпитер:

Дал им царя — летит к ним с шумом царь с небес;
И плотно так он треснулся на царство,
Что ходенём пошло трясинно государство.
Со всех лягушки ног
В испуге пометались.
Кто как успел, куда кто мог,
И шепотом царю по кельям дивовались.
И подлинно, что царь на диво был им дан:
Не суетлив, не вертопрашен.
Степенен, молчалив и важен;
Дородством, ростом великан;
Ну, посмотреть, так это чудо!

Одно в царе лишь было худо:
Царь это был — осиновый чурбан.
Сначала, чтя его особу превысоку,
Не смеет подступить из подданных никто;
Чуть смеют на него глядеть они — и то
Украдкой, издали, сквозь аир и осоку.
Но так как в свете чуда нет,
К которому не пригляделся б свет,
То и они — сперва от страха отдохнули,
Потом к царю подползть с преданностью дерзнули;
Сперва перед царем ничком;
А там, кто посмелей, дай сесть к нему бочком,
Дай попытаться сесть с ним рядом;
А там, которые еще поудалей,
К царю садятся уж и задом.
Царь терпит все по милости своей.
Немного погодя, посмотришь, кто захочет,
Тот на него и вскочит.

Можно забыть, что читаешь стихи: так этот рассказ легок, прост и свободен. Между тем какая поэзия! Я разумею здесь под словом поэзия искусство представлять предметы так живо, что они кажутся присутственными.

Что ходенём пошло трясинно государство —

живопись в самых звуках! Два длинных слова ходенём и трясинно, прекрасно изображают потрясение болота.

Со всех лягушки ног
В испуге пометались,
Кто как успел, куда кто мог.

В последнем стихе, напротив, красота состоит в искусном соединении односложных слов, которые своею гармониею представляют скачки и прыганье. Вся эта тирада есть образец легкого, приятного и живописного рассказа. Смеем даже утверждать, что здесь подражание превосходит подлинник; а это весьма много, ибо Лафонтенова басня прекрасна; в стихах последнего, кажется, менее живописи, и самый рассказ его не столь забавен. Еще один или два примера — и кончим.

Жил некто человек безродный, одинакой,
Вдали от города, в глуши.
Про жизнь пустынную как сладко ни пиши,
А в одиночестве способен жить не всякий;
Утешно нам и грусть, и радость разделить.
Мне скажут: а лужок, а темная дуброва,
Пригорки, ручейки и мурава шелкова?
Прекрасны, что и говорить!
А все прискучится, как не с кем молвить слова.

Вот истинное простодушие Лафонтена, который, верно, не мог бы выразиться лучше, когда бы родился русским. Заметим, однако, здесь ошибку. Крылов употребил слово одинакой (с кем- или с чем-нибудь совершенно сходный) вместо слова одинокой (не имеющий ни родства, ни связей). Далее, автор описывает пустынника и друга его — медведя. Первый устал от прогулки, последний предлагает ему заснуть:

Пустынник был сговорчив, лег, зевнул,
Да тотчас и заснул.

А Миша на часах, да он и не без дела:
У друга на нос муха села —
Он друга обмахнул —
Взглянул —
А муха на щеке — согнал — а муха снова
У друга на носу.

Здесь подражание несравненно лучше подлинника. Лафонтен сказал просто:

Sur le bout de son nez une (муха) allant se placer
Mit l'ours au désespoir — et il eut beau chasser! ·

Какая разница! В переводе картина, и картина совершенная. Стихи летают вместе с мухой. Непосредственно за ними следуют другие, изображающие противное: медлительность медведя; здесь все слова длинные, стихи тянутся:

Вот Мишенька, не говоря ни слова,
Увесистый булыжник в лапы сгреб,
Присел на корточки, не переводит духу,
Сам думает: «Молчи ж, уж я тебе воструху!»
И у друга на лбу подкарауля муху,
Что силы есть — хвать друга камнем в лоб.

Все эти слова: Мишенька, увесистый, булыжник, корточки, переводит, думает, и у друга подкарауля — прекрасно изображают медлительность и осторожность: за пятью длинными, тяжелыми стихами следует быстрое полустишие:

— Хвать друга камнем в лоб.

Это молния, это удар! Вот истинная живопись, и какая противоположность последней картины с первою!

Но довольно! Читатели сами могут развернуть Басни г. Крылова и заметить в них те красоты, о которых мы не сказали ни слова, за недостатком времени и места. Остается теперь заметить ошибки — их очень немного. Слог г. Крылова кажется нам в иных местах растянутым и слабым (зато мы никогда не заметили принужденности в рассказе). Найдутся три или четыре погрешности против языка; несколько выражений, противных вкусу, грубых и тем более заметных, что слог вообще везде и приятен и легок. Например:

Вещуньина с похвал вскружилась голова;
От радости в зобу дыханье сперло! (I басня)

Едва ли это неприятное выражение — в зобу дух сперло — понравится людям, привыкнувшим к языку хорошего общества. — Дуб говорит тростинке:

Ведь тебе овсянка уж тяжка! (II басня)

Не приличнее ли тяжесть овсянки выразить легким, а не тяжелым стихом? Такая подражательная гармония не слишком ли подражательна?

Чем любоваться тут? Твой хор
Горланит вздор! (III басня)

Нельзя, если не ошибаюсь, говоря о музыке, употребить слово: любоваться. Любуешься тем, что видишь.

А ты, так ты еще не уклонил лица,
Как сдерживал порывы их ужасны. (II басня)

И как открыть его, никак не догадался. (VI басня)
А все, за все спасибо мне. (XVI басня)
Сразмерна ль с крепостью твоей такая гордость? (XVII басня)
Лакеи, гуторя, плетутся вслед шажком,
Учитель с барыней болтают вздор тишком. (XXI басня)
Для твари глупой, подлой толь. (VII басня)

Вероятно, что при втором издании г. Крылов не оставит этих стихов без поправки.

Орел под небесью летал. (XX басня)

Надобно, если не ошибаюсь, сказать: по поднебесью; в русском языке едва ли есть слово: небесье.

В лесу кого набресть
Кроме волков или медведей?

И это кажется нам ошибкою против языка. Говорится: на кого набресть, а не кого набресть.

И рада, рада уж была,
Что вышла за каляку.

Автор для рифмы поставил каляка, вместо: калека. Эта ошибка тем более чувствительна, что она единственная в такой басне, которая от первого стиха до последнего (если включить еще одно неправильное выражение: одинаку) прекрасна. Это XI-я, из которой мы не взяли ни одного примера единственно для того, чтобы оставить читателя нашим удовольствием новости. Заметим еще одно: в знаках препинания такое множество ошибок, что в некоторых местах весьма трудно добраться до смысла; конечно, автор не сам просматривал корректуру!

Впервые опубликовано:
Вестн. Европы, 1809, ч. 45, № 9, с. 35

М. Т. Каченовский

НОВЫЕ БАСНИ ИВАНА КРЫЛОВА

Басня, сказывают, изобретена каким-то невольником, который боялся простою истиною раздражить своего господина. Другие думают, что и свободный человек мог быть изобретателем басни: самолюбие, утверждают они, несравненно взыскательнее и вспыльчивее всякого тирана; чтобы не оскорбить его, надобно предлагать истину не иначе, как под покрывалом аллегории. Вот что заставило баснописцев говорить людям о приключениях, будто бы случившихся с медведями и ослами. Я этому очень верю и желаю, чтобы какой-нибудь изобретательный ум выдумал безопаснейший способ писать баснями критические замечания на книги и открыл бы тайну, как можно, не расточая невежественных похвал и не показывая ребяческого удивления, угождать сочинителям. На белом свете искони так ведется, что в ком родилась охота напечатать и сдать книгопродавцам произведение своей Музы, тот иногда признает неотъемлемым правом своим Папскую непогрешительность. Всякий тогда уже обязан, купивши книгу, непременно восхищаться всем тем, что в ней написано, под опасением, в противном случае, подвергнуть

себя жестоким ругательствам, уликам в невежестве, в зависти, в развратности, в вольнодумстве и даже в безбожии. Irritabile genus vatum.

Будем ожидать с терпением сего спасительного изобретения, а между тем приступим к делу. В изданных перед сим за два года Баснях господина Крылова замечен один главный недостаток, именно тот, что их мало, не более XXIII. Сочинитель к удовольствию Критика своего и всей публики теперь напечатал почти столько же басен новых. С ними вместе вышли в свет и старые, вновь исправленные. Господин Крылов отменил некоторые ошибки, справедливо замеченные г-м Ж. в «Вестнике Европы» (1809, № 9). Но, кажется, все еще остались немногие места, которые надлежало бы поправить: например, в XXI басне под заглавием Муха и Дорожние прежде было напечатано:

Лакеи, гуторя, плетутся вслед шажком,
Учитель с барыней болтают вздор тишком.

В новом издании г. Сочинитель переменил замеченные слова и поправил следующим образом:

Гуторя слуги вздор, плетутся вслед шажком,
Учитель с барыней шушукают тишком.

Прежде в слове гуторя ударение было над первым слогом; теперь оно уже перенесено над второй. Что правильнее? Не знаю, но думаю, что в обоих случаях сочинителю гуторить неприлично. Здесь он сам от себя повествует читателям о Мухе и Дорожних, следовательно, должен бы говорить таким языком, какой всегда употребляет, беседуя в хорошем обществе и с своими приятелями. Ежели требуется, чтобы вводные речи соответствовали характеру и состоянию лица говорящего; то не менее нужно, чтобы и в словах, принадлежащих самому сочинителю, соблюдено было надлежащее приличие. Еще дозволим себе заметить, что как в прежних, так и в новых Баснях находим сочинения, которых при всем их достоинстве никак нельзя назвать баснями в строгом смысле. Таковы суть: Музыканты, Ларчик, Разборчивая невеста, Старик и трое молодых, Откупщик и Сапожник, Крестьянин в беде, Огородник и Философ. Геллерт не без причины сочинения свои назвал Баснями и сказками (Fabeln und Erzaelungen). Хемницер свои также Баснями и сказками. Не нужно доказывать, что Басня есть аллегория, а притча или сказка принадлежит к примерам; в первой повествуется действие вымышленное и несбыточное, а во второй хотя и вымышленное же, но сбыточное; там баснописец ведет читателя своего прямо к нравоучительной цели, а здесь по большей части изображаются характеры или описываются людские странности, причуды и ошибки.

Нам должно говорить о Новых баснях. Остановимся над второю, переведенною из Лафонтена. Молодой ворон, увидевши, как орел выхватил ягненка из стада, вздумал и сам унести барана; но пастухи поймали его и отдали детям в игрушку. Эзоп эту же басню рассказал, по обыкновению своему, коротко и очень просто. У Лафон-

тена и последователей его звери любят более говорить и действовать, нежели у фригийского невольника. Наш ворон думает себе.

Уж брать, так брать,
А то что и когтей марать.
Бывают и орлы, как видно, плоховаты,
Ну только ль в стаде, что ягняты?

Он решается схватить не ягненка, но большого барана. Не можем не выписать прекраснейшего рассказа, одного из тех очень многих мест, в которых г. Крылов никому не уступает:

Тут ворон поднялся, и стал кружить над стадом.
Окинул стадо жадным взглядом,
Из множества ягнят, баранов и овец,
Высматривал, сличал и выбрал наконец
Барана — да какого
Прежирного прематерова,
Который доброму б и волку был в подъем.
Изладясь, на него спустился
И в шерсть ему, что силы есть, вцепился —
Тут поздно он узнал, что добычь не по нем.

Не осмеливаюсь решительно утверждать, Лафонтенова ли истина из басни сей выводимая лучше, или Эзопово нравоучение. Древний баснописец хотел показать, что, кто тянется за другими не по своим силам, тот бывает осмеян. И очень кстати, ибо ворону подстригли крылья и отдали его детям для забавы. Дети спрашивают у пастуха: какая это птица? Я вижу, отвечал отец, и знаю, что ворон, а он хочет, чтоб его почитали за орла. Напротив того у Лафонтенова переводчика басня оканчивается таким образом:

Не редко у людей тож самое бывает,
Коль мелкий плут
Большому плуту подражает.
Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют.

Под орлом здесь разумеется вор, а молодой ворон означает воришку. Кажется мне, что в области баснословия орел имеет не такой характер, по которому прилично было бы применять к нему вора. Основанием басни, говорит Батте, должна быть натура, или, по крайней мере, всеми принятое мнение.

Басни г-на Крылова, старые и новые, хороши; их читают с удовольствием и кажется, перестанут читать разве тогда, когда все басни выйдут из моды. Сим надлежало бы окончить статью нашу о новой книжке; но в знак благодарности г-ну Сочинителю за доставленные нам от него приятные минуты объявим искренно мнение свое еще о некоторых местах, замеченных в его баснях. В басне Крестьянин и Смерть (стр. 7) о первом сказано, что он

Увидевши ее (т. е. Смерти) свирепую осанку и проч.

Свирепость обнаруживается в лице, а не в осанке.
В VII басне волки говорят воеводе Слону:

На что волкам тулупы и разве надобны им овечьи кожи? Здесь, ежели не ошибаемся, не соблюдено стихотворческое правдоподобие. Сверх того, Слон представлен глуповатым, хотя он в баснях едва ли не вообще славится своею мудростию.

В V басне Сочинитель сам от себя называет Лису кумою (у которой зубы разомлелись от желания поесть винограду), а в XVI опять Лиса в кумовстве с крестьянином!

Собрание сих Новых Басен заключается престранным сочинением, которое ниже всего того, что ни есть самого отвратительного в баснях Сумарокова. Пиит есть художник; он должен искать образцов своих в изящной природе, должен творить идеалы прекрасные и благородные, а не заражать своего воображения смрадом запачканных нелепостей. Вот чудовище, поставленное наряду с баснями:

Свинья на барский двор когда-то затесалась,
Вокруг конюшен там и кухонь наслонялась,
В сору, в навозе извалялась,
В помоях по уши, досыта накупалась,
И из гостей домой
Пришла свинья свиньей.
Ну что ж, Хавронья, там ты видела такого?
Свинью спросил пастух:
Ведь идет слух,
Что все у богачей лишь бисер да жемчуг.

Достопамятный пастух сей, по-видимому, не разумеет, что бисер и жемчуг точь-в-точь одно и то же. Дело в том, что Хавронья, бывши на барском дворе, видела

Все только лишь навоз да сор.

Да что же, спросят, изо всей этой кучи сору и навоза? А вот что: стихотворцу вздумалось Хавронье уподобить критика,

Который, что ни станет разбирать,
Имеет дар одно худое видеть.

Но что ж другое может увидеть критик в некоторых сочинениях, и именно на примере в этой Хавроньиной истории? Иной подумает, что стихотворец предпринял такой странный подвиг единственно для того, чтобы испугать критиков; но, кажется, он не имел в этом никакой нужды.

Впервые опубликовано:
Вестн. Европы, 1812, ч. 61 № 4 с. 303

А. Бестужев-Марлинский

ИЗ СТАТЬИ «ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ»

...И. Крылов возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство. Невозможно дать большего простодушия рассказу, большей народности языку, большей осязаемости нравоучению. В каждом его стихе виден русский здравый ум. Он похож природою описаний на Лафонтена, но имеет свой особый характер; его каждая басня — сатира, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия. Читая стихи его, не замечаешь даже, что они стопованы — и это-то есть верх искусства. Жаль, что Крылов подарил театр только тремя комедиями. По своему знанию языка и

нравов русских, по неистощимой своей веселости и остроумию он мог бы дать ей черты народные.

Впервые опубликовано:
Полярная звезда на 1823 г. Спб., с. 1

П. А. Вяземский

ИЗ СТАТЬИ «ИЗВЕСТИЕ О ЖИЗНИ И СТИХОТВОРЕНИЯХ И. И. ДМИТРИЕВА»

Издание басен поэта нашего, сличенного с русскими его предместниками и последователями, обогатило бы словесность нашу книгою, которой ей недостает: впрочем, мы богаты недостатками. Но хороших басен у нас довольно для того, чтобы родить желание любоваться своими богатствами и с разборчивостию заняться их оценкою. — По счастию, совершенство нашего баснописца не испугало, а подстрекнуло к соревнованию многих истинных поэтов; прибавим: к сожалению, многих и подложных; но они неизбежные гаеры, следующие по пятам за каждым образцовым дарованием.

В числе первых сыскался один, который не только последовать, но, так сказать, бороться дерзнул с нашим поэтом, перерабатывая басни, уже им переведенные, и басни превосходные, и мы благодарны ему за его смелость. Привлекая нас к себе, он не отучает от своего предшественника; и мы видим, что к общей выгоде дорога успехов, открытая дарованию, не так тесна, как та дорога, на коей, по замечанию остроумного Фонвизина, «двое, встретясь, разойтись не могут, и один другого сваливает». Но г. Крылов, с искренностию и прямодушием возвышенного дарования, без сомнения, сознается, что, если не взял он предместника за образец себе, то, по крайней мере, имел в нем пример поучительный и путеводителя, угладившего ему стезю к успехам. Если и не ступать по следам пробитым, то все легче идти по дороге, на коей уже значатся следы. Г-н Крылов нашел язык выработанный, многие формы его готовые, стихосложение — хотя и ныне у нас еще довольно упорное, но уже сколько-нибудь смягченное опытами силы и мастерства. Между тем забывать не должно, что он часто творец содержания прекраснейших из своих басен; и что если сие достоинство не так велико в отношении к предместнику его, который был изобретателем своего слога, то оно велико в сравнении с теми, которые не изобрели ни слога, ни содержания своих басен, как говорит Арно, сравнивая с Лафонтеном себя и других французских баснописцев в предисловии к своим замысловатым и эпиграмматическим басням.

Впервые опубликовано:
И. И. Дмитриев. Стихотворения. Спб., 1823, ч. I, с. 1

ПРИПИСКА

Продолжая проверять себя, то есть прежнего я с нынешним я, после свыше пятидесятилетнего промежутка, как сделано мною в статье об Озерове, могу сказать, что в статье о Дмитриеве вообще остаюсь и ныне при тогдашних моих литературных понятиях и суждениях. Некоторые

оттенки могли бы быть изменены или переправлены, но главная основа, главные краски остались бы те же. Те же встречаются и погрешности в слоге и в изложении, но характер и направление в настоящем очерке, может быть, получили развитие еще более определенное и полное, чем в очерке Озерова.

Если что из настоящей статьи могло сохраниться в памяти литературы нашей и отозвалось гораздо позднее в некоторой части нашей печати, то разве впечатление, что я излишне хвалил Дмитриева и, вместе с тем, как бы умышленно старался унизить Крылова. Всею совестью своею и всеми силами восстаю против правильности подобного заключения: признаю его ошибочным предубеждением или легкомысленным недоразумением.

В самой этой статье говорю о Крылове с искренним уважением. Говорю, например, что он боролся с Дмитриевым, перерабатывая басни, уже им (то есть Дмитриевым) переведенные, и *что мы благодарны ему за его смелость*. Далее говорю: «Что, к общей выгоде, дорога успехов, открытая дарованию, не так тесна, как та дорога (то есть дорога придворная и честолюбия), на коей, по замечанию остроумного Фонвизина, двое, встретясь, разойтись не могут, и один другого сваливает». Стало быть, я признаю Дмитриева и Крылова идущими свободно друг другу навстречу или попутчиками, которые друг другу не мешают и могут идти рядом. За Дмитриевым признаю одно старшинство времени и, кажется, этой математической истины оспоривать нельзя. У нас многие еще не понимают отвлеченной, тонкой похвалы; давай им похвалу плотную, аляповатую, громоздкую — вот это так. Нужно заметить еще, что Дмитриев в числе первых приветствовал и оценил первоначальные попытки соперника своего. Но всего этого не довольно для пристрастных и заносчивых судей наших: они хотят, чтобы я непременно *свалил* одного из двух, и, разумеется, свалил именно Дмитриева. Но я воздержался от такого побоища, во-первых, потому, что не признаю его справедливым; во-вторых, потому, что это было бы с моей стороны непростительною неприличностью. Статья моя написана была вследствие предложения мне Санктпетербургского Вольного Общества Любителей Российской Словесности, коему Дмитриев подарил рукопись свою и передал право издать ее в пользу Общества. Уместно ли было бы, при такой обстановке, входить мне в подробное рассмотрение высшей или низшей степени дарования того и другого, а еще более признать неоспоримое преимущество Крылова над Дмитриевым. Как я уже сказал: такого безусловного преимущества не признаю. Каждый из них оделен превосходными достоинствами, ему сродными: вкусы могут быть различны и друг друга оспоривать; но общая нелицеприятная оценка здравой критики может и должна воздавать каждому ему подобающее. О *бестактности*, о нарушении первых правил вежливости, которые оказал бы я, принося Дмитриева в жертву Крылову в статье, посвященной в честь Дмитриева и в благодарность за подарок его литературному обществу, я уже не говорю: условия и законы *ребяческой вежливости* (civillité puérile) общежитейского приличия, сметливости, литературного и нравственного такта давно уже вычеркнуты из уложения литературного, остается мне только пред новыми законодателями виниться в моей закоснелой отсталости. Не знаю, разделял ли Крылов с другими напущенное против меня предубеждение; но в довольно долгих и постоянно хороших отношениях моих с ним не имел я повода подозревать в нем ни малейшего злопамятства. Впоследствии воспевший и окрестивший *дедушку Крылова*, так что, с легкой руки моей, это прозвище было усвоено всею Россиею, не считаю нужным оправдывать себя долее в поклепе, возведенном на меня, а именно, что я не умею ценить дарование великого и незабвенного баснописца нашего. Припоминаю еще одно обстоятельство, которое ставят мне в вину. Когда-то, в Иванов день, напи-

сал я куплеты в честь именинника Дмитриева. В этих стихах упоминаю, кстати, о тезках его: Иване Лафонтене и Иване Хемницере. А зачем не упомянули вы и об Иване Крылове? строго и грозно допрашивает меня мой литературный следственный пристав. — Не упомянул я о живом Крылове в похвальном приветствии живому Дмитриеву по той же причине, по которой не стал бы выхвалять красоту живой соперницы в мадригале красавице, перед которою хотел бы я полюбезничать. Кто-то — право, не помню, кто именно и где было напечатано, — намекает, что в басне: «Осел и Соловей» Крылов в стихах:

А жаль, что не знаком
Ты с нашим петухом,

имел в виду Дмитриева и меня. Уж это слишком! Усердие не по разуму. Пожалуй, еще Крылов в минуту досады мог применить меня к ослу, — но и этому не верю, — а решительно восстаю против догадки, что в лице петуха Крылов подразумевал Дмитриева. Ум и поэтическое чувство его были выше подобной нелепости. Безусловный поклонник Крылова зашел уже слишком далеко. Зачем не вспомнил он стихов его:

И у друга на лбу подкарауля муху,
Что силы есть — хвать друга камнем в лоб.

У нас никак в толк не берут, что можно любить одного и не ненавидеть соседа его. Он хвалит Дмитриева — следовательно, он ругает Крылова. Вам нравятся блондинки — следовательно, брюнеток признаете вы уродами. Вы пьете красное вино — стало быть, нечего и потчевать вас шампанским. Извините: я и от шампанского не отказываюсь. Хозяин дома спрашивает за обедом гостя своего, чего хочет он: рюмку ли старого токая или старого кипрского вина? i tego i drugiego, отвечал поляк. И я тоже говорю: давайте мне Дмитриева и давайте мне Крылова. Нельзя не удивляться способу мышления и домашней логике рецензентов наших. Узка глотка их, узко их и зрение: в одной сейчас запершит, другое не обнимает двух предметов в настоящем виде каждого из них. Пристрастие *за* или *против* есть своего рода хмель. Он отемняет или искажает светлый и здравый рассудок и трезвую рассудительность. Может быть, ошибаюсь и льщу себе напрасно; но мне сдается, что я природою одарен этою трезвостью. В русском словаре нет слова, которое ясно и вполне выразило бы французское engouement, нет его и в моей натуре; нет во мне и противоположного ему безусловного *отвращения,* по крайней мере в известных данных я не приписан *к такой-то земле, к такому-то участку,* не числюсь при *таком-то лице*. Я из числа тех, которые по врожденному чувству, по убеждению, по некоторому навыку сравнивать одни предметы с другими любят отдавать себе строгий отчет в впечатлениях своих. Мне кажется, что я знаю, за что хвалю и за что осуждаю. Могу ошибаться в выводах и заключениях своих: но все же, если и ошибаюсь, то сознательно, а не наобум, не случайно, не на выдержку. Многие часто судят по каким-нибудь косвенным увлечениям; нет прямой и добросовестной оценки, основанной на одном искусстве, на весы падают личные соображения, совершенно посторонние и побочные околичности, иногда даже более или менее политические сочувствия: такой-то писатель не нравится потому, что он аристократ; с ним должно обходиться построже; не мешает, не грешно быть к нему и маленько несправедливым; другому многое прощается и многое в нем превозносится, потому что он *плебейнее,* ближе подходит к разряду разночинцев. Критики редко стоят прямо и свободно, лицом к лицу, пред писателями, которых вызывают они на свой суд. Они пред ними стоят на коленях или лежат ничком, другим садятся на голову и придавливают что есть силы. Правило их — вознести до небес или затоптать в прахе.

Дмитриев и Крылов два живописца, два первостатейные мастера двух различных школ. Один берет живостью и яркостью красок: они всем кидаются в глаза и радуют их игривостью своею, рельефностью, поразительностью, выпуклостью. Другой отличается более правильностью рисунка, очерков, линий. Дмитриев как писатель, как стилист более художник, чем Крылов, но уступает ему в живости речи. Дмитриев пишет басни свои; Крылов их рассказывает. Тут может явиться разница во вкусах: кто любит более читать, кто слушать. В чтении преимущество остается за Дмитриевым. Он ровнее, правильнее, но без сухости. И у него есть своя игривость и свежесть в рассказе; ищите без предубеждения — и вы их найдете. Крылов может быть своеобразен, но он не образцовый писатель. Наставником быть он не может. Дмитриев по слогу может остаться и остался во многом образцом для тех, которые образцами не пренебрегают. Еще одно замечание. Басни Дмитриева всегда басни. Хорош или нет этот род, это зависит от вкусов; но он придерживался условий его. Басни Крылова — нередко драматированные эпиграммы на такой-то случай, на такое-то лицо. Разумеется, дело не в названии: будь только умен и увлекателен, и читатель останется с барышом, — а это главное. При всем этом не должно забывать, что у автора, у баснописца бывало часто в предмете не басню написать, «но умысел другой тут был». А этот умысел нередко и бывал приманкою для многих читателей, и приманкою блистательно оправданною. Но если мы ставим охотно подобное отступление автору не в вину, а, скорее, в угождение читателю, то несправедливо было бы отказать и Дмитриеву в правах его на признательность нашу. Крылов сосредоточил все дарование свое, весь ум свой в известной и определенной раме. Вне этой рамы он никакой оригинальности, смеем сказать, никакой ценности не имеет. Цену Дмитриева поймешь и определишь, когда окинешь внимательным взглядом все разнородные произведения его и взвесишь всю внутреннюю и внешнюю ценность дарования его и искусство его.

Впервые опубликовано:
Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Спб., 1878, т. I, с. 153

Ф. В. Булгарин

ИЗ ЗАМЕЧАНИЙ НА «ИЗВЕСТИЕ О ЖИЗНИ И СТИХОТВОРЕНИЯХ И. И. ДМИТРИЕВА»

Что касается до мнения автора о заслугах и дарованиях И. А. Крылова, то мы осмелимся сказать, что находим оное слишком строгим и даже пристрастным. Ссылаемся на читателей: можно ли говорить таким образом о сем несравненном баснописце.

В числе первых (т. е. поэтов) сыскался один* (т. е. Крылов), который не только последовал, но, так сказать, бороться дерзнул с нашим поэтом (т. е. Дмитриевым), перерабатывая басни, уж им переведенные, и басни превосходные, и мы благодарим его за смелость. Как? И. А. Крылова мы должны только благодарить за то, что он дерзнул бороться с И. И. Дмитриевым и осмелился подражать

---

* Мне кажется, что здесь бы надлежало упомянуть об А. Е. Измайлове, которого многие басни имеют большое достоинство, особенно в отношении к рассказу. К. П. А. Вяземский слишком строго и смело назвал всех прочих поэтов, стоящих за И. И. Дмитриевым, гаерами. К чему ведет это заключение? *Примеч. Булгарина.*

ему? — Но где это подражание? Слог И. А. Крылова совершенно различный, рассказ нимало не сходствует; план басен Крылова оригинальный, а язык его есть, так сказать, возвышенное простонародное наречие, неподражаемое в своем роде и столь же понятное и милое для русского вельможи, как и для крестьянина. Прибавим к тому вымысел, печать гения, и мы решительно можем сказать, что И. А. Крылов есть первый оригинальный русский баснописец по изобретению, языку и слогу. Басни И. И. Дмитриева прелестны; но они не народные русские. Главнейшее их достоинство есть чистота слога, и мы никак не согласимся с кн. П. А. Вяземским на счет достоинства Крылова. Вот что он говорит: «Между тем забывать не должно, что он (т. е. И. А. Крылов) часто творец содержания прекраснейших из своих басен, и что если сие достоинство не так велико в отношении к предместнику его (И. И. Дмитриеву), который был изобретателем своего слога и проч.». — Если бы в И. А. Крылове не было другого достоинства кроме того, что он часто творец содержания прекраснейших своих басен, то и сего одного было бы много; но он также творец своего слога, который, хотя вовсе не похож на слог его предместника, но имеет необыкновенную прелесть для того, кто знает русский народ не в одних только гостиных. Слог басен И. И. Дмитриева, по нашему мнению, есть язык образованного светского человека; слог И. А. Крылова изображает простодушие и вместе с тем замысловатость русского народа; это русский ум, народный русский язык, облагороженный философиею и светскими приличиями. Содержание его басен представляет галерею русских нравов, но только не вроде Теньера, а вроде возвышенной исторической живописи, принадлежащей к русской народной школе.

Впервые опубликовано:
Лит. листки. Журнал нравов и словесности, 1824, ч. I, с. 61

П. А. Вяземский

ИЗ СТАТЬИ «ЖУКОВСКИЙ — ПУШКИН. О НОВОЙ ПИИТИКЕ БАСЕН»

Многие с досадою жалуются, что у нас чужемыслие, чужечувствие, чужеязычие господствуют в словесности, что у нас мало своего, мало русского; что никто не старается дать поэзии нашей направление народное. Может быть, отчасти это и правда. Но, по справедливости, признаться должно, что и у нас встречаются яркие примеры такого литературного патриотизма, который даже и у немцев, и англичан мог бы показаться баснословным.

В доказательство тому привожу выписку из «Письма на Кавказ» («Сын Отечества», 1825, № 3, стр. 313). Речь идет о новых баснях г. Крылова, напечатанных в «Северных Цветах».

«Они прекрасны, замысловаты, но... право, не хочется высказать, — по рассказу не могут сравняться с прежними его баснями, в которых с прелестью поэзии соединено что-то русское, национальное. В прежних баснях И. А. Крылова мы видим русскую курицу,

русского ворона, медведя, соловья и т. п. Я не могу хорошо изъяснить того, что чувствую при чтении его первых басен, но, мне кажется, будто я где-то видал этих зверей и птиц, будто они водятся в моей родительской вотчине».

В других землях требовали и требуют, чтобы драматические писатели, творцы эпических поэм, почерпали предметы и вымыслы свои из отечественных источников; но наш Шлегель увлекается гораздо далее в порыве пламенного патриотизма. Он не довольствуется отечественным пантеоном; он требует еще и отечественного зверинца, отечественного курятника, отечественного птичника. По нем, сохрани боже, чтобы русский баснописец употребил в басне своей, например, цесарскую курицу или швабского гуся; нет, — давай ему непременно куриц русских, гусей русских; поэтический желудок его не варит других, кроме русских. Должно надеяться, что требования новой пиитики нашего законодателя возбудят покорное внимание будущих баснописцев; но одно меня тревожит за них: где будет предел его требованиям? Удовольствуется ли он тем, что его станут потчевать одною русскою живностью. Из последних слов приведенной выписки не высказывается ли требование живности доморощенной? Первые басни г. Крылова нравились литератору-патриоту, но чем? Ему казалось, что герои оных водились в его родительской вотчине. Искренно поздравляем нашего Аристарха — помещика с родительскою вотчиною: не каждому литератору можно похвалиться подобною собственностью; поздравляем и с тем, что он имеет при ней куриц и соловьев, приятную пищу для желудка и ушей, хотя сожалеем вчуже, что в этой вотчине водятся медведи, потому что от них сельские прогулки могут вовлечь хозяина в неприятные встречи. Понимаем также, что для образованного помещика очень приятно иметь домашнего Лафонтена биографом-живописцем господского птичьего двора; но пускай указатель новой пиитики царства бессловесных сжалится немного над затруднительным положением баснописца, который в таком случае должен приписаться к какой-нибудь вотчине, чтоб доставлять читателю своему приятные воспоминания о его домашнем хозяйстве. Должно надеяться, что в другом письме на Кавказ последуют пояснения и прибавления, которые, к общему удовольствию, согласят выгоды читателей-помещиков с выгодами приписных баснописцев.

Впервые опубликовано:
Моск. телеграф, 1825, ч. I, № 4, с. 346

ПРИПИСКА

Вот и эта статейка способствовала заподозрить меня в неуважении к Крылову. Не все грамотные люди умеют писать; это известно, за примером ходить далеко не нужно. Но можно, по крайней мере, было думать, что все грамотные умеют читать; а на деле выходит, что и этого нет. Как умеющему читать могло бы померещиться, что я здесь нападаю на Крылова? Не явно ли, что предмет суждений и насмешек моих — критик, требующий, чтобы Крылов был непременно поставщиком доморощенных зверей, доморощенных животных. Он требует, чтобы каждая басня носила свое русское тавро, чтобы баснописец был именно русский гуртовщик, русский разносчик рус-

ских певчих птиц, а отнюдь не канареек и других заморских пернатых. Хорошенько допросить нашего критика, он готов сознаться, что и Петр Первый напрасно водворил в России голландских коров. И то правда: это уже не басня, а гораздо поважнее басни — это история и статистика. Боже мой, до каких гнусностей может довести патриотизм, то есть патриотизм, который зарождается в некоторых головах, совершенно особенно устроенных. Признаюсь, я не большой и не безусловный приверженец и поклонник так называемой национальности. Думаю, что и Крылов не гонялся за национальностью: она сама набежала на него, прильнула к нему, но и то не овладела им. Вот, например, случай, который доказывает, что он был более классик, нежели националист. Пушкин читал своего «Годунова», еще немногим известного, у Алексея Перовского. В числе слушателей был и Крылов. По окончании чтения я стоял тогда возле Крылова. Пушкин подходит к нему и, добродушно смеясь, говорит: «Признайтесь, Иван Андреевич, что моя трагедия вам не нравится и на глаза ваши не хороша». — «Почему же не хороша? — отвечает он. — А вот что я вам расскажу: проповедник в проповеди своей восхвалял божий мир и говорил, что все так создано, что лучше созданным быть не может. После проповеди подходит к нему горбатый, с двумя округленными горбами, спереди и сзади: не грешно ли вам, пеняет он ему, насмехаться надо мною и в присутствии моем уверять, что в божьем создании все хорошо и все прекрасно. Посмотрите на меня. — Так что же. — возражает проповедник, — для горбатого и ты очень хорош». — Пушкин расхохотался и обнял Крылова.

Национальность есть чувство свободное, врожденное: мы любим родину свою, народ, которому принадлежим, который наш и нас считает своими по тому же закону природы, по которому любим себя, а в себе любим и семью свою, родителей, братьев, сестер. Захотеть же вложить это чувство в систему, в учение, в закон — это то же, что задушить его. Не следует суживать воззрения свои, понятия, сочувствия. И те, и другие, чтобы отыскать место свое, требуют простора и воли. Литературная ли национальность, политическая ли, принятая в смысле слишком ограниченном, ни до чего хорошего довести не может.

Впервые опубликовано:
Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Спб., 1878, т. I, с. 184

Ф. В. Булгарин

Из статьи «Возражения на статью, помещенную в № 4 «Московского Телеграфа» под заглавием «Жуковский — Пушкин. О новой пиитике басен. Соч. князя П. А. Вяземского»

...Я вижу, что мой критик не умел или не хотел понять меня, и так я объясняюсь с ним снова по пунктам. 1) Я вовсе не хочу и не требую отечественного зверинца и птичника на Русском Парнасе. 2) Сказав, что в зверях и птицах, выведенных на сцену в баснях Крылова, узнаем что-то русское, национальное, я объяснил в моей рецензии на Север. Цветы, что лучшие басни Крылова имеют то достоинство, что они не могут быть переведены на иностранные языки, ибо теряют свой национальный отпечаток. Всякому известно, что в баснях, под личиною зверей, выводятся на сцену люди с их нравами, обычаями, странностями, добродетелями и пороками. И так не лучше ли баснописцу почерпать предметы для своих басен из народного характера, изображать нравы отечественные, нежели представлять

нам страсти, пороки и добродетели других народов? Не странно ли бы показалось, если бы, например, баснописец в русской басне, представляя судью, заставил его говорить как турецкого кадия, или французского мера? Басни И. А. Крылова тем-то и нравятся всем сословиям общества, что его действующие лица говорят языком, приличным состоянию, которое выведено на сцену, и действуют, как бы действовал судья, купец или крестьянин в своем русском домашнем быту. Не спорю, есть басни, так сказать, общего содержания, которые могут быть перенесены на сцену Франции и Италии, но даже и этот род басен имеет особенное достоинство у И. А. Крылова, по рассказу совершенно русскому, который столь же нравится в позлащенных гостиных, как и в крестьянской хижине. Вот почему именно И. А. Крылов признан первым русским и едва ли не первым европейским баснописцем.

3) Спрашивается теперь, к чему критик вздумал говорить о моем пиитическом желудке? Пристойно ли это? — Пристойно ли применять мои уподобления к столу и пище! — Однако же я не удивляюсь этому, когда вспомню что мой критик любит такие поваренные сравнения. В предисловии своем к сочинениям Озерова, изданным в 1817 году, он назвал Поликсену барельефом пиршества Гомера! (См. стр. XLV). После этого, мудрено ли, что критик, не поняв меня, с Парнаса перенес спор в кухню и велит мне жарить и варить героев басен? Оставляю это на рассуждение моих почтенных читателей.

Должно ли мне отвечать на поздравления моего критика с родительскою вотчиною? К чему это введено в критику и распространено почти на целой 353 странице? Критик говорит: «Не каждому ученому можно похвалиться такою собственностью. — Жаль! ибо ученые руководствуются правилами мудрости и умеренности. Дай бог ученым умеренное достояние, ибо независимая жизнь много способствует усовершению в науках людям, умеющим ценить дары фортуны и не употребляющим их на вещи, недостойные образованного человека. Но я отдаляюсь от моего предмета, следуя за разногласными мнениями моего критика. Оканчиваю мою статью стихами Крылова, о котором был спор:

«Так в людях многие имеют слабость ту же.
Все кажется в другом ошибкой нам;
А примешься за дело сам,
Так напроказишь хуже».

Впервые опубликовано:
Сын отечества. 1825, г. 100, № 7, с. 280

П. А. Плетнев

ИЗ СТАТЬИ «ПИСЬМО К ГРАФИНЕ С.И.С. О РУССКИХ ПОЭТАХ»

...Неизъяснимое простодушие Хемницера, очищенность и легкость Дмитриева, оригинальность, глубокомыслие, соединенное с простосердечием, и народность рассказа Крылова вот красоты нашей апологической поэзии. Я приведу пример только из последнего, тем

более, что он чаще других созидает для себя и предмет басни, и рассказ ее, «Орел и Пчела».

Счастлив, кто на чреде трудится знаменитой:
Ему и то уж силы придает,
Что подвигов его свидетель — целый свет.
Но сколь почтен и тот, кто в низости сокрытой,
За все труды, за весь потерянный покой,
Ни славою, ни почестьми не льстится,
И мыслью оживлен одной,
Что к пользе общей он трудится.

Увидя, как пчела хлопочет вкруг цветка,
Сказал орел однажды ей с презреньем:
Как ты, бедняжка, мне жалка
Со всей твоей работой и с уменьем!
Вас в улье тысячи все лето лепят сот;
Да кто же после разберет
И отличит твои работы?
Я, право, не пойму охоты
Трудиться целый век, и что ж иметь в виду?
Безвестной умереть со всеми на ряду.
Какая разница меж нами!
Когда, расширяся шумящими крылами,
Ношуся я под облаками,
То всюду рассеваю страх:
Не смеют от земли пернатые подняться,
Не дремлют пастухи при тучных их стадах;
Ни лани быстрые не смеют на полях,
Меня завидя, показаться.
Пчела ответствует: тебе хвала и честь!
Да продлит над тобой Зевес свои щедроты;
А я, родясь труды для общей пользы несть,
Не отличать ищу свои работы,
Но утешаюсь тем, на наши смотря соты,
Что в них и моего хоть капля меду есть.

Предмет приведенной мною басни есть одно из самых утешительных и высоких чувствований человеческого сердца. Поэт видел, что положение сей басни должно быть достойно своего предмета. Он избрал для сего язык благородный, в некоторых местах возвышенный. В самом понятии об орле и пчеле нет ничего комического или забавного, потому что один служит изображением могущества, а другая — трудолюбия. Таким образом, все употреблено, чтобы оставить в душе читателя чувство, располагающее более к задумчивости, нежели к удовольствию. Красоты поэзии разительны. Изображение страха, который наводит орел полетом своим на других животных, верно и живописно. Если бы я привел теперь басни Крылова в другом роде, каковы, например, Демьянова уха, Любопытный и проч., которые сделались народными; если бы я сравнил их с тем, в которых он как живописец рисует современные события; то не знаю, графиня, согласились ли бы вы отдать преимущество Лафонтену перед этим Протеем апологической поэзии.

Впервые опубликовано:
Сев. цветы на 1825 г. Спб., с. 26

Ф. Сальфи

ИЗ «РАССУЖДЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ БАСЕН КРЫЛОВА»

Русская литература, выходя, так сказать, из своего младенчества, является уже столь сильною, что, заставляя нас хвалить ее при самом рождении, в то же время показывает, какою она должна быть со временем.

Познания и примеры других образованных народов, предшествовавших ей на славном поприще, не могут не иметь на нее сильного влияния. Но хотя они и показывают ей дорогу, ими открытую и проложенную, но есть много физических, нравственных и политических причин, которые предохраняют и предохранят ее природный гений от рабского и бесплодного подражания, часто искажавшего гении других народов. Потому вероятно, что позднее появление умственных произведений России будет щедро награждено их оригинальностью. Доказательством этого могут служить басни г. Крылова. Хотя литературы наши наполнены сочинениями сего рода, однако ж басни Крылова показывают отличные свойства писателя, народа, даже времени. Это обнаруживается в сюжетах совершенно новых, несмотря на множество их у древних и новых писателей, в простоте рассказа и изложения, часто одушевленного резкими местными обстоятельствами, равно и в важности и изяществе нравоучения, которого г. Крылов никогда не выпускает из виду.

Тридцать итальянцев подражали на своем языке басням Крылова. Все они, не зная русского языка, более или менее следовали переводу, гр. Орловым для сего приготовленному и который, без сомнения, должно почитать вернейшим. Не имея возможности занять красоты подлинников, исчезающие в буквальном, прозаическом переводе, наши поэты по необходимости должны были подражать только сюжетам, которые им дали. Посему подражания их должны были сделаться большею частию свободными — и, может быть, весьма немногие сходны с подлинником. Если это некоторым образом невыгодно оригиналу, зато обращается к выгоде переводчиков. Предоставляя полное право изобретения г. Крылову, подражатели его более или менее изменили форму его басен; от сего в их подражаниях происходит удивительное разнообразие способов выражения, гораздо большее, нежели какое показали доныне итальянские баснописцы...

Некоторые итальянские подражания отличаются какими-то цветами языка; другие каким-то обилием рассказа, доказывающим богатство ума. Некоторые поэты, кажется, обольщаются украшениями и нежностию; другие, гораздо умереннее, едва терпят самые скромные и естественные прелести. Иная басня является робкою и скромною; другая смелою, свободною, поражающею остротой и колкостью. Я весьма далек от того, чтобы одни предпочесть другим, и ограничиваюсь тем, что сказал об их достоинстве. Мне кажется замечательным и наиболее отличающим сие поэтическое собрание в эпоху, в которую оно явилось, это счастливое соединение стольких людей, различных отечеством, законами и языком, усердно с различных сто-

рон стекшихся для исполнения прекрасного литературного предприятия. В самом деле, редкое и приятное явление — это к одному делу стечение умов от Севера, Запада и Юга! Кто не скажет, что они стремились сблизиться, познакомиться, насладиться взаимно и что ныне более, нежели когда-либо, стараются показать выгоду взаимного сообщения сведений и дарований, желая доставить народам ту степень образования, которая одна только может утвердить благоденствие Европы. Подлинно, ни в какое другое время не было сделано столько переводов классических произведений образованнейших народов. Не говоря о баснях Крылова, нет ни одного отличного сочинения французского и английского, которое не было бы переведено на итальянский язык. Так точно поступают и французы с сочинениями других, ибо недавно вновь перевели они с итальянского языка Освобожденный Иерусалим Тасса, la Divina Commedia Данте, творения Макиавеля, Микали, Ланзи и многих других.

После этого, мне кажется, собрание басен Крылова может почесться не только памятником трех литератур: русской, французской и итальянской, но еще доказательством той ученой сообщительности, которая отличает нынешние народы и век, ее возбуждающий. По сим двум важным отношениям, оно, без сомнения, приобретет внимание публики.

Впервые опубликовано:
Fables Russes, tirées du récueil de M^r Kriloff... Paris, 1825
Перевод: Моск. телеграф, 1825, ч. 5, № 18, с. 100

П.-Э. Лемонте

ИЗ «ПРЕДИСЛОВИЯ» К ИЗДАНИЮ БАСЕН КРЫЛОВА НА ФРАНЦУЗСКОМ И ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ

Баснями г. Крылова открылся славный период, в который Россия, испытав себя в литературе, так сказать, заморской, увидела у себя и словесность истинно народную, и публику, ей внемлющую. Басни сии, думаю, и доныне составляют то, что Парнас Невский имеет совершеннейшего. Ни один народ не имеет баснописца, который бы превзошел сего писателя в новости рассказа и изобретения. Почти все его басни принадлежат собственно ему. Рассказ его отличается тонкостию под видом простосердечия, и правдоподобием и усеян веселыми и остроумными подробностями. Он с отменным искусством употребляет краски местные, и кисть его, прямо русская, показывает, как в зеркале, необыкновенное подобие народа, который заемлет столько же простоты от праотеческого образа своей жизни, сколько тонкости ума от положения своего в обществе человеческом. Изобретение в баснях г. Крылова вообще исполнено ума. Он редко играет своими уроками; нравоучение его открыто и твердо, иногда даже сбивается на эпиграмму, или на ту общую сатиру, которая есть оружие добродетели. Слог его, которого совершенство живо чувствуют его единоземцы, совокупляет в себе два рода красот, недоступных для переводчиков: с одной стороны, он обилует словами звукоподража-

тельными, а с другой — он искусно извлекает из наречия простонародного самые, так сказать, удобные и нежданные выражения, которые сами собою пробуждают множество понятий, чувствований и воспоминаний, любезных русским. К счастию русского языка, одна и та же эпоха являет в нем г. Карамзина и г. Крылова, и оба они оказывают ему важные и разнообразные услуги. Первый из них возвышает ту часть сего языка, которая прилична достоинству Истории, второй изощряет в нем то, что способно к списыванию нравов. Можно сказать, что г. Карамзин дает избираемым им словам грамоты на благородство, а г. Крылов наделяет слова своего выбора патентами на ум.

Таков писатель, которого граф Орлов, страстный к славе своего отечества, желал распространить знаменитость по сию и по ту сторону Альпийских гор; таково творение, которым он хотел обогатить литературы французскую и итальянскую. Каких прав не имел он на успех сего предприятия, полезного трем народам! Италия не забыла еще, что она ему обязана драгоценными Историческими записками о Неаполитанском королевстве и двойною Историею музыки и живописи в Италии. Франция благодарна ему за предпочтение, которое он оказывает нашему языку разными своими сочинениями и за описание его путешествия по южным нашим провинциям; посему-то благодарность двух народов изъявилась готовностию их писателей, способствовать его намерению. Г. Сальфи, ученый критик и достойный продолжатель Женгене в прекрасной его Истории литературы итальянской, посвятит особое предисловие тому, что касается до муз Авзонии в этом собрании басен г. Крылова. Я скажу только об участии, которое приняли в оном поэты французские.

Число их почти равняется числу сих басен. Такое стечение нимало не удивительно. Франция, движимая великодушным чувствованием, начинавшим возвышать любовь к отечеству до любви к человечеству, приветствовала улыбкою первое стремление России к образованности и словесности. Вольтер, Левек и Леклерк были из новейших первыми ее историками, наши ученые, состязаясь с учеными германскими, с Эйлерами, Гмелинами и Палласами, занимали в ней места профессорские; для нее Фалконет создал статую Петра Великого. Главы нашей литературы вели переписку с императрицею Екатериною; один из них сам приходил дивиться ей посреди ее славы; а потом Кабинет Версальский, из тонкой угодливости, прислал к ней, в лице г. Сегюра, самого академического* своего посланника. На нашем же языке сия государыня, столь же великая монархиня, сколько отличная любезностию женщина, сама написала бессмертный свой Наказ о составлении законов для своей империи и Наставления о воспитании высоких своих внуков. Посему привязанность Франции к России, родившаяся от сообщения знаний и взаимной склонности двух народов, есть уже для нас как бы предание от наших наставников и привычка целого века.

---

* Переводчик не осмелился изменить здесь выражения сочинителева: le plus académique de ses ambassadeurs, хотя русская фраза и очень похожа здесь на галлицизм, в этом он просит извинения у читателей.

Правда, не легко было доказать сего переводом г. Крылова. То, что мы сказали о его слоге, богатом звукоподражаниями и выражениями, так сказать, сродными народу и нравам его отчизны, довольно ясно уже доказывает, что сии местные красоты неудобопереносимы в другой язык. Крылов, переселенный таким образом под чужое небо, не был бы узнан своими соотечественниками, так как и мы не узнаем Монтеня и Лафонтеня в самых лучших переводах. Посему должно было оставить напрасные попытки переводить поэзию его басен, а ограничиться подражаниями, для которых дельность содержания, прелесть и новость подробностей доставляют писателям всех стран удобный запас. Для облегчения сих подражаний, граф Орлов начал переводить басни своего единоземца на французский язык прозою и как можно ближе к подлиннику, и над сим, уже готовым запасом трудились поэты французские и итальянские, с свободою таланта и отбросив все препоны, противополагаемые текстом подлинным. Таким образом, из творения г. Крылова до нас дойдет все, что могло перейти за пределы России, и новые красоты, без сомнения, заменят те, которых нам не суждено постигнуть.

Суд о сих подражаниях принадлежит читателю, у которого они теперь перед глазами. Каково б ни было его мнение о каждой из сих басен отдельно, — но его, наверное, удивит и пленит чрезвычайное разнообразие тонов и красок целого. И никогда столь великое число отличных писателей не производило общими силами такого дела, которое, не взирая на особый отпечаток таланта каждого из них, долженствовало быть игрою их превосходства. В сем состязании я вижу некоторое подобие турнира, как бы празднуемого в Париже в честь чужеземного баснописца, куда со всех вершин французского Парнаса сошла толпа витязей и амазонок, и званием и оружием различающихся.

Впервые опубликовано:
Fables Russes, tirées du récueil de M^r Kriloff... Paris, 1825
Перевод: Сын Отечества,
1825, ч. 102, № 13, с. 67, № 14, с. 173

А. С. Пушкин

О ПРЕДИСЛОВИИ Г-НА ЛЕМОНТЕ К ПЕРЕВОДУ БАСЕН И. А. КРЫЛОВА

Любители нашей словесности были обрадованы предприятием графа Орлова, хотя и догадывались, что способ перевода, столь блестящий и столь недостаточный, нанесет несколько вреда басням неподражаемого нашего поэта. Многие с большим нетерпением ожидали предисловия г-на Лемонте; оно в самом деле очень замечательно, хотя и не совсем удовлетворительно. Вообще там, где автор должен был необходимо писать понаслышке, суждения его могут иногда показаться ошибочными; напротив того, собственные догадки и заключения удивительно правильны. Жаль, что сей знаменитый писатель едва коснулся до таких предметов, о коих мнения его должны

быть весьма любопытны. Читаешь его статью* с невольной досадою, как иногда слушаешь разговор очень умного человека, который, будучи связан какими-то приличиями, слишком многого не договаривает и слишком часто отмалчивается.

Бросив беглый взгляд на историю нашей словесности, автор говорит несколько слов о нашем языке, признает его первобытным, не сомневается в том, что он способен к усовершенствованию и, ссылаясь на уверения русских, предполагает, что он богат, сладкозвучен и обилен разнообразными оборотами.

Мнения сии нетрудно было оправдать. Как материал словесности язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи, словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей.

Г-н Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законодательства? Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования. Таковой же пример видели мы в новейшей Греции. Какое действие имеет на порабощенный народ сохранение его языка? Рассмотрение сего вопроса завлекло бы нас слишком далеко. Как бы то ни было, едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на судьбу нашего языка: он один оставался неприкосновенною собственностию несчастного нашего отечества.

В царствование Петра I начал он приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей, в то время покровительствуемых государями и вельможами; к счастию, явился Ломоносов.

Г-н Лемонте в одном замечании говорит о всеобщем гении Ломоносова; но он взглянул не с настоящей точки на великого сподвижника великого Петра.

Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк,

---

* По крайней мере в переводе, напечатанном в «Сыне Отечества». Мы не имели случая видеть французский подлинник.

ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художества мозаическими произведениями и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка.

Поэзия бывает исключительною страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни; но если мы станем исследовать жизнь Ломоносова, то найдем, что науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же иногда забавою, но чаще должностным упражнением. Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пламенных порывов чувства и воображения. Слог его, ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным. Вот почему преложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения*. Они останутся вечными памятниками русской словесности, по ним долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку нашему; но странно жаловаться, что светские люди не читают Ломоносова, и требовать, чтобы человек, умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне любимцем публики. Как будто нужны для славы великого Ломоносова мелочные почести модного писателя!

Упомянув об исключительном употреблении французского языка в образованном кругу наших обществ, г. Лемонте столь же остроумно, как и справедливо, замечает, что русский язык чрез то должен был непременно сохранить драгоценную свежесть, простоту, и, так сказать, чистосердечность выражений. Не хочу оправдывать нашего равнодушия к успехам отечественной литературы, но нет сомнения, что если наши писатели чрез то теряют много удовольствия, по крайней мере язык и словесность много выигрывают. Кто отклонил французскую поэзию от образцов классической древности? Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля? Придворные Людовика XIV. Что навело холодный лоск вежливости и остроумия на все произведения писателей 18 столетия? Общество M-e du Deffand, Boufflers, d'Epinay, очень милых и образованных женщин. Но Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола.

Строгий и справедливый приговор французскому языку делает честь беспристрастию автора. Истинное просвещение беспристрастно. Приводя в пример судьбу сего прозаического языка, г. Лемонте

---

* Любопытно видеть, как тонко насмехается Тредьяковский над славянщизмами Ломоносова, как важно советует он ему перенимать легкость и щеголевитость речений изрядной компании! Но удивительно, что Сумароков с большой точностию определил в одном полустишии истинное достоинство Ломоносова-поэта:

Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен!
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France, etc.

утверждает, что и наш язык, не столько от своих поэтов, сколько от прозаиков, должен ожидать европейской общежительности. Русский переводчик оскорбился сим выражением, но если в подлиннике сказано civilisation Européenne, то сочинитель чуть ли не прав.

Положим, что русская поэзия достигла уже высокой степени образованности: просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны.

Г-н Лемонте, входя в некоторые подробности касательно жизни и привычек нашего Крылова, сказал, что он не говорит ни на каком иностранном языке и только понимает по-французски. Неправда! резко возражает переводчик в своем примечании. В самом деле Крылов знает главные европейские языки и, сверх того, он, как Альфиери, пятидесяти лет выучился древнему греческому. В других землях таковая характеристическая черта известного человека была бы прославлена во всех журналах; но мы в биографии славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается.

В заключение скажу, что мы должны благодарить графа Орлова, избравшего истинно народного поэта, дабы познакомить Европу с литературою Севера. Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие (naïveté, bonhomie) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться: Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов.

P. S. Мне показалось излишним замечать некоторые явные ошибки, простительные иностранцу, например сближение Крылова с Карамзиным (сближение, ни на чем не основанное), мнимая неспособность языка нашего к стихосложению совершенно метрическому и проч.

Впервые опубликовано:
Моск. телеграф, 1825, ч. 5, № 11, с. 40

Г. Геро

РЕЦЕНЗИЯ НА ПАРИЖСКОЕ ИЗДАНИЕ БАСЕН КРЫЛОВА

...Басни Сумарокова теперь почти забыты, и его слог, старообразный и для его современников, был главною причиною упадка, в каком находится ныне сей писатель*.

После него явился Хемницер, умерший в 1784 г., которого русские могли по некоторым причинам называть своим Лафонтеном, хотя его сочинения не были по достоинству оценены современниками. Дарование, похожее на дарование нашего бессмертного баснописца, соединялось в нем и с его добродушием: в обществе он был также рассеян, странен и прост. Многие черты, собранные г-м Олениным в предисловии к изданию басен Хемницера, в 1799 г. могли б быть приведены в доказательство нашего мнения, если бы это составляло предмет нашей статьи. Хемницер обладал в большой степени добродушием, сим необходимым качеством для истинного баснописца, и он не уступает в слоге ни одному из своих последователей, хотя в его время русский язык был еще необразован и хотя последователи его имели образцы, которых у него не было.

Между новейшими писателями, занимавшимися в России сочинением басен, отличаются гг. Дмитриев и Крылов**, оспоривающие пальму дарования и, кажется, имеющие на это равные, но различные права. Басни первого из сих писателей можно почесть совершенством. Он соединил изящество с естественностью и простотою. Может быть, ни один из поэтов русских не оказал столько ума и приятности. Всегда счастливый в выборе выражений, он сделал из своих стихотворений благозвучную музыку, совершенно преклоняющую читателя к замысловатым урокам нравоучения. Вообще подражал он Лафонтену с удивительным уменьем, и многие из его басен, кажется, написал сам неподражаемый наш баснописец по-русски. Но Дмитриев почти ничего не изобретал. Флориан, Ла-Бальи, Арно и другие иностранные баснописцы доставили большую часть пьес, из которых составлено его собрание.

Крылов оригинальнее: половина сюжетов, им обработанных, принадлежит ему.

Суждение г. Лемонте, в котором, как видим, он совсем забыл о критике, есть настоящий панегирик; но мы уравняем его суждением г-на Жуковского, так же, как г. Крылов отличного русского поэта, в Рассуждении своем о басне вообще и о баснях Крылова особенно, отдавши, впрочем, всю должную справедливость, прибавляет, что слог г. Крылова иногда слаб и растянут, что кое-где встречаются у него ошибки против языка, выражения грубые и противные чистому вкусу. Г-ну Лемонте, без сомнения, язык русский неизвестен. Он должен был отнестись в сем случае к графу Орлову, который к обязанностям издателя басен Крылова присоединяет еще дружбу с

---

* Сумароков писал и трагедии, уважаемые более его басен, и в которых сюжеты у него народные русские, но и здесь он грешил в слоге. Между тем, он писал в то время, когда Ломоносов так счастливо преобразовал поэтический язык. *Соч.*

** Можно заметить еще г-д Измайлова и В. Пушкина. *Соч.*

сочинителем, и потому в писателе, с которым он знакомит нас, должен видеть одни красоты. Впрочем, нельзя было сделать выбора более удачного, когда хотели показать нам поэтические красоты Севера: одна оригинальность Крылова заслуживала ему почесть, какой он удостоился*. К несчастию, оригинальность эта сохранена весьма немногими из его переводчиков.

Собрание басен Крылова, о котором мы говорим, состоит из пяти книг, заключающих в себе 86 басен. Сюжеты всех сих басен, за исключением двух или трех, принадлежат русскому писателю: видно, что воображение его столь же богато, сколь разнообразно. Выбор, сделанный графом Орловым, вообще удачен. Мне кажется, однако ж, что напрасно помещена 14-я басня I-й книги (которую г. Амори-Дюваль перевел очень вольно): «Троеженец». Это не басня, а сказка**. Можно бы также заменить другими некоторые басни, в которых изображения кажутся мне неудачными или которые представляют местные, слишком яркие краски и изображения, то и другое безуспешно пытаться передать на нашем, столь нежном языке. Таковы басни: 9-я во II кн., 3-я в III, 9-я в IV***.

Г. Крылов выбирал почти все действующие лица из царства животных, благоразумно удаляясь от выведения на сцену предметов отвлеченных, которые придали Ламоттовым басням такую холодность и неестественность****. Как Лафонтен,, он ставит применения басен или нравоучения иногда в начале, иногда в конце басни; иногда он даже не говорит ничего от себя и оставляет читателю удовольствие судить, как угодно. Вообще следствия выведены у него счастливее, нежели у баснописца французского. Потому что желудь, а не тыква упала на нос Гаро, Крылов не говорит, что все благо и хорошо; не скажет, как Лафонтен в басне «Волк-пастух», что кто волк, тот всегда поступает, как волк, и проч. Подобные уроки и подобные истины, как очень хорошо замечает Мармонтель, больше нежели бесполезны для нравов. «Лафонтен не всегда избегал несовершенства сюжетов, заимствованных им у древних, перед которыми иногда бывал слишком почтителен». Что касается до г-на Крылова, он умел поставить себя наравне с своим веком. Применения его басен вообще ознаменованы замечательною смелостью*****. Но есть такая точка, на которой баснописец французский показывает все свое превосход-

---

* Я не знаю никого из русских писателей кроме Державина (лирического поэта, одного из отличнейших, какие когда-нибудь существовали), которого сочинения отличались бы большею оригинальностью, но по этому самому, мне кажется, соч. Державина еще труднее переводить на наш язык. *Соч.*

** То же надобно сказать о последней басне в IV книге: «Лжец», вольно переведенной Алек. Дювалем. Впрочем, она напоминает Лафонтенову: le Dépositaire infidéle. *Соч.*

*** «Демьянова уха», «Свинья», «Гребень». *Соч.*

**** Можно указать на исключения из общего правила, предписывающего давать предпочтение для действующих лиц басни существам одушевленным, и, может быть, лучшая из Лафонтеновых басен, «Дуб и Трость», есть исключение самое счастливое. Но тем не менее справедливо, что наш ум естественнее придает дар слова животным, нежели предметам неодушевленным или метафизическим, и потому первые всегда с лучшим успехом могут быть вводимы в басню, нежели последние. *Соч.*

***** «Квартет», «Музыканты», «Лебедь, Рак и Щука». *Соч.*

ство, а поэт русский оказывается слишком небрежным: это правдоподобие действия, необходимое в апологе, где без него нет никакого возможного очарования. Кто поверит русскому сочинителю, чтобы щука пошла с котом ловить мышей? чтобы крестьянин поручил стеречь сад свой ослу? чтобы у другого крестьянина змея вызывалась детей воспитывать? чтобы щука, лебедь и рак могли запрячься в воз? и проч. — Здесь наши переводчики могли бы удалиться от своего подлинника, но, к несчастию, многие из них, будучи неспособны передать красоты русского баснописца, умели увеличить его погрешности.

Пятьдесят восемь писателей французских (в том числе десять дам) и тридцать один итальянский соединились для перевода басен г. Крылова. Из сего числа более двадцати было таких, которые имели заслуженное право взять на себя дело столь затруднительное.

Может быть, ни один из них не знал языка того поэта, которого брался быть переводчиком. «Желая составить сии подражания, — говорит г. Лемонте, — граф Орлов начал тем, что перевел во французскую прозу, сколько можно буквальнее, басни своего соотечественника, и канва, таким образом приготовленная, передана была поэтам французским и итальянским, занявшимся подражаниями русскому тексту с приличною дарованиям свободою и не связывая себя затруднениями»*. «Таким образом, — присовокупляет г. Лемонте, — мы получили из сочинений г. Крылова все, что можно было перевести за границу России, а новые красоты, приданные переводчиками, без сомнения, заменят те, которых нам невозможно было себе присвоить».

Легко понять, что исполнение подобного предприятия было затруднительно. На него употребили много лет, и никогда не привели бы его к окончанию, если б слишком были разборчивы в выборе писателей. Многие трудились в переводах не по своему выбору и не чувствуя наклонности дарования к подобному роду стихотворений. О предприятии графа Орлова говорили во многих светских обществах. Оно сделалось некоторым образом модным занятием: всякой хотел иметь участие в деле, которое сам г. Лемонте называет «славным парижским турниром в пользу иностранного баснописца», и вот каким образом множество светских людей, совершенно неизвестных на нашем Парнасе, сделалось сотрудниками людей, уже отличившихся литературными подвигами, и вот почему г. Крылов может гордиться тем, что в числе своих подражателей находит людей, умом которых он сам иногда обогащал свои творения. Боясь оскорбить особ, без сомнения почтенных, я не скажу имен, которые, к удивлению

* В буквальный перевод могли однако ж попасть ошибки, коих не должно приписывать подражателям французским и итальянским. Вот пример: г. Девилль, счастливо и вообще верно передавший нам басню «Крестьянин в беде», долго затруднялся прилагательным — luminaire как называет героя басни один из его соседей. По-русски сказано: свет (swett), буквально lumière — дружеское или приятельское слово, все равно как у нас: mon âme, mon cher, lumière de ma vie, и здесь luminaire не имеет никакого отношения к русскому свет. Переводчик очень хорошо сделал, что пропустил это прилагательное. *Соч.*

моему, много раз встретились мне под переводами басен г. Крылова; я только укажу на несколько басен, ими переведенных.

Выбираем несколько переводов, по которым читатель может сам судить о духе русского писателя и дарованиях его подражателей.

«Орел и Паук». Сюжет не совсем принадлежит г-ну Крылову; басня переведена г-м Дарю довольно верно. Можно упрекнуть его, что он столетний кедр подлинника заменил во французском переводе смелым дубом (un chêne audacieux): прилагательное неправильное и, вероятно, употреблено только для рифмы (des dieux). Переводчик ошибся также, заставив паука говорить орлу:

Un moment; j'y travaille, et bientôt sous ce voile
Tu vas être à l'abri d'un soleil trop ardent.

Русский писатель просто говорит, что паук так работает свою паутину, что... кажется Орлу, заткать он солнце хочет. Это метафора, употребленная поэтом, а совсем не намерение действующего лица басни.

Басня «Ларчик», переведена покойным г-м Эпьяном. В самом вступлении отступая и потом удаляясь более и более от цели, какую имел русский писатель, г. Эпьян применил басню к литературным отношениям. Это вообще бывает холодно и не так занимательно, как применение к порокам и исправлению нравов.

«Лиса-строитель», одна из лучших басен Крылова, хорошо переведена г-м Ж. Жансуль. Замечу ему только, что в подлиннике нет ни слова о кухне льва*.

«Клеветник и Змея». Басня, которой сюжет не принадлежит Крылову, переведена г-м Арно. Перевод носит на себе отпечаток собственных сочинений переводчика: едкость мыслей, небрежность слога — два отличительные свойства, которыми Арно походит отчасти на Крылова.

Сюжет басни «Дерево» не нов, и у нас пересказан был несколько раз, в разных видах. Впрочем, басня по-русски очень хороша, и г. Суме превосходно передал ее по-французски. Его пóдражание дышит поэзиею, хотя и можно заметить несколько неточных выражений, например: la chèvre qui blesse l'arbrisseau. Здесь выражение слабо, употреблено для рифмы, равно как и brillant naufrage, сказанное о разрушении деревца.

Г. Стассар, сделавший подражание басне «Синица», уверяет в самом начале, что он не отступит от подлинника—

De pays en pays la Fable se promène,
Et dans les champs d'Esope un russe me ramène,
Je vais d'après Kriloff, vous faire le récit
D'une aventure assez invraisemblable,
Mais dont il fut témoin; je me croirai coupable
De rien changer à ce qu'il dit.

---

* Г. Жансуль первый стих Крылова —

Какой-то лев большой охотник был до кур —

распространил в семь стихов французских и прибавил потом от себя —

De plus, sa brèche était très bien fournie. *Пер.*

Но г. Стассар не сдерживает своего слова, и, верно, никто не упрекнет его за это. Его прибавки счастливо сделаны и прекрасны. Он применил басню к тем сидням, которые хотят, чтобы мы сидели на одном месте и отставали от своего века. В подлиннике применение басни представляет более общности, хотя рассказ блестит эпиграмматическим остроумием, которое, как я уже заметил, есть одна из отличительных черт характера поэзии Крылова. Если хотеть в переводе ограничить предмет басни, это ограничение должно делать так, как сделал г. Стассар; но не всем дана такая способность. Мы находим в другой басне, переведенной тем же писателем и названной l'Habit de Jocrisse, способность эту в одинаковой степени. Видя в басне Крылова простака, который отрезал рукава у своего фрака, починил дыры, и потом отрезал фалды и сшил из них рукава, наконец из фрака очутился в куртке, все переводчики отказывались от этой басни, боясь, что ничего нельзя сделать из сюжета, по-видимому, столь странного. Г. Стассар взялся, и применил его весьма счастливо к некоторым постановлениям, теряющим от времени свою сущность*.

Вспомним еще как о переводах образцовых о двух баснях: «Обезьяна и очки», пер. г. Андрье и «Лисица и Сурок», пер. графом Сегюром, доказавшим в сем случае, что дарования его сохранили всю силу и свежесть юности. Мы радуемся, что сии басни во французском переводе лучшие из всего собрания, равно как и переводы г-на Стассара, принадлежат участникам в издании нашего журнала **. Не боимся, если кто-нибудь из читателей, видя наши похвалы, подумает, что участие почтенных переводчиков в нашем журнале или известность имен их, внушили нам похвалы сии. Имена других переводчиков известны не менее, но мы ничего не скажем об их переводах, ибо переводы, под которыми подписаны их имена, кажутся нам недостойными славных имен переводчиков. — Скажем только, что следующие басни переведены по-французски хорошо: «Орел и Крот», графинею Сальм; «Добрая Лисица», «Крестьяне и Река» и «Раздел», г-м Ле-Бальи; «Кот и Повар», «Муравей», г-м Вьенне; «Собачья дружба», г-м Арно; «Пчела и Мухи», г-м Рессегье; «Ручей», г-м Каз Делавинем. К числу хороших басен принадлежат почти все переведенные г-м Ноде, юным литератором, о котором много раз имели мы случай говорить и который сам по себе обещает нам со временем отличного баснописца.

Жалеем, что граф Орлов почел нужным поместить в своем издании басни: «Демьянова уха», «Свинья» и «Гребень», и тем более жалеем, что перевод сих басен достался на часть двум любимицам Муз***. Могли ль они показать дарования свои в труде столь неблаго-

* Русский писатель применил эту басню к тому довольно большому числу молодых расточителей, которые продают одно за другим наследства своих отцов и потом щеголяют в Тришкином кафтане. Русский Тришка то же, что у нас Жокрисс. *Соч.*

** То есть Revue Encyclopédique. *Пер.*

*** «Демьянова уха» и «Гребень» пер. г-жею Амабль-Татю; «Свинья», Софиею Ге. *Пер.*

дарном? И какие изящные картины, какой занимательный урок могли извлечь из подобных сюжетов *.

Надобно сказать несколько слов об итальянских переводчиках. Мы заметили у них погрешность общую, может быть, происходящую от свойства языка: изобилие слов, или лучше сказать, лишнюю говорливость. Почти в каждой басне подражатели удвоили число стихов против русского подлинника. В переводе басни: «Орел и Крот» (г-на Жианноне) мы находим 170 стихов, когда в русской басне только 41 стих. Такое обилие явно вредит простоте сего рода стихотворений и встречается у итальянских переводчиков не в одних словах, но и в мыслях: они поворачивают каждую мысль со всех сторон, и, кажется, хотят решительно все высказать. — Хотя вообще подражания итальянские показались нам более неудовлетворительными, нежели французские, но мы не можем, однако ж не означить некоторых, достойно могущих соперничать с французскими лучшими подражаниями, о коих мы выше упоминали. Таковы басни: «Il Sacco», г-на Монти; «Il Villano e l'Asce», Пиндемонте; «Il Luccio e il Gatto», «Le Carrette», «La Fortuna in visita», Лампреди (умевшего в первой из сих басен искусно закрыть невероятность сюжета, о которой мы упоминали выше); «La Volpe compassionante», Анджелони; «Il Calunniatore ed il Serpente», Бонди; «L'Aquila ed il Ragno», Риччи (басня, переведенная по-французски графом Дарю); наконец, многие басни, переведенные почтенным сотрудником нашего журнала г-м Сальфи. Он перевел семь басен, из коих заметим: «L'Elefante e il Cagnolino», «Il Nugolo» и «L'Asino».

Мой разбор переходит уже предположенные мною границы и едва остается у меня место присовокупить здесь, чтобы все сказать о книге, произведшей некоторым образом общее впечатление, что в начале ее помещено русское посвящение г-ну Крылову от издателя. Сам граф Орлов писал это посвящение, и мы не можем довольно похвалить его за благородное употребление, какое делает он из своих богатств. За посвящением следует Введение г-на Лемонте. Читатели могут иметь об нем некоторое понятие из приведенных мною отрывков. Далее, Рассуждение г-на Сальфи о басне и преимущественно о басне итальянской — сочинение чрезвычайно любопытное, в котором критик, способный к произведениям сего рода, представил самый

---

* В первой басне представлен русский крестьянин, который приглашен к соседу обедать, съел одну, две, три, четыре тарелки ухи и когда сосед, выхваляя уху, уговаривает гостя съесть еще пятую, у того, по выражению в переводе французском: le coeur bondit ... crève и он бежит, спасаясь от предложения докучливого хозяина. Русский поэт выводит нравоучение поэтам, не умеющим кстати помолчать. — Героиня другой басни, свинья, бывшая в великолепном замке. По возвращении оттуда ее спрашивают: что она видела хорошего? Свинья не заметила ничего, кроме навоза. Открылось, что она была только на заднем дворе: отношение к критикам, которым неприязненный дух открывает в сочинениях одни ошибки. Предмет третьей басни — Гребень. Мать подарила его сыну, который забавлялся, расчесывая им свои волосы каждый день. Однажды его волосы склочились, гребень не мог расчесать их без боли, и дитя, рассердившись за это, бросает гребень в реку, «где, — говорит поэт, — им чешутся Наяды», и отношение сделано к правде, которая до тех пор приятна людям, пока у них совесть чиста, но не нравится, если совесть начнет их в чем-нибудь упрекать. *Соч.*

полный и самый верный исторический обзор, какого доныне не было еще на языке Данта.

Книга украшена портретом г-на Крылова и пятью гравированными картинками, рисованными самыми лучшими нашими артистами; напечатана в типографии Дидота с исправностью и простотою, которая день ото дня становится у нас реже. Русские буквы отлиты нарочно, и корректура читана весьма хорошо. Жаль, что никаких других реестров не приложено, кроме приложенных к каждой книге оглавлений, где означены только названия басен.

Впервые опубликовано:
Revue Encyclopédique, 1825, № 6
Перевод: Моск. телеграф, 1825, ч. 5, № 18, с. 137

В. А. Жуковский

РЕЧЬ НА ЮБИЛЕЕ И. А. КРЫЛОВА

Любовь к словесности, входящей в состав благоденствия и славы отечества, соединила нас в эту минуту. Иван Андреевич! Мы выражаем эту нам общую любовь, единодущно празднуя день вашего рождения. Наш праздник, на который собрались здесь немногие, есть праздник национальный; когда бы можно было пригласить на него всю Россию, она приняла бы в нем участие с тем самым чувством, которое всех нас в эту минуту оживляет, и вы от нас немногих услышите голос всех своих современников. Мы благодарим вас, во-первых, за самих себя: за столь многие счастливые минуты, проведенные в беседе с вашим гением; благодарим за наших юношей прошлого, настоящего и будущих поколений, которые с вашим именем начали и будут начинать любить отечественный язык, понимать изящное и знакомиться с чистою мудростию жизни; благодарим за русский народ, которому в ум и с такою прелестию дали столько глубоких наставлений; наконец, благодарим вас и за знаменитость вашего имени; оно сокровище отечества и внесено им в летописи его славы. Но выражая перед вами те чувства, которые все находящиеся здесь со мною разделяют, не могу не подумать с глубокою скорбию, что на празднике нашем недостает двух, которых присутствие было бы его украшением и которых потеря еще так свежа в нашем сердце. Один, знаменитый предшественник ваш на избранной вами дороге, недавно кончил свою прекрасную жизнь, достигнув старости глубокой, оставив по себе славное, любезное отечеству имя. Другой, едва расцветший, и в немногие годы наживший славу народную, вдруг исчез, похищенный у надежд, возбужденных в отечестве его гением. Воспоминание о Дмитриеве и Пушкине само собою сливается с отечественным праздником Крылова. Заключу желанием, которое да исполнит Провидение, чтобы вы, патриарх наших писателей, продолжали многие годы наслаждаться цветущею старостию и радовать нас произведениями творческого ума своего, для которого еще не было и никогда не будет старости. Оглядываясь покойным оком на прошедшее, продолжайте извлекать из него те поэтические уроки мудрости, которыми так давно и так пленительно поучаете вы современ-

ников, уроки, которые дойдут до потомства и никогда не потеряют в нем своей силы и свежести, ибо они обратились в народные пословицы, а народные пословицы живут с народами и их переживают.

Впервые опубликовано:
Журнал министерства народного просвещения, 1838, ч. 17

В. Ф. Одоевский

РЕЧЬ НА ЮБИЛЕЕ КРЫЛОВА

Я принадлежу к тому поколению, которое училось читать по вашим басням и до сих пор перечитывает их с новым, всегда свежим наслаждением. Мы еще были в колыбели, когда ваши творения уже сделались дорогою собственностию России и предметом удивления для иноземцев; от ранних лет мы привыкли не отделять вашего имени от имени нашей словесности. Существуют произведения знаменитые, но доступные лишь тому или другому возрасту, большей или меньшей степени образованности; не много таких, которые близки человеку во всех летах, во всех состояниях его жизни. Ваши стихи во всех концах нашей величественной родины лепечет младенец, повторяет муж, вспоминает старец; их произносит простолюдин как уроки положительной мудрости, их изучает литератор как образцы остроумной поэзии, изящества и истины. Примите же дань благодарности от лица младших делателей на том поприще, которое вы проходите с такою честию для вас и для русского слова, пусть долго-долго ваш пример будет нам путеводителем; пусть новыми вашими творениями вы обогатите если не славу вашу, то, по крайней мере, сокровище тех высоких ощущений, которые порождаются в людях только произведениями высокого искусства. Голос нашей признательности исчезает в общем голосе наших соотчичей; но это чувство в нас тем живее, что для нас прелесть старины и младенческих воспоминаний возвышается наслаждением видеть в лицо знаменитого современника, быть очевидными свидетелями его нравственной доблести; для нас память ума соединяется с памятью сердца.

Впервые опубликовано:
Журнал министерства народного просвещения, 1838, ч. 17

П. А. Плетнев

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ КРЫЛОВА
1838

2-го февраля нынешнего года совершилось 70 лет от рождения И. А. Крылову и 50 лет с появления первых его стихов. Между знаменитыми писателями нашими немногие дожили до старости столь почтенной, и едва ли хоть один целое полустолетие постоянно оставался на поприще словесности. Ломоносов умер 54 лет, Фонвизин 47, Карамзин 61, Озеров 46, а Пушкину не исполнилось и 37 лет. Только Державин и Дмитриев перешли за семидесятилетие: первый умер 73, а другой 77. Но никому еще в России судьба не посылала

такого счастливого удела в литературе, какой достался Крылову. В нем равные совершенства, рассматривать ли его как поэта, как баснописца и как русского писателя.

Поэт, по назначению своему, обязан все, доступное обрабатыванию душевных сил, лучшими орудиями языка пересоздать в ясные, полные и живые образы, которые бы из области его искусства представляли нам еще природу со всеми вечными ее законами. Люди и сам поэт могут изъяснять это назначение разнообразно до бесконечности, применять его к своим нуждам и устремлять ко множеству целей. Это и неизбежно, когда все высшие явления мы изъясняем с нашей низменности. Между тем никто не признает истинным поэтом того человека, у которого или нет сил соперничествовать с природою, или высказывается какое-нибудь отстранение от ее условий. Поэт, приводя только в деятельность свои счастливые дарования, уже достигает главной своей цели, или назначения. Кто во зло употребляет так благодатно ниспосланные ему душевные силы, тот презрителен: это ничего не доказывает, кроме жалкой истины, что небесное можно унизить на земле. Могущество прекрасно настроенного дарования редко бывает всеобъемлющим, редко с одинаковым успехом обрабатывает всю массу впечатлений, волнующих душу. Гораздо чаще поэт отделяет для себя некоторые только части, или даже одну часть материалов. Трудно с точностию определить, отчего останавливается он именно на этих предметах, а не на других. Причины без сомнения заключаются частию в его собственной душе, частию в том, что на нее действует. Но так как все внешнее, усвоено будучи душою, образует, наконец, ее же существо, то позволительно изъяснять особенности поэтов особенностию их внутренней природы.

Крылов, в точном смысле слова, поэт. Область его созданий озарена светом истинной жизни; все образы движутся, действуют; в них есть и теплота, и одушевление. Нет у нас поэта, который был бы законнее его в художническом исполнении. Он строг к себе как стоик. Но это не иссушило цветов его поэзии. На них блестят краски; они сочны и роскошны как лучшие первенцы весны. Крылов не разнороден, но разнообразен. Может быть, величайшим для него благом было то, что он вполне и вовремя сознал себя. Оставив другие отрасли безграничного искусства, он всего себя посвятил одной, для которой природа так счастливо образовала его душу. Преобладающее направление ума его обнаруживается уроками практической, житейской мудрости. Он по природе своей так наклонен к этому предмету, что исследованиями своими обвел его со всех сторон. Перечитывайте его сочинения, разговаривайте с ним, изучайте его мнения, привычки, все, под чем высказывается этот сгиб ума, в каждом человеке особенный: вы обогатитесь наблюдениями верными, неисчислимыми, тонкими и до невероятности новыми. Если бы в таланте Крылова заметен был недостаток или производительных сил, или живости воображения и сочувствия с истинными красотами природы, то, при его направлении ума, легко можно бы вдаться в холодность дидактическую, чего не заметишь ни в одном его стихотворении. Обдумывая изложение какой-нибудь истины, которая сама по себе столько же неоспорима, как и нага, он поэтическим чувством видит или слышит

ее в душе своей рождающуюся так согласно с законами искусства, как бы зачалась она прямо с поэтического зародыша — с формы чувственной и вместе одушевленной. В таком виде она возрастает у него и наконец входит в свой предел зрелости. Ни один из множества тонов прекрасного не затруднил его. Он каждый выдержал верно, перепробовавши все. Обработывание одного рода поэзии не препятствует истинному таланту разнообразить его произведения. Прочитав несколько стихотворений Крылова, нельзя сказать, что уже привыкнул к нему. На всякую новую истину у него готовы и новые краски, новое вдохновение и новая жизнь. Остановясь мысленно перед какою-нибудь идеею, вникая ли в нее долго, или по художническому свойству мгновенно обнимая ее с неимоверною живостию, как бы то ни было, только он никогда не возвращается к прежним своим картинам, не ищет подобия в старых своих опытах, но сливается вполне с предметом, в эту минуту его поразившим, и все почерпает из этой жизни, привязываясь к ней с жаром первой любви. Судя по тому, что Крылов изложил уже столько уроков практической мудрости, напрасно бы подумали мы, будто он истощил весь запас истин, доступных его душе: они для него так же неистощимы, как явления жизни. Даже старая мысль, может быть, несколько раз являвшаяся у его предшественников, легко увлечет его, а с ним и нас, если только счастливое мгновение укажет ему на нее в новом образе и в другой сфере, если только она потревожит его поэтическое чувство: и мы встретим ее как создание, трепещущее свежестью бытия.

Находясь на столь высокой степени как поэт, Крылов еще замечательнее как баснописец. Идея поэзии вообще до такой обширности доведена теперь, и, вероятно, явлениями новых талантов так еще будет распространена, что одному лицу, со всем разнообразием, со всею неисчерпаемостью творчества, никогда не наполнить собою того представления, которое душа образовала о поэте вообще. Чем недостижимее являлись гении, тем необъятнее делались требования. Баснописец, преимущественно перед другими поэтами, определительнее рисуется в воображении. Хотя и здесь никакой нет возможности исчислить все видоизменения характеров, все тоны и оттенки произведений, все приемы сил воображения, — по крайней мере, для наблюдателя виднее дорога, по которой должен идти баснописец. Как бы ни были смелы шаги его, как бы он ни раздвигал широко пространство, по которому совершает избранный свой путь, мы знаем его направление и в состоянии за ним следовать хотя издали, давая себе отчет о нем определительнее. На всякую мысль он набрасывает легкий и прозрачный покров аллегории. Он во всем чувствует проявление чего-то человеческого, подобно жителю Индии, верующему в переселение душ. Нет вещи в природе, которая бы не говорила ему о человеке, и каждое о нем помышление приемлет какой-нибудь один из тех образов, которыми так богата вселенная. Но какие бы видения ни преследовали душу баснописца, он не может освободиться от двойственного прикосновения: с одной стороны, человека, с другой — аллегорических актеров, заменяющих его в каждом апологе.

Баснописец, приведенный самою сущностию поэзии своей в ка-

кую-то ограниченную деятельность, принужден истощать весь талант на образы, положения и другие красоты выводимых им существ, по наследству переходящих из одной литературы в другую. До Крылова так невелико было число апологических преданий, что многие критики, как бы только из снисхождения к похвальному труду баснописцев, за правило приняли определить их достоинство умением освежать обветшалые картины новизною красок. Крылов первоначально и сам не думал выйти из общего круга рассказов. Может быть, этот тесный горизонт идей, из-за которого мудрено с первого шага предвидеть обширное поле, некогда породил в нем то отвращение от апологической поэзии, о котором не забыл он до сих пор. Любопытно слушать, когда он вспоминает, что предшественник его, другой знаменитый баснописец, Дмитриев, начал первый убеждать его заниматься сочинением басен, прочитав переведенные Крыловым в праздное время три басни из Лафонтена. Преодолев отвращение свое от этого рода и заглушив раннюю страсть к драматической поэзии, Крылов несколько времени ограничивается то подражанием, то переделкою известных басен. Хотя в первых его опытах знатоки увидели уже явление любопытное в литературе нашей — и Жуковский в «Вестнике Европы», которого он был тогда издателем, произнес с любовию прекрасное свое мнение об его таланте; но наш Крылов нынешний был впереди. Тогда еще позволено было, в похвалу, называть его другим Лафонтеном. Между тем по мере новых трудов своих, он, видимо, становился независимее от сравнений и наконец дошел до совершенной самобытности в своем роде. Басня осталась для него только привычною формой поэзии неистощимой и всеобъемлющей. Человек в частной своей жизни, гражданин в общественной своей деятельности, природа в своем влиянии на дух наш, страсти в их борении, причуды, странности, пороки, благородные движения сердца, вечные законы мудрости — все перешло в его область, все подверглось его исследованию, все, к общему изумлению, разрешено им с такою ясностию, с такою легкостию, с таким высоким поэтическим достоинством, что ныне Крылов как баснописец, конечно, первый поэт в Европе. Самых знаменитых, из числа его предшественников, можно сравнить с детьми; а он подле них — муж. Они простодушны и увлекательны, а он глубок и поразителен. Поэзия к ним являлась для оживления всем известной мысли; а у него перед глазами полная сокровищница жизни, из которой он извлекает все новые мысли, и с ними новую поэзию.

Неудивительно, что лучшие европейские поэты заплатили ему достойную дань своего удивления, переведши его басни на разные языки. Не чувствуя всех красот подлинника, они поражены были созданиями его поэтически-глубокого ума и желали обогатить ими каждый свою словесность. Это, впрочем, только начало его славы. Полная слава Крылова еще впереди. Когда язык русский сделается предметом изучения Европейцев, как ныне изучаются языки французский, немецкий и английский, тогда баснописец наш будет любопытнейшим предметом всеобщих исследований. В нем столько явлений жизни Русского народа, столько резких особенностей нашего ума, наших нравов, столько игры народного остроумия, тонкости и

простодушия, столько событий из современной поэту эпохи, столько неизъяснимой гибкости русского языка всех тонов, что по его сочинениям можно будет составить полную картину России. Истинный поэт, говоря фигурально, такой же дееписатель, как и историк, с тою разницей, что последний сохраняет строгую систему в распределении событий, а первый набрасывает группы, не заботясь о их последовательности. Но поэт для души, способной все понимать в нем глубокомысленнее и наставительнее историка, точно так как созерцание самой природы далее уводит в естествознание, нежели изучение Бюффона и Линнея. Один успокаивает вас, снабжая положительными сведениями; другой, поражая вас необъятностию и неисчислимостию сторон, до которых в этом предмете никто еще не коснулся, пробуждает всю деятельность вашего ума. Гениальные идеи нравственности, политики, законодательства — одним словом, человековедения, заключены преимущественно в творениях великих поэтов. Но они, как драгоценные камни, как подземные тайники, как силы и законы природы сокровенны и требуют много умственных пособий, чтобы обресть их и дать им применение. Крылов, ограничив деятельность свою в самом тесном роде поэзии, вышел на эту стезю обилия и величия, где проходили знаменитейшие наставники человечества. Он во всемирное книгохранилище положил творение о своем отечестве, с изумительным прагматизмом обработанное.

Явления русской жизни со всеми частностями, прикосновенными к этой идее, может быть, не обозначились бы так поэтически верно, так поразительно, так неизгладимо, если бы они представляемы были зрителю другим художником-писателем. В русском языке Крылова есть таинства, еще никем из наших поэтов не разоблаченные: по крайней мере, никто ими не воспользовался так в своих произведениях, как Крылов. Он как будто родился для того, чтобы все Русское облекать в такие стихи, от которых предмет заимствует более жизни и цвету. Он в такой симпатии сходится с идеями, что для обозначения их выбирает с удивительною разборчивостию и меткостию только им свойственные выражения, обороты речи, расстановку слов, даже звуки их. Конечно, в самой сути дела идея уже предполагает бытие и слова своего; но в этом и состоит авторское достоинство, чтобы совокупить в произведении со всею строгостию только такие идеи, которые вместе образуют чудную гармонию мыслей, картин и событий. Одного и того же содержания сцены у разных народов в разных странах действуют на зрителя неисчислимо разнообразно вследствие того, что стихии жизни, соответственно причинам, действующим на душу, разнообразно совокупляются, образуя целое. Крылов проникнут чувством всего русского. Человек и его действия, мысль и язык, образы и их положения — все у него возникает в воображении под неизменным типом народности нашей. Эта строгая истина в художестве, озаренная прочими высокими совершенствами его таланта, доставляет его произведениям величайшие успехи. Кто без особенного наслаждения может читать Крылова? Между тем не употребляет он усилий, чтобы применяться к понятиям разных классов людей, не впадает с умыслом в особенный простонародный язык: все у него идет естественно, свободно и прямо к

цели. Он независимый художник, с любовию преданный совершенствованию своего искусства. И он счастливый художник, возбуждающий всеобщий восторг своими созданиями. Повинуясь только голосу души своей, он всем угождает. Ученые, полуграмотные, дети, старики, вельможи, простолюдье, насмешники, добряки — каждый из них убежден внутренно, что Крылов, сочиняя свои басни, о том только и думал, как бы попасть на его вкус, как бы сблизиться с его миром, как бы угодить и предупредить его нужды. В уме баснописца все нашли себе поживу: все им не нахвалятся. Есть множество людей, которые не любят вообще басен; еще больше таких, для которых нестерпима насмешка; есть читатели, которым становится дурно от просторечия; сколько строгих судей, которые презирают стихи; иные зевают от всякого вымысла, другие засыпают от нравоучения: но все прихоти пропадают при одном имени Крылова. Он читается, перечитывается, помнится, повторяется наизусть, передается письменно, печатно, покупается, хранится, дарится и для уроков, и на память, и в услугу, и в награду именинникам, невестам, сиротам, провинциалам, иностранцам.

Можно вообразить поэтому, какой круг почитателей составился около нашего баснописца в течение пятидесятилетней литературной его жизни! Доступный всем возрастам, удовлетворивший всем вкусам, он сделался любимцем стольких лиц, сколько есть смыслов. Его юбилей мог быть всеобщим русским праздником. Петербургские литераторы воспользовались счастливыми своими правами как товарищи Крылова и по своим занятиям, и по месту его пребывания. Они присвоили сословию своему два его праздника и торжественно выразили то, что чувствуют все. Прекрасное зрелище представлялось от этого соединения, в котором не было и не могло быть других побуждений, кроме чувства любви и сознания превосходства. Умилительно было видеть этого гостя, расстроганного и смущенного новостию его положения посреди друзей, знакомых и чужих, где для всех он был единственным предметом радости и внимания. Торжество таланта всегда восхитительно. Оно свидетельствует о чудесном могуществе мысли. Мирное владычество ее поселяет в сердце какое-то благоговение. Душа человека вступает в права свои. Все суетное смиряется перед бессмертным. Но с торжеством таланта, родного нам по языку, сливается чувство, от которого сердце трепещет радостнее и сильнее. Язык есть драгоценнейшее сокровище наше, язык есть лучшее выражение необъятного нашего духа, язык есть нетленная летопись всей жизни народа. Кто внес в наш язык вечные истины, тот оправдал нас перед потомством, возвысил нас в глазах человечества и озарил вожделенною славою.

Зачем не сознаться искренно? Кто из нас не завидует счастливцам, которых язык так свободно распространился по лицу всего образованного мира? Им везде отзыв. Нет прекрасной мысли, нет благодатного вымысла, родившихся под небом их отечества, с которыми бы они не встретились повсюду. Им весело, легко живется. Для них нет чужбины, опечаливающей сердце странника, когда звуки, лелеявшие его младенчество, надолго покидают слух его. Права их на внимательность и предпочтение нигде не теряют своей

действительности. Кому же обязаны они своими завидными преимуществами? Людям, которых таланты всякое в языке их слово ознаменовали неизменною значительностию и облекли его в красоты жизни. Крылов, окруженный многочисленными почитателями своими, без сомнения, в эти минуты каждого занимал, как первый из сих талантов, которые созидают неисчезающее величие наций. Но что выражало его полувеселое и полузадумчивое лицо? О, к его душе, верно, теснилось все прошедшее, одно, что не изменяется никогда в своей прелести. Он, верно, проходил мыслию по этому чудному пути, который указало ему тайное Провидение, чтобы темное, заботам и трудам обреченное дитя увенчано было в старости по единодушному отзыву всего отечества.

Впервые опубликовано:
Современник, 1838, т. 9, с. 57

В. Г. Белинский

БАСНИ ИВАНА КРЫЛОВА. В ВОСЬМИ КНИГАХ

Басне особенно посчастливилось на святой Руси. Отец русской литературы, сам Ломоносов, низошел с своего лирико-эпико-драматического котурна (прозаически называемого теперь ходулями), чтобы написать басенку — «Волк в пастушьей одежде». Плодовитая и досужая бездарность Сумарокова наводнила современную ему литературу уродливыми «притчами». Наконец, явился талантливый Хемницер и написал своего превосходного «Метафизика», который и доныне, и всегда будет превосходен, как ловко написанная эпиграмма; но мы не знаем, можно ли одною эпиграммою, хотя бы и отличною, составить себе бессмертие. Кроме «Метафизика», Хемницер написал еще басни две, отличающиеся хорошим, по-тогдашнему, языком и какою-то наивною игривостию ума; потом сочинил еще басни две или три, примечательные теми же достоинствами, но уже с грехом пополам; потом еще десятка два или три басен, в которых, кроме дурного языка и отсутствия таланта, ничего не имеется. Недавно Хемницер как-то попал в моду; его стали издавать в Москве и в Петербурге. Разумеется, порядочных изданий было по одному в обеих столицах и потом вышло еще несколько площадных, на оберточной бумаге, с лубочными картинками, из типографий гг. Кузнецова и Кирилова. Не помним, к которому из них, впрочем, кажется, к обоим, старые и почтенные литераторы приписали по предисловию, где изложили, кстати, биографию Хемницера и вообще рассуждали о нем с приличною важностию, словно о каком-нибудь Гомере или Шекспире. То же самое учинил другой кто-то в одном отставшем и мнениями и книжками журнале, поместив целую статью о Хемницере, которую, для пущей важности, назвал «критикою». Что делать? У всякого свой герой: Гомер пел героя Ахиллеса, а Вергилий ханжу Энея. Но как бы то ни было, а Хемницер все-таки удержится в истории нашей литературы, и дети никогда не перестанут смеяться от его «Метафизика». Уж за одно то большая ему честь, что с него началась русская басня.

Басни Дмитриева — искусственные цветы в нашей литературе. Эти растения явно пересажены с родной почвы на чужую и взращены в теплице. В них блистает салонный ум XVIII века; в них язык наш сделал значительный шаг вперед. Конечно, мы уже не можем восхищаться баснями Дмитриева и даже никогда не чувствуем охоты перечесть их; но с ними связаны самые сладостные воспоминания о золотой поре нашего детства, и наши дети, пока будут детьми, не перестанут ими восхищаться. Некоторые забавники и теперь еще сказки Дмитриева ставят выше «Онегина» Пушкина, и мы уверены, что многие старики от души соглашаются с этими забавниками. Suum cuique!..* Однако ж басня все-таки многим обязана Дмитриеву. — Потом писали басни В. Л. Пушкин, В. Измайлов, и некоторые из их басен не уступают в достоинстве басням Дмитриева. Но выше их обоих Александр Измайлов, который заслуживает особенное внимание по своей оригинальности: тогда как первые подражали Хемницеру и Дмитриеву, он создал себе особый род басен, герои которых: отставные квартальные, пьяные мужики и бабы, ерофеич, сивуха, пиво, паюсная икра, лук, соленая севрюжина; место действия: изба, кабак и харчевня. Хотя многие из его басен возмущают эстетическое чувство своею тривиальностию, зато некоторые отличаются истинным талантом и пленяют какою-то мужиковатою оригинальностию. Таковы, например: «Священник и крестьянин», «Пьянюшкин, отставной квартальный» и пр. Но лучшее его произведение, доставившее ему особенную славу, есть «Павлушка медный лоб». Граф Хвостов и Маздорф написали множество басен и с равным успехом. Последний печатал свои басни в «Вестнике Европы», а особо не издал. Много можно бы начесть и еще баснописцев, но мы забыли их имена, а справляться некогда, да и не нужно; и без того видно, что басня была некогда любимым родом поэзии и процветала на Руси преимущественно перед всеми родами поэзии.

Но истинным своим торжеством на святой Руси басня обязана Крылову. Он один у нас истинный и великий баснописец: все другие, даже самые талантливые, относятся к нему, как беллетристы к художнику. Кстати: может быть, многие спросят нас, что мы понимаем под словом «беллетристика»? Здесь не место объяснять это, и мы поневоле должны отложить объяснение по сему предмету до другого времени, а пока заметим только, что беллетристика относится к искусству, как статуйки для украшения каминов, столов, этажерок и окон, бюстики Шиллера, Гете, Пушкина, Вольтера, Жан-Жака Руссо, Франклина, Тальони, Фанни Эльслер и проч. относятся к Аполлону Бельведерскому, Венере Медичейской и другим памятникам древнего резца, — и как эстампы относятся к оригинальным картинам великих мастеров.

Басня есть поэзия рассудка. Она не требует глубокого вдохновения, которое производится внезапным проникновением в таинство абсолютной мысли; она требует того одушевления, которое так свойственно людям с тихою и спокойною натурою, с беспечным и в то же время наблюдательным характером и которое бывает плодом

* Каждому свое! *(латин.)*.

природной веселости духа. Содержание басни составляет житейская, обиходная мудрость, уроки повседневной опытности в сфере семейного и общественного быта. Иногда басня прямо высказывает свою цель, но не холодным резонерством, не бездушными моральными сентенциями, а игривым оборотом, который обращается в пословицу, поговорку. Басня не есть аллегория и не должна быть ею, если она хорошая, поэтическая басня; но она должна быть маленькою повестью, драмою с лицами и характерами, поэтически очеркнутыми. Самые олицетворения в басне должны быть живыми, поэтическими образами. Так, у Крылова всякое животное имеет свой индивидуальный характер, — и проказница мартышка, участвует ли она в квартете, ворочает ли из трудолюбия чурбан или примеривает очки, чтобы уметь читать книги, и лисица у него везде хитрая, уклончивая, бессовестная и больше похожая на человека, чем на лисицу с пушком на рыльце, и косолапый мишка везде — добродушно честный, неповоротливо сильный; лев — грозно могучий, величественно страшный. Столкновение этих существ у Крылова всегда образует маленькую драму, где каждое лицо существует само по себе и само для себя, а все вместе образуют собою одно общее и целое. Это еще с большею характерностию, более типически и художественно совершается в тех баснях, где героями — толстый откупщик, который не знает, куда ему деваться от скуки с своими деньгами, и бедный, но довольный своею участью сапожник; повар-резонер; недоученный философ, оставшийся без огурцов от излишней учености; мужики-политики и пр. Тут уже настоящая комедия! А между тем во всем явное преобладание рассудка и практического ума, которого поэзия в том и состоит, чтобы рассыпаться лучами остроумия, сверкать фейерверочным огнем шутки и насмешки. И, разумеется, во всем этом есть своя поэзия, как и во всяком непосредственном, образном передавании какой бы то ни было истины, хотя бы и практической. Самые поговорки и пословицы народные, в этом смысле, суть поэзия или, лучше сказать, — начало, первый исходный пункт поэзии; а басня, в отношении к поговоркам и пословицам, есть высший род, высшая поэзия, или поэзия народных поговорок и пословиц, дошедшая до крайнего своего развития, дальше которого она идти не может.

Во времена псевдоклассицизма басню почитали одним из важнейших родов поэзии и Лафонтена ставили ничуть не ниже Гомера. Из басен брали, в риториках и пиитиках, образцы низкого, среднего и высокого слога — брали, вероятно, потому, что тогда верили существованию низкого, среднего и высокого слога. Теперь другое время. Однако ж и теперь никто не сомневается, что басня есть поэтическое произведение, а баснописец — поэт, который местами даже может, так сказать, выходить из ограниченного характера басни и впадать в высшую поэзию, смотря по предметам своих изображений. Так, например, сколько идиллической поэзии в этом описании песни соловья:

Защелкал, засвистал
На тысячу ладов, тянул, переливался,
То нежно он ослабевал,
И томной вдалеке свирелью отдавался,

То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.
Внимало все тогда
Любимцу и певцу Авроры;
Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,
И прилегли стада,
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался
И только иногда,
Внимая соловью, пастушке улыбался!

Или вот это описание бури, которым так поэтически замыкается басня «Дуб и трость» и которое наши классики с такою гордостью выставляли в образец высокого слога:

Вдруг мчится с северных сторон,
И с градом, и с дождем, шумящий аквилон.
Дуб держится, — к земле тростиночка припала.
Бушует ветр, удвоил силы он,
Взревел, — и вырвал с корнем вон
Того, кто небесам главой своей касался
И в области теней пятою упирался.

В баснях Крылова можно найти еще и лучшие примеры поэтической силы и образности в выражениях.

Но басни Крылова, кроме поэзии, имеют еще другое достоинство, которое, вместе с первым, заставляет забыть, что они — басни, и делает его великим русским поэтом: мы говорим о народности его басен. Он вполне исчерпал в них и вполне выразил ими целую сторону русского национального духа: в его баснях, как в чистом, полированном зеркале, отражается русский практический ум, с его кажущейся неповоротливостью, но и с острыми зубами, которые больно кусаются; с его сметливостию, остротою и добродушно саркастическою насмешливостию; с его природною верностию взгляда на предметы и способностию коротко, ясно и вместе кудряво выражаться. В них вся житейская мудрость, плод практической опытности, и своей собственной, и завещанной отцами из рода в род. И все это выражено в таких оригинально русских, не передаваемых ни на какой язык в мире образах и оборотах; все это представляет собою такое неисчерпаемое богатство идиомов, русизмов, составляющих народную физиономию языка, его оригинальные средства и самобытное, самородное богатство, — что сам Пушкин не полон без Крылова, в этом отношении. О естественности, простоте и разговорной легкости его языка нечего и говорить. Язык басен Крылова есть прототип языка «Горя от ума» Грибоедова, — и можно думать, что если бы Крылов явился в наше время, он был бы творцом русской комедии и по количеству не меньше, а по качеству больше Скриба обогатил бы литературу превосходными произведениями в роде легкой комедии. Хотя он и брал содержание некоторых своих басен из Лафонтена, но переводчиком его назвать нельзя: его исключительно русская натура все перерабатывала в русские формы и все проводила через русский дух. Честь, слава и гордость нашей литературы, он имеет право сказать: «Я знаю Русь, и Русь меня знает», хотя никогда не говорил и не говорит этого. В его духе выразилась сторона духа целого народа; в его жизни выразилась сторона жизни миллионов. И вот почему еще при жизни его выходит сороковая

тысяча экземпляров его басен, и вот за что, со временем, каждое из многочисленных изданий его басен будет состоять из десятков тысяч экземпляров. Вот и причина, почему все другие баснописцы, в начале пользовавшиеся не меньшею известностью, теперь забыты, а некоторые даже пережили свою славу. Слава же Крылова все будет расти и пышнее расцветать до тех пор, пока не умолкнет звучный и богатый язык в устах великого и могучего народа русского. Нет нужды говорить о великой важности басен Крылова для воспитания детей: дети бессознательно и непосредственно напитываются из них русским духом, овладевают русским языком и обогащаются прекрасными впечатлениями почти единственно доступной для них поэзии. Но Крылов поэт не для одних детей: с книгою его басен невольно забудется и взрослый и снова перечтет уж читанное им тысячу раз.

Теперь об издании сороковой тысячи. Оно опрятно и украшено портретом автора, виньетою, прекрасно сделанными, и двадцатью четырьмя превосходными политипажами. Может быть, многим странно покажется, что из трехсот семи басен только к двадцати четырем приложены политипажи. Эти картинки взяты с великолепного парижского издания: оттого и лица на них и костюмы явно иностранные, а на некоторых заметите вы французские надписи, которые издатель не догадался стереть. Разумеется, что политипажи приложены только к тем басням, которых содержание или взято из басен Лафонтена, или сходно с ними; но как-то дико видеть при русских, при крыловских баснях эти немецкие лица и костюмы. А политипажи при баснях Лафонтена — превосходны: не говоря уже о чудесной работе, какая прекрасная мысль — одеть животных в платья и сделать в них что-то среднее между мордою животного и лицом человеческим. Вот хоть этот толстый господин в сюртуке с бычьею физиономиею и рогами, который так гордо смотрит на низенького франта во фраке с лягушечьею мордою, брюхом и тоненькими ножками; франт, закинув голову, надувается, чтобы сравняться в росте и дородности с толстым господином-быком! В изобретениях такого рода французский гений торжествует: никто лучше француза не сочинит карикатуры, виньетки, гротеска какого-нибудь; никто лучше француза не придает этой безделке столько ума, грации, жизни. У нас есть и свои художники с дарованьем — и при этом мы невольно вспомнили об очерках г. Сапожникова к известному изданию басен Крылова in-quarto*. Сколько в этих очерках таланта, оригинальности, жизни! Какой русский колорит в каждой черте! И что же? — Нашим художникам пока еще нечего делать: во-первых, у нас нет хороших гравировщиков, и мы по необходимости посылаем в Лондон собственные рисунки, а, во-вторых, наша публика мало читает русские книги и еще меньше покупает их. К этому присоединяется излишняя доверчивость ко всему иностранному, излишняя недоверчивость ко всему русскому, — и, надо сказать, то и другое не всегда бывает без основания. У нас вообще никто еще не приучился хорошо делать и при средствах. Например, какие огромные средства даны были для

* В четвертую долю листа *(латин.)*.

издания Пушкина, и что же? Пушкин дурно напечатан, на оберточной бумаге, с страшными опечатками, с выпуском важных пьес (например, «Демона», «К Морфею»), с ложным размещением по родам; пущен по неимоверно высокой и нисколько не соответственной с безобразием издания цене, и притом без целой трети сочинений Пушкина, за которые надо платить новые деньги и которых, бог знает, когда дождется наша публика! Вот и еще новый и притом самый свежий пример сказанного нами — сороковая тысяча басен Крылова: бумага хорошая, печать тоже; портрет автора, виньетка, политипажи, хоть и чужие, — но цена умеренная (5 рублей ассигнациями); видно, что у издателя были средства и он не щадил их; но что за безвкусие! — Поля узенькие, шрифт чересчур крупен — и что за аккуратность! Посмотрите басню «Скупой», и вы прочтете в конце 256 страницы следующие четыре стиха:

Так на прощанье, в знак приязни,
Мои сокровища принять не откажись!
Так на прощанье, в знак приязни,
Мои сокровища принять не откажись!

Два стиха повторены! Боже мой! кому поручают издатели смотрение за своими изданиями!

Впервые опубликовано:
Отеч. зап., 1840, т. 10, № 5, 6, с. 2

В. Г. Белинский

БАСНИ И. А. КРЫЛОВА. В ДЕВЯТИ КНИГАХ

Изданиям басен И. А. Крылова потерян счет. Несколько лет тому считалось, однако ж, что их издано тридцать девять тысяч экземпляров. Таким успехом не пользовался на Руси ни один писатель, кроме Ивана Андреевича Крылова. И будет еще время, когда его басни будут издаваться за один раз в числе 40 000 экземпляров. Иван Андреевич Крылов больше всех наших писателей кандидат на никем еще не занятое на Руси место «народного поэта», он им сделается тотчас же, когда русский народ весь сделается грамотным народом. Сверх того, Крылов проложит и другим русским поэтам дорогу к народности.

Говорить о достоинстве басен И. А. Крылова — лишнее дело: в этом пункте сошлись мнения всех грамотных людей в России. Было время, когда не умели решить, кто выше — Хемницер или Крылов, и было время, когда Дмитриева (И. И.) как баснописца считали выше Крылова. Время это давно уже прошло, и теперь, умея ценить по достоинству Хемницера и Дмитриева, все знают, что Крылов неизмеримо выше их обоих. Его басни — русские басни, а не переводы, не подражания. Это не значит, что он никогда не переводил, например, из Лафонтена и не подражал ему: это значит только, что он и в переводах, и в подражаниях не мог и не умел не быть оригинальным и русским в высшей степени. Такая уж у него русская натура! Посмотрите, если прозвище «дедушки», которым

так ловко окрестил его князь Вяземский в своем стихотворении, не сделается народным именем Крылова во всей Руси!

Все басни Крылова прекрасны, но самые лучшие, по нашему мнению, заключаются в седьмой и восьмой книгах. Здесь он, очевидно, уклонился от прежнего пути, которого более или менее держался по преданию: здесь он имел в виду более взрослых людей, чем детей; здесь больше басен, в которых герои — люди, именно все православный люд; даже и звери в этих баснях как-то больше, чем бывало прежде, похожи на людей. В самом стихе ясно видно большое улучшение. Вот лучшие, по нашему мнению, басни в седьмой и восьмой книгах: «Совет Мышей», «Мельник», «Мот и Ласточка», «Свинья под Дубом», «Лисица и Осел», «Муха и Пчела», «Крестьянин и Овца» (едва ли не лучшая из всех басен Крылова), «Волк и Мышонок», «Два мужика», «Две собаки», «Кошка и Соловей», «Рыбьи пляски», «Прихожанин», «Ворона», «Лев состаревшийся», «Белка», «Щука», «Кукушка и Орел», «Бритвы», «Бедный Богач», «Булат», «Купец», «Пушки и паруса», «Осел», «Мирон», «Волк и Кот», «Три Мужика».

И в девятой книге, заключающей в себе одиннадцать басен, талант Крылова еще удивляет своею силою и свежестию: для него нет старости! Нам особенно нравятся следующие две басни:

1

ВОЛКИ И ОВЦЫ

Овечкам от Волков совсем житья не стало,
И до того, что, наконец,
Правительство зверей благие меры взяло,
Вступиться в спасенье Овец, —
И учрежден совет на сей конец.
Большая часть в нем, правда, были Волки;
Но не о всех Волках ведь злые толки.
Видали и таких Волков, и много крат, —
Примеры эти не забыты, —
Которые ходили близко стад
Смирнехонько — когда бывали сыты.
Так почему ж Волкам в совете и не быть?
Хоть надобно Овец оборонить,
Но и Волков не вовсе ж притеснить!
Вот заседание в глухом лесу открыли;
Судили, думали, рядили
И, наконец, придумали закон.
Вот вам от слова в слово он.
«Как скоро Волк у стада забуянит,
И обижать он Овцу станет:
То Волка тут властна Овца,
Не разбираючи лица,
Схватить за шиворот и в суд тотчас представить
В соседний лес иль в бор».
В законе нечего прибавить, ни убавить.
Да только я видал: до этих пор
Хоть говорят: Волкам и не спускают —
Что будь Овца ответчик иль истец,
А только Волки все-таки Овец
В леса таскают.

2

ВЕЛЬМОЖА

Какой-то, в древности, вельможа
С богато убранного ложа
Отправился в страну, где царствует Плутон.
Сказать простее, — умер он;
И так, как встарь велось, в аду на суд явился.
Тотчас допрос ему: «Чем был ты? где родился?»
— «Родился в Персии, а чином был сатрап,
Но так как, живучи, я был здоровьем слаб,
То сам я областью не правил,
А все дела секретарю оставил».
— «Что ж делал ты?» — «Пил, ел и спал,
Да все подписывал, что он ни подавал».
— «Скорей же в рай его!» — «Как! Где же справедливость?» —
Меркурий тут вскричал, забывши всю учтивость.
— «Эх, братец! — отвечал Эак: —
Не знаешь дела ты никак.
Не видишь разве ты? Покойник — был дурак!
Что, если бы с такою властью
Взялся он за дела, к несчастью?
Ведь погубил бы целый край!..
И ты б там слез не обобрался!
Затем-то и попал он в рай,
Что за дела не принимался».

Вчера я был в суде и видел там судью:
Ну, так и кажется, что быть ему в раю!

Также прекрасна басня «Кукушка и Петух».

Странно: почему до сих пор не изданы комедии Крылова? Конечно, эти комедии далеко не так хороши, как его же басни, но все же они хороши настолько, чтобы стоить имени своего автора, — а это, право, не мало! Сверх того, комедии Крылова еще интересны как памятники нравов и литературы старого времени.

Новое издание басен Крылова в типографском отношении очень удовлетворительно.

Впервые опубликовано:
Отеч. зап., 1844, т. 32, № 2, отд. 6, с. 50

В. Г. Белинский

ИЗ СТАТЬИ «ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ»

В наше время *народность* сделалась первым достоинством литературы и высшею заслугою поэта. Назвать поэта «народным» значит теперь — возвеличить его. И потому все пишущие стихами и прозою во что бы то ни стало прежде всего хотят быть «народными», а потом уже и талантливыми. Но, несмотря на то, у нас, как и везде, бездарных писак гораздо больше, нежели талантливых писателей, а последних гораздо больше, нежели таких, которые были бы в одно и то же время и даровитыми и народными авторами. Причина этого явления та, что *народность* есть своего рода талант, который, как всякий талант, дается природою, а не при-

обретается какими бы то ни было усилиями со стороны писателя. И потому способность творчества есть талант, а способность быть народным в творчестве — другой талант, не всегда, а, напротив, очень редко являющийся вместе с первым. Чего бы, казалось, легче русскому быть русским в своих сочинениях? А между тем русскому гораздо легче быть в своих сочинениях даровитым, нежели *русским.* Без таланта творчества невозможно быть народным; но, имея талант творчества, можно и не быть народным. Оставляя в стороне вопрос, был ли Ломоносов поэтом и до какой степени был он поэтом, нельзя не признать, что его стихи были удивительны относительно к тому времени и сравнительно с стихами всех поэтов как современных ему, так и принадлежавших даже к екатерининской эпохе, за исключением одного Державина. А между тем в громозвучных стихах Ломоносова нет ничего русского, кроме слов, — никакого признака народности. Даже в великолепных одах Державина только мгновенными искрами, и то изредка, промелькивают стихии народности. Нечего и говорить, до какой степени народны стихи Дмитриева, стихи и повести Карамзина, трагедии Озерова (из которых всего менее народности в самой народной — «Дмитрии Донском»), стихотворения Батюшкова, а между тем кто же может отрицать талант в этих писателях? После Пушкина, первого русского поэта, который был и велик и национален, — после Пушкина все пустились в народность, все за нею гонятся, а достигают ее только те, которые о ней вовсе не заботятся, стараясь быть только сами собою. И чего не делают эти рыцари народности, эти новые Дон Кихоты, которые затем, что им никогда не удавалось видеть в лицо дамы своего сердца, вместо ее поклялись в верности толстой простонародности — краснощекой Дульцинее, — чего не делают они, чтоб сорвать улыбку одобрения с жирных и неопрятных губ этой девы в кумачном сарафане, с насаленною косою?.. Бедные, они добровольно отрекаются в своих сочинениях от сословия, к которому принадлежат, от образованности, которою обязаны воспитанию, даже от той доли здравого смысла, которою не обделила их природа! Они тщательно прячут свой фрак под смурый кафтан и, поглаживая накладную бороду, взапуски друг перед другом копируют язык гостинодворцев, лавочных сидельцев и деревенских мужиков. «О волны балтийские! — восклицает один из них: — *важно и почтенно уважили* вы меня, примчавши из *немецкой нехристи* к православным берегам пароход с моим другом!» Другой восклицает к своему приятелю (называя его, ради народного эффекта, *однокашником* и *однокорытником*): «Молодец ты, братец ты мой, дока и удалец! Бойко и почтенно пьешь ты пенную влагу за Русь и за наше молодое буйство, ясно и восторженно бурлит в тебе бурсацкая кровь разымчивою, пьяною любовью к родине; мил ты мне, дока и буян вдохновенный!» Третий идет дальше: отуманенный пенным вдохновением, он проклинает науку, изрыгает пьяные хулы на просвещение, — и все это во имя народности, не подозревая, в простоте ума и сердца своего, что это совсем не народность, а площадная простонародность, тем более возмутительная, что она накидная, притворная, следовательно, лишенная той наивности, которая красит даже и глупость, и пош-

лость, делая их смешными. Чем дальше в лес, тем больше дров; четвертый выкидывает новую штуку: он в своих стихах не прикидывается сидельцем из овощной лавки или бурлаком с Волги, не поет гимнов пеннику, не говорит, что этот напиток был для Ломоносова животворным источником вдохновения, учености и знания русского языка, не прославляет ночных оргий, буйного на словах, но трезвого на деле разгулья, ни вакханального сладострастия, которое отзывается только испорченностью фантазии и потому холодно и гадко, как улыбка мертвых губ, приведенных в сотрясение вольтовым столбом, — нет, этот четвертый себе на уме — он ползет дальше, таращится выше. У него есть настолько ума, чтоб отличить простонародность, или тривиальность, от народности, и он не хочет первой, а добивается последней. Для этого он выкидывает штуку помудренее трех первых: он объявляет себя избранным свыше органом народной славы, благовествующим колоколом великой судьбы своей родины. Завидная доля! Блажен, кто действительно назначен для нее природою! Но Лжедимитрии жалки и смешны не в одной политической истории: они смешны и в летописях литературы, — как это мы сейчас увидим. И вот наш непризванный и непризнанный благовестник отечественной славы начинает высиживать потовые стихи; торопиться ему нечего, и ему не беда, если к трем стихам четвертый придумается через год или через два: мозаика мыслей и стихов требует терпения и времени, как и живописная мозаика. Он избегает слов площадных и гоняется только за словами и оборотами старого летописного языка. Главное дело: стихи были бы гладки и звучны, резали бы зрительный нерв читателя фосфорическою яркостию красок, раздражали бы его слух колокольною звучностью и озадачивали бы его ум внешнею глубокостию изысканной мысли. Что нужды, что в этих стихах нет ни одного истинно русского, живого, теплого слова, что в них все искусственно и поддельно и часто недостает смысла? Что нужды, что в них Русь показывается такою, какою она в действительности никогда не была и какою она существует только в маниловской фантазии сочинителя, что в ее представлении старое и навсегда прошедшее смешивается с новым настоящим и неведомым будущим? Что нужды — ведь фантазерству закон не писан! Притом же, как бы ни был человек ограничен, он всегда найдет несколько людей еще ограниченнее самого себя, которые готовы ему удивляться и превозносить его. Эти добрые приятели могут доставить ему двойное удовольствие: и славу, правда, очень жалкую, но для дюжинной натуры все же завидную, и потеху, потому что он может и пользоваться доставленною ими славою, и под рукою смеяться над ними. Все это делается в стихах, а что еще делается в романах, повестях и драмах — боже мой! Да об этом лучше уж и не начинать говорить, а то, пожалуй, и не кончишь!

Подобными примерами бесплодного рыцарского обожания народности богата не одна русская литература. Мы укажем на такой пример во французской литературе, — на такое же явление, только в огромном размере, и не просто комическое, но вместе с тем и трагическое. Посмотрите на Виктора Гюго: чем он был и чем он стал! Как страстно, как жадно, с какою конвульсивною энергиею

стремился этот человек, действительно даровитый, хоть и нисколько не гениальный, сделаться представителем в поэзии национального духа своей земли в современную нам эпоху! И между тем как жалко ошибся он в значении своего времени и в духе современной ему Франции! И теперь еще высится в своем готическом величии громадное создание гения средних веков — «Собор парижской богородицы» («Nôtre-Dame de Paris»), а тот же собор, воссозданный Виктором Гюго, давно уже обратился в карикатурный гротеск, в котором величественное заменено чудовищным, прекрасное — уродливым, истинное — ложным... А его несчастные драмы — requiescant in pace!* Франция, некогда до сумасшествия рукоплескавшая Виктору Гюго, давно обогнала и пережила его и забавляется тем, что он сделался теперь мишенью всех острот и насмешек. Но есть теперь во Франции поэт, который явился прежде Виктора Гюго и жив еще до сих пор: этот поэт слагал песенки, которые пелись в одно и то же время и простым народом, и людьми образованных классов. Слагал он эти песенки совсем не для того, чтоб сделаться великим человеком; нет, он пел потому только, что ему пелось, и он сам себя всегда называл песенником (chansonnier), как бы думая, что титло поэта для него слишком высоко. И в самом деле, его песни давно уже пелись целым народом, людьми грамотными и безграмотными, но все смотрели на него только как на песенника — не более. И как же могло быть иначе? Ведь песня, особенно веселая и шутливая, не больше, как безделка; это совсем не то, что увесистая поэма или роман, вроде «Nôtre-Dame de Paris»... Наполеон был из первых, которые поняли этого «песенника»: по выражению одного французского критика, Наполеон из отдаленного своего острова приветствовал *Беранже*, как царя французских поэтов... И не мудрено: Наполеон не отличался особенным эстетическим вкусом, но у него было удивительное чутье, чтоб предузнать народную славу еще в ее колыбели, в какой бы сфере деятельности ни суждено было ей проявиться... И в самом деле, «песенник» скоро всеми признан был великим поэтом не одной Франции и национальнейшим поэтом самой Франции. Вся сущность национального духа Франции высказалась в песнях Беранже в самой оригинальной, в самой французской и притом в роскошно поэтической форме. Скромный «песенник» имел право сказать о себе:

Enfin, avouez qu'en mon livre
Dieu brille à travers ma gaîté.
Je crois qu'il nous regarde vivre,
Qu'il a béni ma pauvreté.

Всего поразительнее в параллели между Виктором Гюго и Беранже то, что первый искал славы, — и она обманула его; другой не думал о ней, — и она увенчала его своим ореолом. Такие явления не редки. Сальери Пушкина не совсем неправ, говоря, что бессмертный гений посылается не в награду самоотвержения, трудов и молений, —

А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного...

---

* почиют в мире! (*латин.*).

Да, народность в поэте есть такой же талант, как и способность творчества. Если надо родиться поэтом, чтоб быть поэтом, — то надо и родиться народным, чтоб выразить своею личностию характеристические свойства своих соотечественников. Правда, в строгом смысле, никто, принадлежа народу, не может не быть народным, да та беда, что в одном черты народности обозначены слабо, вяло и незаметно, а другой представляет собою, хотя и резко, но зато не такие стороны народности, которыми можно было бы гордиться. Всякий немец курит табак и ест картофель; всякий немец тяжел и расчетлив, но не всякий немец — Гете или Шиллер. Сколько на Руси найдется людей, которые умеют петухом кричать и любят в трескучие морозы окунуться в реке; но из этого еще не следует, чтоб каждый из этих людей был Суворов.

Народным делает человека его натура. Поэтому для него нет ничего легче, как быть народным. Без натуры же, как ни бейтесь, — народным не будете. Скажем более: тоскливое, усильное желание быть народным есть первый признак отсутствия способности быть народным. Это бывает и в простых житейских отношениях. Соберется на улице толпа смотреть какое-нибудь интересное для нее зрелище, и стоит между нею верзила чуть не в три аршина, и все ему видно без всякого с его стороны усилия, а подле него пялится на цыпочках какой-нибудь малорослый и, несмотря на все свои усилия, ничего не может увидеть. С завистию и невольным уважением смотрит он на великана, как будто бы вменяя ему в великую заслугу его рост, в котором тот нисколько не виноват и от которого он иной раз стонет и охает, когда ему приходится шить на себя платье или не удается увернуться от удара, который метче падает на высокое, нежели на низкое.

Самоотвержение, труд, наука имеют свойство развивать и улучшать данное природою: это благотворный дождь, падающий на семя; но, если нет семени, дождь производит не плодородие, а только грязь. Есть счастливые натуры, которым даже даром дается все то, чего другие, более бедные натуры, и трудом получить не могут. Вот эти-то счастливые баловни природы иногда проживают всю жизнь свою, почти не догадываясь о своем значении и беспечно, лениво пользуясь славою, которая далась им даром. К таким натурам принадлежал наш Крылов.

Так как способность быть народным есть своего рода талант, то она имеет свои бесконечные степени, подобно всякому таланту. Тут есть таланты обыкновенные и великие, есть гении. Это зависит от степени, в которой известная личность выражает собою дух своей нации. Организация одного вмещает в себе лучшие, высшие стороны национального духа; организация другого обнимает собою менее характеристические стороны народности; один выражает собою многие, другой весьма немногие стороны субстанции своего народа. Оттого в поэтах со стороны народности такая же разница, как и в поэтах со стороны таланта. Пушкин поэт народный, и Кольцов поэт народный, — однако ж расстояние между обоими поэтами так огромно, что как-то странно видеть их имена, поставленные рядом. И эта разница между ними заключается в объеме не одного

таланта, но и самой народности. В том и другом отношении Кольцов относится к Пушкину, как бьющий из горы светлый и холодный ключ относится к Волге, протекающей бо́льшую половину России и поящей миллионы людей. Но, во всяком случае, качество *народности* есть великое качество в поэте: и Кольцов переживет многих поэтов, которые пользовались несравненно высшею против него славою, но которые не были народны. Народный поэт есть явление действительное в философском значении этого слова: если б даже поэтический талант его был не огромен, он всегда опирается на прочное основание — на натуру своего народа, и во внимании к нему выражается акт самосознания народа. Поэт же, талант которого лишен национальной струи, всегда, более или менее, есть явление временное и преходящее: это дерево, сначала пышно раскинувшее свои ветви, но потом скоро засохшее от бессилия глубоко пустить свои корни в почву. Поэтому народность в поэте есть своего рода *гениальность*, не всегда в смысле глубины и многосторонности, но всегда в смысле оригинальности. В самом деле, что же составляет первую, самую резкую черту гения, если не эта особенность, не эта оригинальная самобытность, которая всегда открывает своею деятельностию совершенно новую сферу мысли, которую талант по следам гения только разработывает, но под оригинальную форму которой он не может подделаться?..

Нет нужды доказывать, что между народностью поэзии Крылова и народностью поэзии Пушкина такая же огромная разница, как и вообще между поэзиею Крылова и поэзиею Пушкина. Мы не сочли бы за нужное и упоминать об этом, если б не знали, что в нашем литературном мире есть особенного рода «ценители и судьи», которые, радуясь случаю объявить себя задушевными друзьями умершего поэта (благо, уже он не может изобличить их в клевете!), готовы поставить его выше всякого другого, к которому им никак нельзя набиться в дружбу, даже и после его смерти. Несмотря на то, что все точные определения сравнительных величин писателей немножко отзываются детством, — мы тем не менее чувствуем необходимость прибегать к подобным определениям, зная, что большинство нашей публики, еще не установившееся в самостоятельном литературном вкусе, нуждается в них. Один из так называемых критиков объявил же некогда, что если б ему нужно было унести с собою в кармане все, что есть лучшего в русской литературе, — он взял бы *только* басни Крылова и «Горе от ума» Грибоедова. В большинстве нашей публики всякое мнение находит себе последователей, и потому у нас не мешает чаще повторять истины, вроде той, что дважды два — четыре. И потому обратимся к сравнениям. Если мы сказали, что поэзия Кольцова относится к поэзии Пушкина, как родник, который поит деревню, относится к Волге, которая поит более чем половину России, — то поэзия Крылова, и в эстетическом, и в национальном смысле, должна относиться к поэзии Пушкина, как река, пусть даже самая огромная, относится к морю, принимающему в свое необъятное лоно тысячи рек, и больших и малых. В поэзии Пушкина отразилась вся Русь, со всеми ее субстанциальными стихиями, все разнообразие, вся многосторон-

ность ее национального духа. Крылов выразил — и, надо сказать, выразил широко и полно — одну только сторону русского духа — его здравый, практический смысл, его опытную житейскую мудрость, его простодушную и злую иронию. Многие в Крылове хотят видеть непременно баснописца; мы видим в нем нечто большее. Басня только форма; важен тот дух, который точно так же выражался бы и в другой форме. Говоря о Хемницере и Дмитриеве, говорите о басне и баснописцах. Басни Крылова, конечно, — тоже басни, но, сверх того, еще и нечто большее, нежели басни... Объясним нашу мысль сравнением. Дмитриев написал около семидесяти басен, и многие из них прекрасны. Но в чем состоит их главное достоинство? — В хороших (по тому времени) стихах и в наставительности, полезной и убедительной — для детей. Лучшею баснью Дмитриева была признана тогдашними словесниками басня «Дуб и Трость», переведенная или переделанная им из Лафонтена. Крылов тоже перевел и переделал эту басню, и общее мнение справедливо признало пьесу Дмитриева лучшею. Но что же в этой басне? — Доказательство, что сильные погибают скорее, нежели слабые, потому что первые стоят на высоте, подверженные всем ударам бурь, а последние, на своих низменных местах, спасаются от ветра способностью гнуться. Справедливо и морально, но опять-таки только для детей! Взрослые люди не по басням учатся нравственной философии; в наше время и четырнадцатилетнего мальчика не очень убедишь такою баснею. Вот еще одна из лучших басен Дмитриева:

О дети, дети, как опасны ваши лета!
Мышонок, не видавший света,
Попал было в беду, и вот как он об ней
Рассказывал в семье своей:
— Оставя нашу нору
И перебравшися чрез гору,
Границу наших стран, пустился я бежать,
Как молодой мышонок,
Который хочет показать,
Что он уж не ребенок.
Вдруг с ро́змаху на двух животных набежал:
Какие звери, сам не знал;
Один так смирен, добр, так плавно выступал,
Так миловиден был собою!
Другой нахал, крикун, теперь лишь только с бою;
Весь в перьях; у него косматый крюком хвост;
Над самым лбом дрожит нарост
Какой-то огненного цвета,
И так, как две руки, служащи для полета;
Он ими так махал,
И так ужасно горло драл,
Что я-таки не трус, а подавай бог ноги —
Скорее от него с дороги.
Как больно! без него я верно бы в другом
Нашел наставника и друга!
В глазах его была написана услуга!
Как тихо шевелил пушистым он хвостом!
С каким усердием бросал ко мне он взоры,
Смиренны, кроткие, но полные огня!
Шерсть гладкая на нем, почти как у меня;
Головка пестрая, а вдоль спины узоры;
А уши как у нас, и я по ним сужу,

Что у него должна быть симпатия с нами,
Высокородными мышами.
— А я тебе на то скажу, —
Мышонка мать остановила, —
Что этот доброхот,
Которого тебя наружность так прельстила,
Смиренник этот — Кот;
Под видом кротости, он враг наш, злой губитель;
Другой же был — Петух, смиренный кур любитель:
Не только от него не видим мы вреда
Иль огорченья,
Но сам он пищей нам бывает иногда;
Вперед по виду ты не делай заключенья.

Вот вам и *басня*! Если вы не знаете, как опасны детские лета и что по виду не должно делать заключения, — вам полезно будет даже выучить ее наизусть. А вот одна из лучших басен Крылова:

Крестьянин позвал в суд Овцу;
Он уголовное взвел на бедняжку дело;
Судья — Лиса: оно в минуту закипело.
Запрос ответчику, запрос истцу,
Чтоб рассказать по пунктам и без крика:
Как было дело, в чем улика?
Крестьянин говорит: «Такого-то числа,
Поутру, у меня двух кур недосчитались:
От них лишь косточки да перышки остались;
А на дворе одна Овца была».
Овца же говорит: она всю ночь спала,
И всех соседей в том в свидетели звала,
Что никогда за ней не знали никакого
Ни воровства,
Ни плутовства;
А сверх того, она совсем не ест мясного.
И приговор Лисы вот от слова до слова:
«Не принимать никак резонов от Овцы,
Понеже хоронить концы
Все плуты, ведомо, искусны;
По справке ж явствует, что в сказанную ночь —
Овца от кур не отлучалась прочь,
А куры очень вкусны,
И случай был удобен ей;
То я сужу, по совести моей:
Нельзя, чтоб утерпела
И кур она не съела;
И, вследствие того, казнить Овцу,
И мясо в суд отдать, а шкуру взять истцу».

Мы привели эти две басни совсем не для решения вопроса, который из двух баснописцев выше: подобный вопрос и не в наше время был уже смешон. Кумовство и приходские отношения некогда старались даже доставить пальму первенства Дмитриеву; тогда это было забавно, а теперь было бы нелепо. Мы привели эти две басни, чтоб показать, что басни Крылова — не просто басни: это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира — словом, что хотите, только не просто басня. Басен в *таком роде* немного у Дмитриева: «Мышь, удалившаяся от света», «Лиса-проповедница», «Муха» и «Прохожий» — всего четыре; из них особенно хороша вторая; но ни в одной из них нет этих русизмов и в языке, и в понятиях,

потому что галлицизмы или русизмы бывают не в одном языке, но и в понятиях: француз по-своему смотрит на вещи, по-своему схватывает их смешную сторону, по-своему анализирует, русский — по-своему. Вот этим-то уменьем чисто по-русски смотреть на вещи и схватывать их смешную сторону в меткой иронии владел Крылов с такою полнотою и свободою. О языке его нечего и говорить: это неисчерпаемый источник русизмов; басни Крылова нельзя переводить ни на какой иностранный язык; их можно только переделывать, как переделываются для сцены Александринского театра французские водевили; но тогда — что же будет в них хорошего? Множество стихов Крылова обратилось в пословицы и поговорки, которыми часто можно окончить спор и доказать свою мысль лучше, нежели какими-нибудь теоретическими выводами. Не как предположение, но как истину, в которой мы убеждены, можем сказать, что для Грибоедова были в баснях Крылова не только элементы его комического стиха, но и элементы комического представления русского общества. В приведенной нами басне «Крестьянин и Овца» эти элементы очевидны: в ней нет никакой морали, никакого нравоучения, никакой сентенции; это просто — поэтическая картина одной из сторон общества, маленькая комедийка, в которой удивительно верно выдержаны характеры действующих лиц, и действующие лица говорят каждое сообразно с своим характером и своим званием. Кто-то и когда-то сказал, что «в баснях у Крылова медведь — русский медведь, курица — русская курица»: слова эти всех насмешили, но в них есть дельное основание, хотя и смешно выраженное. Дело в том, что в лучших баснях Крылова нет ни медведей, ни лисиц, хотя эти животные, *кажется*, и действуют в них, но есть люди, и притом русские люди. Выше мы привели басню Крылова без морали и сентенции, а теперь выпишем басню с моралью и сентенциями:

— Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки? —
Лисицу спрашивал Сурок.
— Ох, мой голубчик-куманек!
Терплю напраслину и выслана за взятки.
Ты знаешь, я была в курятнике судьей,
Утратила в делах здоровье и покой,
В трудах куска не доедала,
Ночей не досыпала:
И я ж за то под гнев подпала;
А все по клеветам. Ну, сам подумай ты:
Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы?
Мне взятки брать? Да разве я взбешуся!
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,
Чтоб этому была причастна я греху?
Подумай, вспомни хорошенько.
— Нет, кумушка; а видывал частенько
Что рыльце у тебя в пуху.

Ссылаемся на здравое суждение наших читателей и спрашиваем их: много ли стихов и слов нужно переменить в этой басне, чтоб она целиком могла войти, как сцена, в комедию Грибоедова, если б Грибоедов написал комедию — «Взяточник»? Нужно только имена зверей заменить именами людей да переменить последний стих из ува-

жения к взяточникам, которые хоть и плуты, но все же имеют лицо, а не рыльце... Это басня; а вот ее мораль, ее сентенция:

Иной при месте так вздыхает,
Как будто рубль последний доживает.
И подлинно: весь город знает,
Что у него ни за собой,
Ни за женой, —
А смотришь, помаленьку
То домик выстроит, то купит деревеньку.
Теперь, как у него приход с расходом свесть,
Хоть по суду и не докажешь,
А как не согрешишь, не скажешь,
Что у него пушок на рыльце есть?

Если хотите, это мораль, потому что всякая сатира, которая кусается, богата моралью; но в то же время это новая басня, которую опять можно принять за монолог из грибоедовской комедии. Есть люди, которые с презрением смотрят на басню как на ложный род поэзии и потому не хотят ценить высоко таланта Крылова. Грубое заблуждение! Вольтер прав, сказав, что все роды поэзии хороши, кроме скучного... и несовременного, прибавим мы. Басня как нравоучительный род поэзии в наше время — действительно ложный род; если она для кого-нибудь годится, так разве для детей: пусть их и читать приучаются, и хорошие стихи заучивают, и набираются мудрости, хотя бы для того, чтоб после над нею же трунить и острить. Но басня как *сатира* есть истинный род поэзии. Конечно, не только превосходная басня, но и целое собрание превосходных басен, может быть, далеко не то, что одна такая комедия, как «Горе от ума»; однако ж, во-первых, всякому свое, и каждый талант пусть идет своею дорогою; во-вторых, как мы заметили выше, басня может заключать в себе элементы высших родов поэзии, как, например, комедии; а, в-третьих, сама басня так, как она есть, не может быть заменена никаким другим родом, как бы он ни был выше ее. Если «Горе от ума» выше каждой басни и, пожалуй, выше всех басен Крылова, — от этого басня «Крестьянин и Овца» нисколько не теряет свойственного ей достоинства и вполне остается превосходным произведением. В этом отношении выражение Вольтера «все роды поэзии хороши, кроме скучного», получает глубокий смысл. Нравоучительная басня, уже по самой своей сущности, скучный род, и тратить на нее талант — все равно, что стрелять из пушек по воробьям. Но басня как сатира была и всегда будет прекрасным родом поэзии, пока будут являться на этом поприще люди с талантом и умом. Роды поэзии всегда были и всегда будут одни и те же: они изменяются, сообразно с национальностями и эпохами, в духе и направлении, но не в форме. Трагедия — везде трагедия: и в древней Индии, и в древней Греции, и у французов XVII века, и у англичан XVI, и у немцев XVIII и XIX века; но трагедия индийцев не то, что трагедия греков; трагедия древних греков не то, что трагедия Корнеля и Расина; классическая французская трагедия не то, что трагедия Шекспира, а трагедия Шекспира не то, что трагедия Шиллера и Гете. Между тем каждая из этих трагедий хороша сама по себе и по своему времени, но ни одна из них не может назваться вечным

типом, и трагедия самого Шекспира для нашего времени так же не годится... Не в том смысле не годится, чтоб ее теперь нельзя было читать, — боже нас сохрани от такой варварской мысли! — но в том, что современную нам действительность невозможно изображать в духе и форме шекспировской драмы. То же можно сказать и о басне. Езоп не годится для нашего времени. Выдумать сюжет для басни теперь ничего не стоит, да и выдумывать не нужно: берите готовое, только умейте *рассказать* и *применить.* Рассказ и цель — вот в чем сущность басни; сатира и ирония — вот ее главные качества. Крылов как гениальный человек инстинктивно угадал эстетические законы басни. Можно сказать, что он создал русскую басню. И его инстинктивное стремление потом перешло в сознательное убеждение. Крылова басни можно разделить на три разряда: 1) басни, в которых он хотел быть просто моралистом и которые слабы по рассказу; 2) басни, в которых моральное направление борется с поэтическим, и 3) басни чисто сатирические и поэтические (потому что сатира есть поэзия басни). К первому разряду принадлежат басни: «Дуб и Трость», «Ворона и Курица», «Лягушка и Вол», «Парнас», «Василек», «Роща и Огонь», «Чиж и Еж», «Обезьяны», «Мартышка и Очки», «Два Голубя», «Червонец», «Безбожники», «Лягушки, просящие царя», «Раздел», «Бочка», «Волк на псарне», «Ручей», «Стрекоза и Муравей», «Орел и Пчела», «Заяц на ловле», «Волк и Кукушка», «Петух и Жемчужное зерно», «Хозяин и Мыши», «Огородник и Философ», «Старик и трое Молодых», «Дерево», «Лань и Дервиш», «Листы и Корни», «Волк и Лисица», «Пруд и Река», «Механик», «Пожар и Алмаз», «Крестьянин и Змея», «Конь и Всадник», «Чиж и Голубь», «Водолазы», «Госпожа и две Служанки», «Камень и Червяк», «Крестьянин и Смерть», «Собака», «Рыцарь», «Человек», «Кошка и Сокол», «Подагра и Паук», «Лев и Лисица», «Хмель», «Туча», «Клеветник и Змея», «Лягушка и Юпитер», «Кукушка и Горленка», «Гребень», «Скупой и Курица», «Две Бочки», «Алкид», «Апеллес и Осленок», «Охотник», «Мальчик и Змея», «Пчела и Мухи», «Пастух и Море», «Крестьянин и Змея», «Колос», «Мальчик и Червяк», «Сочинитель и Разбойник», «Ягненок», «Булыжник и Алмаз», «Мот и Ласточка», «Плотичка», «Паук и Пчела», «Змея и Овца», «Дикие Козы», «Соловьи», «Котенок и Скворец», «Лев, Серна и Лиса», «Крестьянин и Лошадь», «Сокол и Червяк», «Филин и Осел», «Змея», «Мыши». Во всех этих баснях Крылов является истинным баснописцем в духе прошлого века, когда в басне видели моральную аллегорию. В них он может состязаться с Хемницером и Дмитриевым, то побеждая их, то уступая им. Так, знаменитая в свое время, но довольно пошлая басня Лафонтена «Два Голубя» в переводе Дмитриева лучше, нежели в переводе Крылова: Крылову никогда не удавалось быть сентиментальным! Во всех поименованных нами баснях преобладает риторика: рассказ в них растянут, вял, прозаичен, язык беден русизмами, мысль отзывается общим местом, а нравственные выводы недорогого стоят. Тут Крылов еще не мастер, а только ученик и подражатель, — человек прошлого века.

Ко второму разряду мы причисляем басни: «Ворона и Лисица», «Ларчик», «Разборчивая Невеста», «Оракул», «Волк и Ягненок»

«Синица», «Троеженец», «Орел и Куры», «Лев и Барс», «Вельможа и Философ», «Мор Зверей», «Собачья дружба», «Прохожие и Собаки», «Лжец», «Щука и Кот», «Крестьянин и Работник», «Обоз», «Вороненок», «Осел и Соловей», «Откупщик и Сапожник», «Слон и Моська», «Волк и Волчонок», «Обезьяна», «Мешок», «Кот и Повар», «Лев и Комар», «Крестьянин и Лисица», «Свинья», «Муха и Дорожные», «Орел и Паук», «Собака», «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак», «Скворец», «Пустынник и Медведь», «Цветы», «Крестьянин и Разбойник», «Любопытный», «Лев на ловле», «Демьянова уха», «Мышь и Крыса», «Комар и Пастух», «Тень и Человек», «Крестьянин и Топор», «Лев и Волк», «Слон в случае», «Фортуна и Нищий», «Лиса-строитель», «Напраслина», «Фортуна в гостях», «Волк и Пастухи», «Пловец и Море», «Осел и Мужик», «Волк и Журавль», «Муравей», «Лисица и Виноград», «Овцы и Собаки», «Похороны», «Трудолюбивый Медведь», «Совет Мышей», «Паук и Пчела», «Лисица и Осел», «Муха и Пчела», «Котел и Горшок», «Скупой», «Богач и Поэт», «Две Собаки», «Кошка и Соловей», «Лев состаревшийся», «Кукушка и Орел», «Сокол и Червяк», «Бедный Богач», «Пушки и Паруса», «Осел», «Мирон», «Крестьянин и Лисица», «Собака и Лошадь», «Волк и Кот», «Лещи», «Водопад и Ручей», «Лев». Из этих басен не все равного достоинства; некоторые из них совершенно в моральном духе, но замечательны или умною мыслию, или оригинальным рассказом, или тем, что их мораль видна из дела или высказана стихом, который так и смотрит пословицей.

К третьему разряду мы относим все лучшие басни, каковы: «Музыканты», «Лисица и Сурок», «Слон на воеводстве», «Крестьянин в беде», «Гуси», «Тришкин кафтан», «Крестьяне и Река», «Мирская сходка», «Медведь у Пчел», «Зеркало и Обезьяна», «Мельник», «Свинья под дубом», «Голик», «Крестьянин и Овца», «Волк и Мышонок», «Два Мужика», «Рыбьи пляски», «Прихожанин», «Ворона», «Белка», «Щука», «Бритвы», «Булат», «Купец», «Три Мужика». Девятая (и последняя) книга заключает в себе одиннадцать басен: из них видно, что Крылов уже вполне понял, чем должна быть современная басня, потому что между ними нет ни одной, которая была бы написана для детей, тогда как в *седьмой* и *восьмой* книгах, самых богатых превосходными баснями, еще попадаются детские побасенки, как, например «Плотичка». Хотя все одиннадцать басен девятой книги принадлежат к числу лучших басен Крылова, однако нельзя не заметить, что их выполнение не совсем соответствует зрелости их мысли и направления: тут виден еще великий талант, но уже на закате. Исключение остается только за «Вельможею», которым достойно заключено в последнем издании собрание басен Крылова: это одно из самых лучших его произведений. Девятая книга доказывает, что бы мог сделать Крылов, если б он попозже родился... Но в то же время его появление в эпоху младенчества нашей литературы свидетельствует о великой силе его таланта: риторическое направление литературы могло повредить ему, но не в силах было ни убить, ни исказить его.

Крылов родился 2 февраля 1768 года*, следовательно, почти через три года после смерти Ломоносова, за шесть лет до смерти Сумарокова; первому талантливому русскому баснописцу Хемницеру было тогда 24 года от роду, а Дмитриеву было только 8 лет. Сын бедного чиновника, Крылов не мог получить блестящего воспитания, но, благодаря своей счастливой натуре, он не остался без образования и в этом отношении с малыми средствами умел сделать много. Он принадлежал к числу тех оригинальных натур, в которых сильная внутренняя самодеятельность соединяется с беспечностью, ленью и равнодушием ко всему. Крылов не был страстен, но не был и апатичен: он был только ровен и спокоен. Удивляя своей леностью, он умел удивлять и деятельностью: известен анекдот о том, как он из-за спора с приятелем своим Гнедичем в короткое время, тайком ото всех, выучился греческому языку, будучи уже далеко не в тех летах, когда учатся. Поэтому не мудрено, что в нем рано проснулась страсть к литературе, которая никогда не пылала в нем, но всегда горела тихим и ровным пламенем. Пятнадцати лет от роду он был уже сочинителем и, бедный канцелярист в одном из присутственных мест Твери, написал либретто комической оперы «Кофейница» (Крылов любил музыку). Опера эта никогда не была в печати, и беспечный автор даже затерял и рукопись своего первого произведения. Семнадцати лет от роду Крылов переехал на службу в Петербург в 1785 году, и с этого времени начинается его литературная карьера. Он знал по-французски, но настоящими учителями его были тогдашние русские писатели. Литература русская следовала тогда риторическому направлению, данному ей Ломоносовым. Ломоносов тогда считался безупречным образцом для всякого, кто хотел быть поэтом. Сумароков разделял с ним право великого маэстро словесности. Державин тогда только что, как говорится, вошел в славу. «Россиада» Хераскова только что вышла в это время (1785); лирик Петров был уже на высоте своей славы; колоссальная в то время слава Богдановича утвердилась еще с 1778 года, когда вышла его «Душенька»; Фонвизин в то время был уже автором «Недоросля»; наследник Сумарокова в драматической литературе, Княжнин также был в то время на верху своей славы; пользовались тогда большою известностию Костров, Николев, Майков, Рубан, Аблесимов, Клушин, Плавильщиков, Бобров. Но в то же время зарождалась и новая эпоха русской литературы: тогда выступала на литературное поприще дружина молодых талантов, еще безвестных, но которым назначалась впоследствии более или менее важная роль в нашей литературе. Таковы были Нелединский-Мелецкий, Капнист, Долгорукий (Иван), Подшивалов, Никольский, Макаров, наконец — Карамзин и Дмитриев, которые были потом, особенно первый, оракулами нового периода русской словесности. В этот-то переходный момент нашей литературы начал семнадцатилетний Крылов свое поприще. Нескоро сознал он свое назначение и долго пробовал свои силы не на своем поприще. Не думая быть баснописцем, он думал быть драматургом. Он написал трагедию «Клеопатра» и как, по замечаниям знаменитого Дмитрев-

* Некоторые биографические и библиографические сведения, приводимые В. Г. Белинским, неточны. (Ред.).

ского, признал ее неудачною, написал другую — «Филомела». Обе они не попали ни на театр, ни в печать.

...Не знаем подлинно, он ли был издателем журналов «Зритель» и «Почта духов» или только участвовал в их издании; но в своих сатирических статьях, которые Крылов помещал в этих журналах, он жестоко нападает на кропателей од. Статьи Крылова, помещавшиеся в этих изданиях, все сатирического содержания и все направлены преимущественно на модников, на модные магазины, принадлежавшие иностранцам, на употребление французского языка в образованном русском обществе и на невежество. В «Зрителе» есть даже восточная повесть Крылова — «Каиб»; она отзывается аллегорическим и моральным направлением, но истинное достоинство ее составляет дух сатиры, местами необыкновенно меткой и злой. «Почта духов» была первым журналом, который издавал Крылов или в котором он принимал деятельное участие. Это издание состоит из двух частей; выходило оно в 1789 году, а в 1802 вышло вторым изданием. «Зритель» печатался в собственной типографии Крылова; вот полный титул этого издания: «Зритель, ежемесячное издание 1792 года. В Санкт-Петербурге, 1792 года, в типографии Крылова с товарищи». В 1793 году Крылов вместе с Клушиным издавал ежемесячный журнал «Санктпетербургский Меркурий», печатавшийся тоже *в типографии Крылова с товарищи*. В то же время Крылов посвящал свои труды театру: в 1793 году написал он комедию «Проказники» (в прозе, в пяти актах) и оперу «Бешеная семья» (в трех действиях); в 1794 написал он комедию «Сочинитель в прихожей» (в прозе, в трех актах). Кажется, что ни одна из этих пьес не была напечатана, но, должно быть, они были играны на театре, потому что обратили на автора внимание императрицы Екатерины II, которая пожелала видеть Крылова; об этом событии Крылов и в старости рассказывал с глубоким чувством. Имя Крылова сделалось тогда известным, и он занял почетное место между писателями того времени. Но эта слава не удовлетворяла его: он как бы чувствовал, если не сознавал, что идет не по своей дороге, и не мог ни на чем остановиться. Вдруг пришло ему в голову писать басни; не доверяя себе, он показал свои первые опыты в этом роде Дмитриеву, который, одобрив их, возбудил в Крылове смелость действовать на этом поприще. Какие были первые басни, написанные Крыловым, и где они напечатаны — нам неизвестно. Уверяют, будто бы эти басни без имени Крылова были напечатаны в «Аглае» Карамзина, издававшейся в 1794 и 1795 годах; но это несправедливо: в обеих частях «Аглаи» помещены только две басни, одна Дмитриева — «Чиж и Зяблица», другая, должно быть, Хераскова — «Скворец, Попугай и Сорока»; последняя названа *притчею* и подписана буквами М.Х. Как бы то ни было, но басни Крылова начали часто появляться только в «Драматическом вестнике», издававшемся в 1808 году. Там напечатаны следующие басни: «Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», «Лягушка и Вол», «Ларчик», «Старик и трое Молодых», «Лев, Собака, Лисица и Волк», «Обезьяны», «Музыканты», «Парнас», «Пустынник и Медведь», «Оракул», «Волк и Ягненок», «Стрекоза и Муравей», «Орел и Куры», «Мухи и Дорожные», «Слон на воеводстве», «Лисица и Виноград», «Кре-

стьянин и Смерть», «Слон и Моська». Все эти басни, с прибавлением новых, вошли в *первое* издание «Басен» Крылова, вышедшее в следующем (1809) году. В 1807 году Крылов навсегда распрощался с театром, напечатав комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам». Эти комедии возбудили в публике того времени величайший восторг; в «Драматическом вестнике» даже напечатаны два стихотворные послания к Крылову. В самом деле, в этих комедиях много комизма, хотя и чисто внешнего, много остроумия; в первой автор нападает на магазинщиц из иностранок, во второй — на употребление французского языка. В 1811 году вышло второе, исправленное издание басен и в том же году издание новых басен; затем следовали издания 1815 и 1819 годов. В двадцатых годах книгопродавец Смирдин купил у Крылова, за 40 000 рублей ассигнациями, право на издание его басен в продолжение десяти лет. С тех пор до настоящей минуты число экземпляров басен Крылова уже перешло за *тридцать* тысяч (считая в том числе и издание 1843 года, последнее, сделанное самим Крыловым). А сколько еще должно быть изданий этих басен! Число читателей Крылова беспрерывно будет увеличиваться по мере увеличения числа грамотных людей в России. Басни его давно уже выучены наизусть образованными и полуобразованными сословиями в России, но со временем его будет читать весь народ русский. Это слава, это триумф! Из всех родов славы, самая лестная, самая великая, самая неподкупная слава народная. Некто из фельетонных критиков, обрадовавшись случаю набиться в дружбу умершему Крылову, назвал его всемирным поэтом, поэтом человечества; мы этого не скажем... Крылов — поэт русский, поэт России; мы думаем, что для Крылова довольно этого, чтоб иметь право на бессмертие, и что нельзя увеличить его великости, и без того несомненной, ложными восторгами и неосновательными похвалами...

Не будем распространяться в подробностях о частной жизни Крылова. Как скоро где публичность не в обыкновении и не в нравах, — там толки о неприкосновенной личности частного человека всегда подозрительны и никогда не могут быть приняты за достоверные. Оттого-то подобные толки напоминают всегда басню Крылова, в которой паук, прицепившись к хвосту орла, взлетел с ним на вершину Кавказа да еще расхвастался, что он, паук, приятель и друг ему, орлу, и что он, паук, больше всего любит правду... Личность Крылова вся отразилась в его баснях, которые могут служить образцом русского *себе на уме*, — того, что французы называют arrière-pensée*. Человек, живой по натуре, умный, хорошо умевший понять и оценить всякие отношения, всякое положение, знавший людей, — Крылов тем не менее искренно был беспечен, ленив и спокоен до равнодушия. Он все допускал, всему позволял быть, как оно есть, но сам ни подо что не подделывался и в образе жизни своей был оригинален до странности. И его странности не были ни маскою, ни расчетом: напротив, они составляли неотделимую часть его самого, были его натурою. Любо было смотреть на эту седую голову, на это простодушное, без всяких притязаний величавое лицо: точно, бывало,

---

* задней мыслью *(фр.)*.

видишь перед собою лицо мудреца, — и этого впечатления не разрушала ни трубка, ни сигарка, не выходившая изо рта его. Хорош был этот старик-младенец, говорил ли он или молчал: в речи его было столько спокойствия и ровноты, а в молчании так много говорило спокойное лицо его.

Сын бедного чиновника, мальчик с стремлением к образованию, Крылов сам пробил себе дорогу в жизни. В то время книг и чтения не любили и канцеляристам не позволяли терять время на эти вздоры. Теперь мы часто встречаем препустейших людей, бросающих службу, в которой они могли бы быть хоть порядочными писцами, для литературы, в которой они ничем не могут быть. Но во время юности Крылова бросить службу и жить литературными трудами, весьма скудно вознаграждавшимися, завести типографию и быть вместе и автором, и почти наборщиком своих сочинений — это означало не прихоть, а признак высшего призвания. Талант Крылова нашел себе ценителя не в одной публике. В 1814 году он был произведен в коллежские асессоры, по высочайшему повелению, *во уважение отличных дарований*, как сказано в указе. В 1830 году он имел пансион в 6000 рублей ассигнациями, был статским советником и кавалером нескольких орденов. Наконец, 3 февраля 1838 ⟨года⟩ Крылов получил истинную, небывалую до тех пор награду за свои литературные заслуги: в этот день был празднован пятидесятилетний юбилей литературной его деятельности. Петербургскими литераторами, с высочайшего соизволения, дан был Крылову обед, в котором участвовали многие сановники и знаменитые лица. При этом случае Крылову был пожалован орден Станислава 2-й степени. По случаю юбилея была выбита медаль с изображением Крылова. Эта овация сильно подействовала на маститого поэта.

Талант Крылова доставил ему много покровителей и связей; он сблизил его с А. Н. Олениным, в доме которого Крылов был принят, как родной. В А. Н. Оленине любил он и друга и человека своего времени; удивительно ли, что с его смертью Крылов осиротел совершенно? Вокруг него волновались уже все новые поколения; Крылов видел их любовь и внимание к нему, но своего, родного, близкого по сердцу он уже не видел нигде, и не с кем было ему перемолвить о том времени, в которое он был молод... Кто не желал бы видеть всегда живым и здоровым этого исполненного дней и славы старца? Кому не грустна мысль о том, что уже нет его? — Но эта грусть светла, в ней нет страдания: *дедушка Крылов* заплатил последнюю и неизбежную дань природе; он умер, вполне свершив свое призвание, вполне насладившись заслуженною славою. Смерть для него была не несчастием, а успокоением, может быть, давно желанным... Он умер в прошлом году, ноября 3, на 77 году от рождения.

Впервые опубликовано:
Отеч. зап., 1845, т. 38, № 2, отд. 2, с. 62

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ

Крылов И. А. Полн. собр. соч.: В 3-х т. М., 1946.

Крылов И. А. Басни. М.; Л., 1956. 635 с. (Лит. памятники).

Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности Академии наук. Спб., 1869, т. 6, ч. 1. 286 с.; ч. 2. XXIV. 360 с.

Кеневич В. Библиографические и исторические примечания к басням Крылова. Спб., 1878. 392 с.

Бабинцев С. М. И. А. Крылов: Очерк его изд. и библ. деятельности. М., 1955. 91 с.

Степанов Н. Л. И. А. Крылов: Жизнь и творчество. М., 1958. 468 с.

Сергеев И. В. Крылов. М., 1966. 317 с.

Степанов Н. Л. И. А. Крылов. М., 1969. 271 с.

Гордин А. М. Крылов в Петербурге. Л., 1970. 330 с.

Ямпольский И. Г. Крылов и музыка. М., 1970. 70 с.

Архипов В. А. И. А. Крылов: Поэзия нар. мудрости. М., 1974. 288 с.

Десницкий А. В. Молодой Крылов. Л., 1975. 154 с.

Иван Андреевич Крылов: Проблемы творчества. Л., 1975. 279 с.

И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. 503 с.

Гордин М. А., Гордин Я. А. Театр Ивана Крылова. Л., 1983. 176 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Михаил Аркадьевич Гордин

ЖИЗНЬ ИВАНА КРЫЛОВА

Заведующая редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *Н. В. Дашковская*
Художник *В. В. Иванюк*
Художественный редактор *Н. В. Тихонова*
Технический редактор *Н. И. Аврутис*
Корректор *Л. В. Петрова*

ИБ № 1148

Сдано в набор 19.02.85. Подписано в печать 22.05.85. А07642. Формат 60 × 90$^{1}/_{16}$. Бум. кн.-журн. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,0. Усл. кр.-отт. 36,0. Уч.-изд. л. 21,03. Тираж 200 000 экз. 3-ий завод (75 001—200 000). Заказ № 175. Изд. № 3739. Цена в бумвиниле 1 р. 50 коп., в коленкоре 1 руб. 60 коп.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Гордин М. А.

Г67 Жизнь Ивана Крылова. — М.: Книга, 1985. — с., ил.

Художественная биография замечательного русского баснописца Ивана Андреевича Крылова создана ленинградским писателем М. А. Гординым, который давно занимается изучением жизни и творчества Крылова. Биография писателя дана на широком фоне литературных и исторических связей эпохи. В приложении к основному тексту собраны прижизненные отклики на басни И. А. Крылова.

Г $\frac{4702010200\text{-}080}{002(01)\text{-}85}$ 69-85 **84 Р7**

В издательстве «Книга» вышли художественные биографии писателей:

Новиков И. А. *Пушкин в изгнании*: Роман. 1982. 464 с., ил.
Объединены два романа, посвященные двум периодам ссылки великого русского поэта: «Пушкин на юге» и «Пушкин в Михайловском».

России первая любовь: Повести и рассказы о Пушкине. 1983. 239 с.
В сборнике представлены рассказы и повести известных советских писателей (Ю. Тынянова, Ю. Нагибина, П. Антокольского, К. Паустовского и др.) о жизни и творчестве А. С. Пушкина.

Тынянов Ю. Н. *Пушкин.* 1983. Т. I. 240 с. Т. 2. 208 с.
Книга повествует о детских и юношеских годах поэта, рождении его поэтического дара.

Тынянов Ю. Н. *Кюхля; Смерть Вазир-Мухтара.* 1981. 495 с., ил.
В книге помещены два замечательных романа Юрия Тынянова. Первый из них — «Кюхля» повествует о поэте-декабристе, друге А. С. Пушкина В. К. Кюхельбекере, второй — «Смерть Вазир-Мухтара» раскрывает перед читателем полную драматизма биографию А. С. Грибоедова.

Виноградов А. К. *Три цвета времени.* 1981. 383 с., ил.
Роман о замечательном французском писателе — Стендале.

Моруа А. *Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго*/Пер. с фр. Н. Немчиновой, М. Трескунова. 1982. 416 с.
В яркой художественной форме рассказывается о жизни и творчестве великого французского писателя.

Франк Б. *Сервантес*/Пер. с нем. А. Кочеткова. Осповат Л. *Гарсиа Лорка.* 1982. 377 с.
Роман Бруно Франка посвящен жизни великого испанского писателя-гуманиста Сервантеса.
В романе Л. Осповата художественно воссоздана жизнь Гарсиа Лорки — выдающегося писателя Испании.

Манн Т. *Лотта в Веймаре* / Пер. с нем. Н. Манн. 1983. 303 с., ил.
Роман посвящен великому немецкому писателю — Гете. Встреча

с героиней «Страданий юного Вертера» через десятилетия после событий, описанных юным Гете, — сюжетная канва романа. Главная его тема — роль художника в формировании человеческого общества.

Пирсон Х. *Вальтер Скотт*/Пер. с англ. В. Скороденко. 2-е изд. 1983. 239 с., ил.
В книге рассказывается о жизненном и творческом пути Вальтера Скотта, судьбе его литературных произведений, восприятии их читателями.

СЕРИЯ «ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ»

Марченко А. М. *С подорожной по казенной надобности*: Биографическое повествование о М. Ю. Лермонтове. 1984. 333 с.
Этот роман в письмах и документах — своеобразное повествование о личности Лермонтова. Духовный облик поэта раскрыт в нем во всем его величии и обаянии.

Стоун И. *Моряк в седле*/Пер. с англ. М. И. Кан. 1984. 270 с., ил.
В книге раскрыт сложный и драматический путь известного американского писателя Джека Лондона, история его литературных поисков, главных литературных произведений.

Тынянов Ю. Н. *Пушкин*. 1984. 430 с., ил.
Автор повествует о детских и юношеских годах поэта, рождении его поэтического дара.

Рассадин С. Б. *Сатиры смелый властелин*. 1985. 269 с., ил.
Книга о Д. И. Фонвизине — незаурядном писателе, мыслителе, человеке.